Лев Любимов

НА ЧУЖБИНЕ

НА ЧУЖБИНЕ

«УЗБЕКИСТАН»
ТАШКЕНТ
1966

9(М)7
Л 93

Л 93 Любимов Лев

На чужбине.— Т.: Узбекистан, 1990, т.—384 с.
ISBN 5-640-00496-7

Эта книга воспоминаний принадлежит перу профессионального литератора. Автор ее Л. Д. Любимов, много лет проведший вдали от родины, повествует о сложных процессах, происходивших в кругах русских эмигрантов в Париже.

Материал, охваченный его памятью, исключительно обширен: разложение и конец царского режима; жизнь на чужбине русских белоэмигрантов, которые не приняли Октябрьской революции; французская парламентская жизнь; Париж, оккупированный гитлеровцами; участие некоторых русских эмигрантов и их детей в движении Сопротивления; возвращение на родину после долгих и мучительных раздумий и глубокого душевного кризиса.

Автор встречался со многими выдающимися представителями русской культуры. Читатель найдет в книге много фактов, относящихся к ним, живые характеристики таких людей, как Куприн, Бунин, Шаляпин, Рахманинов, Коровин, Алехин и многих других.

9(М)7
Л

Л $\frac{4702010201-001}{М\ 351\ (04)\ 90}$ 90

Это было в 1949 году. Я приехал из Москвы в Ленинград и, взволнованный, утомленный переживаниями, охватившими меня в этом городе, зашел к вечеру в Русский музей. Там с новой силой нахлынула на меня волна воспоминаний...

В одном из залов нижнего этажа я остановился в изумлении: передо мной во всю стену висела репинская картина «Государственный совет». Какая неожиданность! Я не знал, что это полотно в Русском музее, и никогда не видел его в оригинале, хоть и изучил подробно в далекие времена. Свежесть, блеск репинских красок по-новому оживили для меня знакомую композицию. Несколько минут я смотрел на нее издали, затем подошел поближе, пристально вглядываясь в лица сановников Николая II. Мне всегда казалось, что репинское искусство достигло наибольшей силы и остроты именно в этих портретах, отражающих целое мировоззрение ушедшей эпохи. В этот день я был так возбужден, что мне и впрямь почудилось, будто в зале — живой Победоносцев с его мертвым взглядом и тонкими сухими губами, а надменный Витте непроницаемо усмехнулся, встретившись со мной глазами...

Я сел против картины и долго смотрел на нее, настолько занятый своими мыслями, что не заметил, как рядом со мной уселись еще двое посетите-

лей. Их оживленный разговор вскоре прервал мое раздумье.

— Да нет же,— говорил один,— красная лента— это Станислава. А вот синяя — какая?

— Голубая,— отвечал другой,— это, вероятно, андреевская, раз в ней сам Николай. А синяя — не знаю. Может быть, Владимир?

Я оглянулся. Это были летчики: подполковник и капитан. Ленточки ордена Ленина и двух орденов Красного Знамени красовались на груди подполковника, орденов Отечественной войны и Александра Невского — на груди капитана.

Подчиняясь настроению, которое владело мной, я, неожиданно для самого себя, вмешался в разговор:

— Голубая лента — это действительно андреевская. А синяя — Белый Орел. Красная же, одноцветная, не Станислава, а гораздо выше — это лента тогдашнего ордена Александра Невского. Им награждались не боевые офицеры, а престарелые сановники.

Офицеры посмотрели на меня с интересом. Задали несколько вопросов: о мундирах, о том, какой пост занимал такой-то сановник или генерал. Расспрашивали обо всем этом, как о далекой странице истории или курьезах, выставленных в кунсткамере. Оба были, видно, удивлены моей осведомленностью.

— Откуда вы все это так хорошо знаете?— спросил наконец капитан.

Я рад был поговорить на тему, тесно связанную с моими переживаниями.

— Видите, там слева, у колонны, над стариками в лентах — молодой еще человек в раззолоченном мундире. Нашли? Это мой отец.

— Ваш отец!..

Я продолжал, не дожидаясь дальнейших вопросов.

— Он был тогда камергером и помощником статссекретаря Государственного совета. Но дело не в этом. Репин выделил его здесь, среди чинов Государственной канцелярии, то есть канцелярии Государственного совета, в благодарность за сотруд-

ничество. Мой отец был прикомандирован к нему в качестве консультанта. Репин подробно осведомлялся о нраве, привычках каждого сановника, чтобы дать в портрете наиболее подходящую позу, особенно характерный жест. Отец всегда сопровождал его в Государственном совете. Репин очень часто приходил на заседания, присматривался ко всему, обдумывая каждую деталь. Я даже помню, со слов отца, о заметках Репина на списке членов Государственного совета. Так, ряд сановников, никогда не выступавших в прениях, были отчеркнуты им синим карандашом с подписью: «Немые». Перед другими, которые во время заседаний имели обыкновение что-то упорно чертить на бумаге, стояла надпись: «Коллеги». Генерала графа Игнатьева, который вот здесь на первом плане, Репин характеризовал так: «Гастроном, глаза хитрые, умные». А против Победоносцева он пометил: «Так совсем сова — удлинить очки». Это замечание ведь как бы предвосхищает знаменитые блоковские стихи:

В те годы дальние, глухие
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла...

Мои собеседники слушали внимательно и серьезно.

— Когда все это было?— спросил подполковник.

— В самом начале столетия.

А впоследствии что делал ваш отец?

— Он занимал довольно крупные должности: губернаторские и выше. Когда рухнул царский режим, отец был сенатором, гофмейстером, то есть одним из вторых чинов двора, и ожидал назначения в Государственный совет.

— Он жив еще?

— Мой отец скончался в Париже... Я сам прожил там почти четверть века. На родине я всего лишь год. Ровно тридцать лет тому назад выехал за границу из Петрограда, и вот сегодня первый день, как я снова в этом городе.

Оба офицера смотрели теперь на меня с тем же

любопытством, как перед этим — на репинского Плеве или Победоносцева. Очевидно, и я казался им курьезом, которому место в кунсткамере.

Один из них спросил:

— Кем вы сейчас работаете?

— Занимаюсь литературным трудом.

— И как вы себя чувствуете на родине после такого длительного отсутствия?

Я ответил словами, которые несколько раз повторял про себя в этот день:

— Как осколок старого мира, который нашел себе место в новом.

Мы вышли вместе и долго еще беседовали в этот вечер. Прощаясь, подполковник сказал мне:

— Вы должны рассказать советским читателям о вашей жизни и о том, как вы вошли в наш советский мир.

— Думаю это сделать,— отвечал я.

Часть первая



ГЛАВА 1

СЕМЬЯ

Прежде всего расскажу о своей семье. Дед мой, Николай Алексеевич Любимов (1830—1897), занимал видное положение в Москве шестидесятых и семидесятых годов. В течение двадцати восьми лет он был профессором физики в Московском университете и опубликовал ряд научных трудов. Но политика и публицистика увлекали его не меньше, чем наука. Он помогал Каткову в редактировании «Русского вестника» и «Московских ведомостей». Победоносцев и граф Делянов не без основания считали его своим единомышленником, и многие его выступления вызывали осуждение прогрессивных кругов. В последние годы царствования Александра II им была опубликована серия очерков под общим заглавием «Против течения», в которых он доказывал «грозное сходство» этой поры с эпохой, предшествовавшей крушению монархии во Франции, и настаивал на том, что революция фактически уже началась в России. По оценке автора одного из его некрологов, он «владел пером свободно и хорошо, писать умел красиво, образно и ядовито». Принимал участие в комиссии, ревизовавшей университеты, составил записку, обратившую на себя внимание царя, и является одним из главных авторов реакционного университетского устава 1884 года.

Как ближайший сотрудник Каткова в его издательской деятельности, дед мой находился в сношениях с виднейшими литераторами своего времени, а переписка его с Достоевским имеет большое значение

для изучения творчества великого писателя, политические взгляды которого во многом совпадали с его собственными.

Лев Толстой отзывается о моем деде неодобрительно. Вступив в переговоры о печатании первых десяти листов «Войны и мира», он писал жене (27 ноября 1864 года):

«Потом пришел Любимов... Он заведует Русским вестником. Надо было слышать, как он в продолжение, я думаю, 2-х часов торговался со мной из-за 50 рублей за лист и при этом, с пеной у рта, по-профессорски смеялся. Я остался тверд и жду нынче ответа. Им очень хочется, и, вероятно, согласятся на 300...»

Так и случилось.

Напротив, Достоевский, неоднократно обращавшийся к деду по аналогичным делам, остался им, по-видимому, доволен.

Приехав в Москву, чтобы сдать в печать «Братьев Карамазовых», Достоевский писал жене (9 ноября 1878 года):

«Затем отправился... к Любимову. Того не застал, но встретила жена его, почти совсем еще моложавая дама (хотя есть взрослая уже дочь)... Пришел затем Любимов, удивительно любезный. Говорили о романе. Катков непременно хотел сам читать... Любимов обещал мне, по просьбе моей, ускорить чтение. «Я буду приставать к нему»,— сказал он. После того пристал ко мне, чтоб я остался обедать «чем бог послал». Я согласился. И вот не знаю, так ли они всегда обедают, или был у них праздничный день (обедали кроме меня еще две дамы гостьи и один профессор Архипов). Закуски, вина, пять блюд, из которых живая разварная стерлядь по-московски. Если это каждый день у них, то должно быть хорошо им жить. Обед был очень оживленный»..

Из писем Достоевского явствует, что он одобрял публицистические выступления деда, к которому вообще относится с большим уважением, о чем, в частности, свидетельствует племянница писателя Н. А. Иванова.

Впрочем, и Лев Толстой жаловал деда своей благосклонностью. Так, в письме (от 17 декабря 1896 года) по поводу получения его книги «История физики» он писал ему: «Очень благодарен за присылку мне вашего прекрасного труда. Я говорю прекрасного, п. ч. слегка

заглянул в него и знаю по прежним вашим сочинениям ваше мастерство ясного и точного изложения».[1]

В отношениях моего деда с двумя величайшими гениями русской и мировой литературы отмечу еще два факта.

Известно, что «Войну и мир» не все сразу оценили в литературных кругах. Между тем мой дед понял художественное значение романа еще до напечатания. Так, отец жены Толстого (А. Е. Берс) писал Толстому (12 февраля 1865 года):

«Вестник вышол. Я посылал к Любимову за оттисками, и он прислал мне третьего дня один экземпляр... Суждений я никаких еще не слышал, знаю только, что Любимов ужасно расхваливает и это сочинение ставит гораздо выше «Казаков»... »

26 января 1881 года Достоевский отправил моему деду письмо с просьбой о выплате остатка гонорара за «Братьев Карамазовых». Оно начинается так:

«Так как Вы, столь давно уже и столь часто, были постоянно благосклонны ко всем моим просьбам, то могу ли надеяться еще раз на внимание Ваше и содействие к моей теперешней последней, может быть, просьбе».

В новейшем советском издании писем Достоевского (1959 года) указано, что это письмо предсмертное: «Это последние строки Достоевского, написанные, по всей вероятности, в ночь с 25 на 26 января, еще до первого ночного кровотечения».

О моем деде высказывалось много отрицательных суждений в связи с его реакционными взглядами и деятельностью как публициста, влиятельного профессора, а затем и одного из высших чинов министерства народного просвещения (он умер тайным советником и членом совета министерства). Но в воспоминаниях современников можно найти и другие отзывы. Например,

---

[1] Это письмо обнаружено мной в собрании отца, о котором я пишу ниже. Оно осталось неизвестным составителям юбилейного издания произведений Л. Толстого. Полностью письмо это и еще три письма Толстого, также мной обнаруженные, опубликованы в «Новом мире» (1963, № 3).

выдающийся русский физик Н. А. Умов, считавший себя учеником моего деда, положительно оценивал его научную и педагогическую деятельность, говорил об эффектных и грандиозных опытах, которые дед производил перед студенческой аудиторией.

Я не знал деда. Но взгляды его стали традиционно-непререкаемыми в нашей семье и наложили определенную печать и на меня как раз в те юношеские годы, когда формируется сознание человека.

Эти взгляды, как они изложены в его писаниях и как мне передавал их мой отец, можно резюмировать следующим образом:

Революция — величайшее зло, это бунт черни, все уничтожающей и неспособной на созидание. Между тем правительству в его борьбе со зреющей революцией мешают разного рода «кандидаты в руководители» либерального толка. Они сами не знают, чего хотят, но они объявляют исторически сложившийся в России государственный строй прогнившим, а его защитников гоголевскими городничими. Но кто они сами? Хлестаковы, те самые, которых Гоголь охарактеризовал как людей «пустейших», «без царя в голове». Так вот, что бы произошло, если бы гоголевских городничих, плутов, но по-своему неглупых и, во всяком случае, опытных заменили бы Хлестаковы? Чернь в два счета расправилась бы с ними, прогнала бы их пинками, а власть черни означала бы конец России как государства.

Вывод: пусть городничие — зло, но не следует уступать «хлестаковщине».

Мой отец составил замечательную коллекцию, названную им «Собрание автографов и портретов государственных и общественных деятелей». В основу коллекции лег богатейший архив моего деда, а отец пополнял ее из собственного, тоже очень богатого архива, а также документами, приобретенными путем обмена. Покидая родину, отец отдал собрание на хранение в Академию наук. Оно было затем национализировано, и многие из входивших в него ценнейших документов опубликованы в различных советских изданиях.

Мы с отцом почему-то полагали, что эти документы рассортированы по различным хранилищам, что са-

мого собрания больше не существует. Каково же было мое удивление и радостное волнение, когда в ленинградском Пушкинском доме (Институте русской литературы при Академии наук СССР) мне торжественно вынесли четыре огромных тома в роскошных кожаных переплетах с рукописями и портретами, наклеенными на картоне: полное собрание моего отца, бережно сохраненное в том самом виде, в каком он оставил его здесь в 1919 году!

Сколько раз в юности, даже в детстве, я рассматривал эти альбомы! И вот они снова были передо мной, воскрешая целый мир прошлого, в котором началась моя сознательная жизнь.

Письма Гоголя, Жуковского, Льва Толстого, Тургенева (а также часть корректуры «Дыма» с его правкой), тридцать четыре письма Достоевского (в том числе предсмертное, а также наборные рукописи отрывков романа «Преступление и наказание» и «Дневника писателя»), письма, рукописи, записки Островского, А. К. Толстого, Аксаковых, Салтыкова-Щедрина, Лескова, Мельникова-Печерского, Григоровича, Майкова, Фета, Полонского, Апухтина, Чехова и многих еще представителей русской словесности, а также Даргомыжского, обоих Рубинштейнов, Чайковского, Репина, Айвазовского, Менделеева, Боткина, Пржевальского. Но все это составляет лишь половину коллекции; другая состоит из писем и записок виднейших представителей государственной власти, с которыми находился в сношениях мой дед или мой отец. Особый отдел посвящен иностранным знаменитостям (в их числе — Золя, А. Доде, Мопассан, Лист, Бисмарк, Гладстон и еще многие другие). В целом же собрание отражает прежде всего развитие русской культуры и историю императорской власти во второй половине XIX века.

Впрочем, в том, что касается русской культуры, в собрании имеются весьма внушительные пробелы. В нем, например, не представлены ни Герцен, ни Чернышевский, да и вообще никто из революционных демократов. Это объясняется очень просто: деду они не писали, а отцу были совершенно чужды, так как жили и творили вне того мира, в котором он вырос и которым замыкалось его представление о России.

Вновь просматривая собранные отцом документы,

я ясно распознавал в их совокупности целое мироощущение.

Вот, например, раздел Островского. Редкие фотографии знаменитого драматурга, начиная с детских лет, его визитная карточка, письма его и в завершение оригинальная рукопись «Снегурочки». А вот другой Островский, родной брат драматурга, тоже добрый знакомый моего деда. Кто он? Мало кому это известно теперь, но отец чтил его как важнейшего сановника влиятельнейшего министра государственных имуществ, при котором начинал службу. Опять оригинальные фотографии, визитная карточка, письма и в завершение (традиция та же, что и для брата) — доклады министра царю.

Отец распределял материал по мере его накопления, не придерживаясь какой-либо системы. Вот Лев Толстой в Ясной Поляне и письма его в редакцию «Русского вестника». А вот в кавалергардской каске «жандарм Европы» Николай I с грозным взглядом и туго перетянутым животом, и указы, под которыми его подпись с огромным, необыкновенно сложным и всегда точь-в-точь одинаковым росчерком. Впрочем на других страницах альбома брат его Александр I фигурирует росчерком, пожалуй, еще более «хитрым»: бесконечно витиеватым и многоярусным. Помню, как занимали меня эти росчерки в детские годы.

Но больше всего забавляли меня тогда листы плотной красивой бумаги: одни, покрытые головками лошадей, в разных положениях, при этом очень недурно исполненных синим или красным карандашом; другие — значительно более примитивными изображениями куполов, индийских храмов с полумесяцем на шпице, каких-то усачей или же гусарских сапог с огромными шпорами. Первые были творчеством министра двора графа Воронцова-Дашкова, вторые — последнего царя. Отец мой был некогда секретарем комитета помощи голодающим, в котором председательствовал наследник, будущий Николай II. Пока шло заседание, председатель, от которого члены комитета сидели на почтительном расстоянии, и министр двора что-то сосредоточенно чертили. Отец собирал затем плоды этих «трудов», и таким образом коллекция его обогатилась игривой вереницей красно-синих коней и гусарских сапог.

С годами, однако, меня стало привлекать в собрании

другое. Мне нравилось, что каждый раздел как бы воскрешал образ человека, которому был посвящен, атмосферу, его окружавшую, передавал аромат эпохи.

Верхи русской культуры (с изъятием явных «крамольников», которых власть никак не могла бы себе присвоить) чередовались с верхами чиновной России. Образ Победоносцева с таким же мертвым взглядом, как на репинской картине, вставал рядом с образами Гоголя или Чайковского. И чем внимательнее я просматривал собрание отца, тем неразрывнее переплетались в моем юношеском сознании русская культура и императорская власть.

Эти альбомы хранились у отца в шкафу с дубовыми створками. А над шкафом висела большая репродукция репинского «Государственного совета», чья пышная торжественность завершала облик России, выношенный дедом и отцом.

Как и дед, отец мой, Дмитрий Николаевич Любимов (1864—1942), отличался умением писать образно, красиво и посему славился впоследствии в Государственной канцелярии как мастер ясного изложения самых запутанных прений и законопроектов. В столетие Государственного совета ему не только было поручено консультировать Репина, но и составить официальную историю этого учреждения.

Когда он представлялся Николаю II, тот (очевидно, забыв пушкинский совет: «Не должен царский голос на воздухе теряться по-пустому...») сказал, пощипывая бородку:

— Поздравляю вас, вы, как Пушкин, получили придворное звание за литературные труды!

Отец обладал и даром рассказчика, хорошо известным в мире высшей петербургской бюрократии. Его как рассказчика высоко ценил Куприн. В «Гранатовом браслете» он пишет:

«За обедом всех потешал князь Василий Львович. У него была необыкновенная и очень своеобразная способность рассказывать. Он брал в основу рассказа истинный эпизод, где главным действующим лицом является кто-нибудь из присутствующих или общих знакомых, но так сгущал краски и при этом говорил с та-

ким серьезным лицом и таким деловым тоном, что слушатели надрывались от смеха».

Александр Иванович Куприн был с нами в свойстве. Канва «Гранатового браслета» почерпнута им из нашей семейной хроники. Прототипами для некоторых действующих лиц послужили члены моей семьи, в частности для князя Василия Львовича Шеина — мой отец, с которым Куприн был в приятельских отношениях.

О «Гранатовом браслете» я расскажу ниже. Пока же отмечу, что Шеин и физически (стриженая светловолосая голова) и по своему характеру очень похож на отца.

Впрочем, о моем отце Куприн вспоминал не раз. Вскоре после своего возвращения на родину он опубликовал в «Огоньке» рассказ «Тень Наполеона» с таким примечанием: «В этом рассказе, который написан со слов подлинного и ныне еще проживающего в эмиграции бывшего губернатора Л., почти все списано с натуры, за исключением некоторых незначительных подробностей». «Почти все списано с натуры» — это в данном случае не просто литературный прием, а совершенно конкретное указание. Речь идет о моем отце. Опубликованная мною выдержка из его воспоминаний (журнал «Русская литература», 1961, № 4) показывает, что как общий сюжет рассказа, так и отдельные его эпизоды заимствованы Куприным у моего отца.

Рассказ написан в первом лице. Выписываю:

«Был я в 1906 году назначен начальником одной из западных губерний.

Нужно сказать, что в ту пору новоиспеченные губернаторы, отправляясь к месту своего служения, не брали с собой ничего, кроме легкого багажа... Все равно через два-три дня тебя или переведут, или отзовут с причислением к министерству, или прикажут тебе написать прошение об отставке по болезни. Ну, конечно, учитывалась и возможность быть разорванным бомбой террористов... Но бомбы мы уже давно привыкли учитывать как бытовое явление.

Представьте себе — я ухитрился просидеть на губернаторском кресле с 1906 по 1913 год. Теперь, издали, гляжу на это явление, как на непостижимое чудо, длившееся целых семь лет.

Властью я был облечен почти безграничной. Я — сатрап, я — диктатор, я — конквистадор, я — гроза правосудия... И все-таки не было дня, чтобы я, схватившись за волосы, не готов был кричать о том, что мое положение хуже губернаторского. И только потому не кричал, что сам был губернатором.

Под моим неусыпным надзором и отеческим попечением находились национальности: великорусская, польская, литовская и еврейская; вероисповедания: православное, католическое, лютеранское, униатское и староверческое. Теоретически я должен был обладать полнейшей осведомленностью в отраслях — военных, медицинских, церковных, коммерческих, ветеринарных, сельскохозяйственных, не считая лесоводства, коннозаводства, пожарного искусства и еще тысячи других вещей. А оттуда, сверху, из Петербурга с каждой почтой шли предписания, проекты, административные изобретения, маниловские химеры, ноздревские планы. И весь этот чиновничий бред направлялся под мою строжайшую ответственность.

Как у меня все проходило благополучно,— не постигаю сам. За семь лет не было ни погромов, ни карательной экспедиции, ни покушений. Воистину божий промысел! Я здесь был ни при чем. Я только старался быть терпеливым. От природы же я — человек хладнокровный, с хорошим здоровьем, не лишенный чувства юмора».

Все у Куприна верно, за исключением мелочи: отец был в Вильне губернатором не семь, а шесть лет.

Чувство юмора было несомненно присуще отцу. Но юмор этот, ирония его, часто направленная против порядков, в поддержании которых он сам участвовал, уживались лишь в условиях того мира, где дед мой завоевал прочное положение и куда отец вступил уже твердой ногой. Вне этого мира, который подлинно стал для него родной стихией, где знал он чуть ли не каждого и чуть ли не каждый знал его самого, сама жизнь как бы теряла для него всякий смысл.

Как свидетельствует в своих недавно опубликованных воспоминаниях первая жена Куприна — М. К. Куприна-Иорданская, Куприн говорил, что сановник не

заглушил в моем отце человека[1]. Но в своих убеждениях он был последователен и тверд. Он считал, что «свой» монархический мир надо защищать упорно, до конца, иначе — «погибло все», а для этого даже самые отъявленные гоголевские «городничие» лучше либеральствующих «хлестаковых».

Такие убеждения отца сказались особенно явственно в его отношении к министру внутренних дел П. Дурново, при котором (еще до своего губернаторства) он управлял канцелярией министерства. Все в этом человеке коробило отца: его цинизм, грубость, жестокость. В хранящихся у меня воспоминаниях отца он свидетельствует, что даже в правительственных кругах никто не любил Дурново и мало кто его уважал, но в решающие месяцы первой революции за него цеплялись как за якорь спасения. Отец пишет, что глава правительства Витте предоставил Дурново всю черную работу по подавлению революции, возмущаясь в разговорах с общественными деятелями методами Дурново, но никак этим методам не препятствуя. Сам Дурново знал о таком отшении к нему, но это никак его не смущало: этот человек, мало привлекательный и по наружности, даже внешне неопрятный, приезжавший в министерство в старом пальто с потертым барашковым воротником, всем своим видом как бы показывал, что ему глубоко безразлично, как о нем подумают.

Отцу он как-то говорил в самом конце 1905 года:

— Поймите, мы уже перешли из смуты в революцию: фигура революции уже ясна. Все власть имущие хотели ее ударить, но не решались; все они с графом Витте во главе опасаются пуще всего общественного мнения, прессы: боятся, что в них не признают просвещенных государственных мужей. Мне же терять нечего, особенно у прессы, вот я эту фигуру революции и ударил и другим указал: бей на мою голову. При теперешнем положении иных способов нет, да и вообще, особенно у нас в России, это один из наиболее верных... Надо бить революцию не стесняясь. Горе нам, если мы промахнемся!

Героиня «Гранатового браслета» княгиня Вера Шеи-

---

[1] М. Куприна-Иорданская. Годы молодости. М., «Советский писатель», 1960, стр. 56.

на — дочь боевого офицера, татарского князя Мирза-Булат-Тугановского, «древний род которого восходил до самого Тамерлана».

Героиня действительных событий, вдохновивших А. И. Куприна,— моя мать, Людмила Ивановна Любимова (1877—1960), дочь Ивана Яковлевича Туган-Барановского (точнее — Туган-Мирза-Барановского, хоть он и дети его опускали в своей фамилии «Мирзу»), род корого, по преданию, восходит до самого Чингисхана.

Туган-Барановские — литовские татары. В далекие времена почти все они были военными и служили польским королям, а еще раньше некоторые из них командовали татарской конницей литовских великих князей, причем первый носитель этой фамилии отличился в знаменитом Грюнвальдском сражении. В России Туган-Барановские тоже в большинстве были военными.

Отец моей матери отрекся от магометанства. Он служил в гусарах, сражался на Кавказе и рано вышел в отставку, да так и прожил до смерти отставным гвардии штабс-ротмистром, сначала очень богатым помещиком, а затем лишь со средним достатком, так как большую часть состояния проиграл в карты. Помню его высоким, очень представительным стариком, образованным и светским, сохранившим навыки гусарства былых времен. Жена его, моя бабка, урожденная Монвиж-Монтвид, тоже происходила из старинного рода, ведущего свое начало от великого князя литовского Гедимина; но род ее захудал в России; представители его были тоже в большинстве военными, не занимавшими, однако, на русской службе видных должностей.

Профессор М. И. Туган-Барановский — самый выдающийся из моих родственников с материнской стороны — мой родной дядя, брат моей матери. Как указано в «Большой Советской Энциклопедии», он «один из видных представителей т. н. «легального марксизма», в дальнейшем... открыто выступавший с защитой капитализма»; «среди русских буржуазных экономистов конца 19 и начала 20 в. выделялся большой эрудицией в области истории народного хозяйства России». Он был министром финансов украинской Центральной рады, а под самый конец жизни (он умер в 1919 году) посвятил себя исключительно педагогической и научной деятельности в Киевском университете и в Украинской ака-

демии наук. Добавлю, что он был знаком со старшим братом Ленина — Александром Ульяновым. Ленин неоднократно упоминает его труды, давая им часто положительную оценку. Однако Ленин писал, что Булгаков, Струве и Туган-Барановский «старались быть марксистами в 1899 г. Теперь все они благополучно превратились из «критиков Маркса» в дюжинных буржуазных экономистов».

М. И. Туган-Барановский никак не фигурирует в «Гранатовом браслете». Но именно свойство его с Куприным (оба были женаты на сестрах, дочерях Карла Юльевича Давыдова — известного музыканта, директора С.-Петербургской консерватории, которого Чайковский называл «царем всех виолончелистов») сблизило писателя с семьей моей матери, где он и нашел канву для одного из своих самых замечательных произведений.

В период между первым и вторым своим замужеством моя мать стала получать письма, автор которых, не называя себя и подчеркивая, что разница в социальном положении не позволяет ему рассчитывать на взаимность, изъяснялся в любви к ней. Письма эти долго сохранялись в моей семье, и я в юности читал их. Анонимный влюбленный, как потом выяснилось — Желтый (в рассказе — Желтков), писал, что он служит на телеграфе (у Куприна князь Шеин в шутку решает, что так писать может только какой-нибудь телеграфист), в одном письме он сообщал, что под видом полотера проник в квартиру моей матери, и описывал обстановку (у Куприна Шеин опять-таки в шутку рассказывает, как Желтков, «переодевшись трубочистом и вымазавшись сажей, проникает в будуар княгини Веры»). Тон посланий был то выспренний, то ворчливый. Он то сердился на мою мать, то благодарил ее, хоть она никак не реагировала на его изъяснения.

Вначале эти письма всех забавляли, но потом (они приходили чуть ли не каждый день в течение двух-трех лет) моя мать даже перестала их читать, и лишь моя бабка долго смеялась, открывая по утрам очередное послание влюбленного телеграфиста.

И вот произошла развязка: анонимный корреспондент прислал моей матери гранатовый браслет. Мой дядя, не будущий профессор, а другой — Николай Иванович (у Куприна — Николай Николаевич), и отец, тог-

да бывший женихом моей матери, отправились к Желтому. Все это происходило не в черноморском городе, как у Куприна, а в Петербурге. Но Желтый, как и Желтков, жил действительно на шестом этаже. «Заплеванная лестница,— пишет Куприн,— пахла мышами, кошками, керосином и стиркой»,— все это соответствует слышанному мною от отца. Желтый ютился в убогой мансарде. Его застали за составлением очередного послания. Как и купринский Шеин, отец больше молчал во время объяснения, глядя «с недоумением и жадным, серьезным любопытством в лицо этого странного человека». Отец рассказывал мне, что он почувствовал в Желтом какую-то тайну, пламя подлинной беззаветной страсти. Дядя же, опять-таки как купринский Николай Николаевич, горячился, был без нужды резким. Желтый принял браслет и угрюмо обещал не писать больше моей матери. Этим все и кончилось. Во всяком случае, о дальнейшей судьбе его нам ничего не известно.

В купринском рассказе генерал Аносов говорит про Желткова:

«Может быть, это просто ненормальный малый, маньяк, а почем знать, может быть твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины».

Свидетельствую, что в моей семье полностью разделялось первое предположение. Пусть моему отцу и показалось после своей единственной встречи с Желтым, что этот странный человек обуреваем страстью, но ведь и у маньяка может быть, по существу, глубоко трогательная, хоть и маниакальная страсть.

Должен сказать. что поводов считать его маньяком было достаточно. Так, придумав для моей матери, Людмилы, необычное уменьшительное имя «Лима», он в одном из писем горько укорял ее в тоне, о котором можно судить по запомнившемуся мне почти слово в слово отрывку:

«О, гордая и беспощадная Лима! Идешь ты сегодня по Литейному, а я тебе навстречу. Ты видишь меня, но даже бровью не поведешь! Смотришь на меня и не догадываешься, что это тот, письма которого ты каждое утро читаешь за кофеем со сливками... Как ты коварна и бесчеловечна!»

Вся суть купринского рассказа в его трагическом конце. В жизни же имел место курьезный случай скорей всего анекдотического характера.

Случай этот во многих своих деталях лег глубоко, органически в самую канву рассказа Куприна. Это явление, весьма характерное для процесса художественного творчества. Приведу пример несколько неожиданный — из живописи эпохи Возрождения. В Эрмитаже имеется замечательная картина «Мадонна Литта», являющаяся, по мнению большинства специалистов, произведением великого Леонардо да Винчи. Это — необыкновенно лирический волнующий материнский образ, обобщенный и гармоничный, прекрасно передающий чисто леонардовское ви́дение мира. Идеальная красота! Между тем, вооружившись лупой, вы обнаружите, что у прекрасной мадонны... обгрызенные ногти (обгрызенные или обломанные ногти встречаются и у некоторых других итальянских мадонн той же эпохи, когда маникюр был, вероятно, распространен лишь в аристократическом кругу). Почему же художник передал такую подробность, несколько неожиданную в созданном им образе? Очевидно, такие ногти были у натурщицы, позировавшей ему для мадонны. А то, что он их воспроизвел, подтверждает некий закон, при котором, даже в самом вольном своем творчестве, художник какими-то нитями всегда остается связан с объективной реальностью. Он не порывает с этой реальностью потому именно, что она служит точкой отправления для его фантазии, ее крепкой основой. Связь эта проявляется в процессе его творчества подчас умышленно, как часть общей композиции, а подчас непроизвольно в конкретных штрихах, деталях, обнаружение которых всегда представляет для нас, любующихся его созданием, очень острый, живой интерес.

Так вот, такими «обгрызенными ногтями», то есть штрихами, прямо заимствованными из той конкретной реальности, в которой почерпнут сюжет, изобилует, как мы видели, «Гранатовый браслет» Куприна.

У Желткова и кроме фамилии множество общих черт с Желтым, и действуют они вначале вполне одинаково. «Обгрызенные ногти» тут умышленные, так как их обыденность подчеркивает постепенно открывающуюся поэзию образа. И все же, как бы он ни был трога-

телен в своем смиренном, ничего не требующем и ни на что не надеющемся обожании, подлинный Желтый, то есть без трагического конца, дал писателю в общем не больше, чем натурщица с обгрызенными ногтями художнику, с которой тот писал вдохновенный образ мадонны, хоть между ней и мадонной и должно было сохраниться внешнее сходство.

Выписываю еще из «Гранатового браслета»:

«Князь Василий Львович, сидя за большим круглым столом, показывал своей сестре, Аносову и шурину домашний юмористический альбом с собственноручными рисунками...

Альбом служил как бы дополнением, иллюстрацией к сатирическим рассказам князя Василия...

— Сейчас увидите, господа, краткое жизнеописание нашей возлюбленной сестры Людмилы Львовны,— говорил он, бросая быстрый смешливый взгляд на сестру.— Часть первая — детство. «Ребенок рос, его назвали Лима».

На листке альбома красовалась умышленно по-детски нарисованная фигура девочки, с лицом в профиль, но с двумя глазами, с ломаными черточками, торчащими вместо ног, из-под юбки, с растопыренными пальцами разведенных рук.

— Никогда меня никто не называл Лимой,— засмеялась Людмила Львовна.

— Часть вторая. Первая любовь. Кавалерийский юнкер подносит девице Лиме на коленях стихотворение собственного изделия. Там есть поистине жемчужной красоты строки:

Твоя прекрасная нога —
Явленье страсти неземной!

Вот и подлинное изображение ноги...»

Так вот такой домашний юмористический альбом с рисунками отца и его сатирическими заметками действительно существовал и даже хранился у нас в особом бархатном футляре. Я часто его перелистывал в юности. Желтому и его письмам было в нем отведено много места: вырезки из них фигурировали в качестве подписей к иллюстрациям. Куприн очень точно воспроизводит их содержание, но, щадя, очевидно, своего героя, не упоми-

нает об его авторстве и адресует приводимые строки вымышленному лицу, сестре Шеина, которую, однако, как мою мать, зовут Людмилой. Как я уже сказал, Желтый называл мою мать уменьшительно Лимой. В одном из своих посланий он в самом деле описывал, как ему представляется ее детство. Фраза «Ребенок рос, его назвали Лимой» имелась в этом письме и была вклеена в альбом под рисунком, нарочито наивный характер которого абсолютно точно передан Куприным. Желтому же принадлежат и приведенные в «Гранатовом браслете» стихотворные строки о ноге, причем изображение ноги тоже фигурировало в альбоме.

Да, все эти «перлы»— подлинное творчество безвестного телеграфиста, воспетого и прославленного А. И. Куприным[1].

Еще выписка:

«— Вообрази себе, что этот идиотский браслет,— Николай приподнял красный футляр со стола и тотчас же брезгливо бросил его на место ,— что эта чудовищная поповская штучка останется у нас...»

Слова «поповская штучка» о гранатовом браслете, о котором купринский Желтков пишет, что его носила его мать,— опять-таки не случайны! Желтый сообщал моей матери, что его обе сестры замужем за сельскими священниками, он даже приводил выдержку из письма одной из них, которая жаловалась, что они не могут приехать к брату, так как «черти мужья не пускают». Я запомнил эту фразу, так как она в том же альбоме фигурировала под рисунком двух куда-то рвущихся женщин, которых за косы удерживают священники в полном облачении. Рисунок этот и подпись, очевидно, остались в памяти и у Куприна.

Еще черточки (выписываю из рассказа):

«После истории девицы Лимы следовала новая повесть: «Княгиня Вера и влюбленный телеграфист».

— Эта трогательная поэма только лишь иллюстри-

---

[1] Кстати о его фамилии. Сообщая о ней моей матери, он писал, что фамилия его «странная». Куприн писал Батюшкову: «Это — помнишь?— печальная история маленького телеграфного чиновника П. П. Желтикова, который был так безнадежно трогательно и самоотверженно влюблен в жену Любимова (Д. Н.— теперь губернатор в Вильно)...» (ИРЛИ). Это не точно, фамилия была Желтый, что мне подтвердила моя мать, инициалов же его она не помнила.

рована пером и цветными карандашами,— объяснял серьезно Василий Львович,— текст еще изготовляется...

Начало относится к временам доисторическим. В один прекрасный майский день одна девица по имени Вера получает по почте письмо с целующимися голубками на заголовке. Вот письмо, вот и голуби.

Письмо содержит в себе пылкое признание в любви, написанное вопреки всем правилам орфографии. Начинается оно так: «Прекрасная Блондина, ты, которая... бурное море пламени, клокочущее в моей груди...[1]»

Итак, и по Куприну, в домашнем альбоме сообщалось о влюбленном телеграфисте. Опять свидетельствую, что одно из писем его было действительно с целующимися голубками на заголовке, а мою мать в самом деле он иногда называл и «Блондиной».

Может быть, читателю будет интересно знать, что представляли собой все известные мне прототипы купринских персонажей.

Об отце я уже сказал. С княгиней Верой Шеиной мою мать роднит только то, что обе были красивы, да разве еще «покатость плеч, какую можно видеть на старинных миниатюрах».[2] Шеина — скорей замкнутая в себе женщина: такой образ, очевидно, казался Куприну более подходящим для объекта беззаветной страсти, разгоревшейся без всякого поощрения. Моя же мать до самого конца своей жизни была необычайно деятельной, жизнерадостной, подвижной и в Париже (где она скончалась в 1960 году) всецело посвящала себя помощи нуждающимся эмигрантам. В первую мировую войну она отправилась на фронт в качестве сестры милосердия, организовала и возглавила санитарный поезд и два отряда Красного Креста, работала в окопах во время боев и была награждена (очень редкий случай для

---

[1] В своей книге, вышедшей уже после опубликования моих воспоминаний, М. К. Иорданская передает еще некоторые черточки, заимствованные Куприным из быта моей семьи. В ее и моем изложении событий имеются некоторые, в общем несущественные расхождения. Все мной написанное о «Гранатовом браслете» было признано точным моей матерью.

[2] Портрет моей матери, равно как и портреты моего отца и моей тетки, переданы мной в ЦГАЛИ (ф. 1447), в Государственный литературный музей и в Даниловский народный музей Батюшковых и А. И. Куприна.

женщины) георгиевскими медалями всех четырех степеней. Именно матери я обязан в первую очередь бодростью духа в трудные минуты и тем, что сохранил в эмигрантской трясине душевные силы для самого важного шага в моей жизни.

В отличие от моей матери, сестра ее, Елена Ивановна Нитте, во многом точно представлена Куприным. Тетка в самом деле была замужем за очень богатым человеком, который нигде не служил, в самом деле собирала всякую старину, в самом деле перешла в католичество. Как и купринская Анна Николаевна Фриессе, она унаследовала больше, чем сестра монгольскую кровь отца, и лицо ее тоже отличалось «довольно заметными скулами» и «узенькими глазами, которые она к тому же по близорукости щурила».

В лице Анны Фриессе Куприн создает любопытный образ: кокетство и «глубокая, искренняя набожность», очень декольтированные вечерние туалеты, а под ними... власяница. Тут налицо поэтизация действительных черт Елены Ивановны.

Жизнь и смерть моей тетки очень характерны, в них отразились многие свойства того социального круга, к которому она принадлежала.

Овдовев, она вышла вторично замуж за петербургского сановника из остзейцев фон Тимрота, статссекретаря Государственного совета (Репин тоже изобразил его на своей картине) и впоследствии сенатора. Три украинских имения приносили ей крупный доход. В дополнение к этим имениям она купила еще одно — небольшое, но с громадным домом-дворцом, в Курляндии, на берегу озера, где и жила летом, когда не уезжала за границу. Этот дом, как и огромная петербургская квартира на Фурштадтской, буквально ломился от старинной мебели, картин, редкого фарфора, хрусталя. Но в расстановке вещей, в общем убранстве покоев не чувствовалось личного вкуса, души. Всю жизнь моя тетка металась от религии к религии, от культа к культу: перешла в католичество, затем снова в православие, занималась спиритизмом, одно время была толстовкой. Назидательно говорила, что надо заботиться о народе, просвещать его. Но эти поползновения выражались у нее так. В Петербурге, как и в деревне, она собирала каждое утро в гостиной свою челядь — лакеев, горнич-

ных, поварят, кучеров, конюхов, судомоек, всем велела садиться и... прочитывала главу из Евангелия[1]. Прислуга смотрела на это как на очередную повинность, а гувернеры-иностранцы втихомолку посмеивались над Еленой Ивановной. Драма моей тетки, в конце концов, заключалась в том, что она ничего не научилась любить по-настоящему: ни Евангелие, ни старинные вещи, ни народ. Это была натура интересная, одаренная, ищущая смысл жизни и не находившая его в окружавшем ее мире, так что в общем моя тетка была глубоко несчастна. Так же примерно жила она и в эмиграции, во Франции, где благодаря браку дочери ни в чем не нуждалась и квартиру свою в Ницце, на самом берегу моря, вновь обставила как антикварный магазин. Овдовев вторично и отчаявшись найти в своей жизни какой-то оправдывающий смысл, она в семидесятилетнем возрасте покончила с собой, приняв большую дозу снотворного, которое, как выяснилось впоследствии, долгое время покупала в разных аптеках.

Дядя мой, Николай Иванович, прототип Николая Николаевича, брата княгини Веры, тоже верно обрисован Куприным в том, что касается его заносчивости, резкости и отсутствия такта. Николая Ивановича, в молодости очень красивого, я помню тучным, подчеркнуто осанистым, очень представительным человеком. Способный, даже одаренный, он также находился во власти тяготившей его душевной пустоты, которую, однако, как-то ухитрялся заполнить тщеславием.

Николай Иванович был не товарищем прокурора, как у Куприна, а служил в те годы все в той же Государственной канцелярии. Важность этого учреждения, с традициями, восходящими к Сперанскому, где все дышало помпезностью старого режима и где ему, молодому человеку, представлялась возможность ежедневно общаться с самыми высшими сановниками империи, пришлась по душе моему дяде. Чувствовал он себя там как рыба в воде и, несомненно, преуспел бы в Мариинском дворце (где заседал Государственный совет), не случись

[1] Совсем недавно я вспоминал об этих чтениях с одним из тогдашних слушателей, работавшим у моей тетки на кухне, ныне советским генералом в отставке, который командовал на войне дивизией.

одного, совершенно неожиданного и крайне неприятного для него происшествия.

Старший брат его, Михаил, будущий ученый-экономист, в то время был близок к революционерам. Это, однако, не отражалось на отношениях между братьями: поглощенные своими интересами, они проявляли друг к другу полную терпимость.

Однажды Николай Иванович дал переписать какие-то бумаги Государственной канцелярии бедному студенту, рекомендованному братом. Студент принялся за работу, как вдруг к нему нагрянула полиция. Изумление полицейских, вероятно, не знало границ. Бумаги Государственного совета у человека, преследуемого за революционную деятельность!

Государственным секретарем был тогда пресловутый Плеве, который с такими делами не шутил. Он вызвал моего дядю и заявил ему:

— Преступления вы не совершили, и потому вам взыскания не будет. Рад вам сказать это.

Он сделал жест рукой и продолжал бесстрастно внушительным голосом:

— Но!.. Но Государственная канцелярия, которой я имею честь управлять, есть учреждение, столь близко стоящее к престолу, что чины ее, подобно жене Цезаря, не должны навлекать на себя даже тень подозрения. Предлагаю вам сделать соответствующий вывод из моих слов.

В тот же день Николай Иванович был отчислен от Государственной канцелярии «по собственному желанию». Это был для него большой удар, сильно повлиявший в дальнейшем на его характер. Пришлось перейти на службу в куда менее «блестящее» ведомство: министерство путей сообщения. Там он и достиг генеральского чина, возглавив в качестве директора канцелярию министра. На этом посту он стал подлинной грозой для своих многочисленных подчиненных и даже для начальников дорог, с которыми обращался точь-в-точь, как с каким-нибудь Желтым. Мне рассказывали, что за его спиной часто повторяли пушкинские стихи о Езерском, который был схвачен при Калке:

А там раздавлен, как комар,
Задами тяжкими татар.

Накануне революции Николай Иванович заседал в Сенате. Активной роли он не играл, и это очень его тяготило. Ханское его властолюбие не находило выхода, и он старался отыграться иллюзиями, льстящими его тщеславию.

Помню, как он не раз заезжал к нам невзначай в своем гофмейстерском, сплошь спереди расшитом мундире, в ленте, покрытой орденами, как чешуей (он был до них большой охотник и набрал множество, особенно иностранных).

— В чем дело, почему такой парад?— недоумевали все.

— Не успел переодеться, я прямо из Царского,— тихо, но так, чтобы все его слышали, объявлял дядя.

Если были посторонние, родителям моим становилось неловко. «Из Царского»— это значило из Царского села, то есть от царя. Родители знали, что это вздор. Но время было такое, когда царь по совету Распутина или Протопопова то и дело перемещал своих сановников, так что кое-кто и впрямь мог поверить, что дядя неожиданно «вошел в силу».

После Октября Николай Иванович занялся самой сумбурной контрреволюционной деятельностью, напустил на себя вид конспиратора, намекал, что руководит важными «центрами», причем действительно участвовал в каких-то попытках освобождения Николая II и рисковал всем во имя тщеславия. В дни, когда контрреволюция строила все расчеты на немцев, он забывал иной раз всякую конспирацию и, останавливая знакомых на Невском, хлопал себя по карманам пиджака:

— Вот здесь у меня письмо от генерала Гофмана, а тут от принца Рупрехта Баварского...

Единомышленники Николая Ивановича шарахались в испуге от таких слов, которые он произносил чуть ли не во весь голос. А Николай Иванович шел, сияющий, дальше, в надежде на новую встречу.

Иным он задавал с глубокомысленным видом вопрос:

— Никак не могу решить... Когда войдут немцы и мне придется ехать на совещание с их главнокомандующим, надевать мне мои немецкие ордена или не надевать? Ведь мы все-таки в войне!..

После разгрома белого движения Николай Ивано-

вич обосновался в Варшаве. С годами тщеславие его несколько завяло. К тому же надо было подумать и о куске хлеба. Вспомнив, что его предки служили польским королям, дядя решил послужить Пилсудскому, стал польским гражданином (хоть так и не научился польскому языку) и даже, отрекшись от православия, в котором всегда видел оплот русской государственности, тоже перешел в католичество. Все это очень помогло ему устроить свои материальные дела. Польское государство выплачивало пенсию своим гражданам, бывшим прежде на русской, австрийской или немецкой службе. Как бывший сенатор, Николай Иванович обрел право на пенсию чуть ли не высшего разряда и, таким образом, хоть и эмигрант, получал примерно столько же, как до революции сенатор в отставке.

ГЛАВА 2.

ВОСПИТАНИЕ

В Петербурге моего отца расценивали как популярного губернатора, даже немного слишком популярного, а мать — как эффектную губернаторшу, умеющую объединить на своих приемах «всю губернию». С тем, что принято было называть «виленским обществом», у родителей были прекрасные отношения.

Особенность Вильны для назначаемых туда губернаторов заключалась в том, что это был один из самых значительных центров польской аристократии в пределах Российской империи. Отношения между ней и высшими представителями русской власти были весьма характерны. Русской власти польская аристократия импонировала своим богатством, пышностью, родством со знатнейшими семьями Европы. Русская власть ухаживала за ней, понимая к тому же, что это быть может, единственный класс польского общества, на который можно рассчитывать. Со своей стороны, польская аристократия кокетничала с русской властью (только с высшей, с мелкими чиновниками она гнушалась общаться), потому что эта власть охраняла «порядок», поддерживала ее социальное превосходство, а кроме того, расточала своим приспешникам многие блага. Польские магнаты были, в частности, очень падки на придворные звания. Когда, еще до назначения моего отца в Вильну,

там состоялось открытие памятника мрачной памяти графу Муравьеву, Муравьеву-вешателю (при этом вешателю поляков), многие представители польской аристократии явились на это торжество: одни потому, что уже имели придворное звание и, значит, включились в русскую чиновную иерархию; другие — в надежде заслужить расшитый мундир и шляпу с плюмажем.

В результате такого взаимного кокетства установился даже довольно точно соблюдаемый этикет. На официальном приеме мой отец разговарил с мужчинами из этого круга по-русски, но как только беседа принимала частный характер, он переходил на французский язык; с дамами же говорил только по-французски. Полька из интеллигенции, как правило, не рискнула бы появиться в театре в обществе русского офицера или чиновника. Но когда мои родители приезжали в роскошное имение графов Тышкевичей, от въезда в парк до крыльца выкладывался ковер, и даже в дождь хозяева встречали губернаторскую чету на нижней ступени наружной лестницы. Кроме риска и постоянных забот, о которых говорил отец Куприну, губернаторство в Вильне имело, как видно, и свои привлекательные стороны.

В Вильне я провел раннее детство. Помню ясно громадный губернаторский дом с его бесчисленными покоями. Помню особенно бальную залу, площадью этак в двести квадратных метров. Когда не было гостей и отец был в хорошем расположении духа, он нас с братом катал в этой зале по паркету. Мы сидели на его халате, а он бежал, таща нас за собой, вдоль возвышавшихся во весь рост портретов трех Александров и двух Николаев. Помню пасхальный стол, за который в течение дня садились сотни людей. Помню, как мои гувернантки — француженка и немка — выбегали смотреть на отца, когда он выезжал на торжественный молебен, и ахали в восхищении от его мундира и белых панталон с золоченым лампасом. Помню, как в день его именин встречались у нас архиепископы православный и католический (это была чуть ли не единственная их встреча в году), враги, соперники по самому роду своих обязанностей, как они молча целовали друг друга в плечо, молча отвешивали друг другу поклон и затем расходились на почтительное расстояние.

У ворот нашего дома постоянно дежурил городовой,

и я его вначале очень побаивался — такой он был усатый и грозный на вид. Зная это, моя мать вызывала его, когда была мной недовольна, и говорила:

— Если этот мальчик будет опять непослушным, вы его отведете в участок.

Городовой таращил глаза и отвечал в нерешительности, очевидно, не зная, как себя держать в подобных случаях:

— Слу-шаюсь, ваше превосходительство!

Но такие меры устрашения скоро перестали на меня действовать. Я понял, что городовой меня в участок никогда не отведет. Да, очень рано осознал я социальное превосходство своего положения.

В том же возрасте как сын губернатора я причинил отцу неприятность как губернатору, которая чуть не испортила его отношений с прямым начальником Столыпиным, председателем Совета министров и министром внутренних дел. Решающую роль сыграло в этом следующее обстоятельство: по тогдашней моде меня одевали девочкой, а я не мог дождаться дня, когда мне наконец разрешат натянуть на себя брюки.

Виленский православный архиепископ Никандр был, как говорится, «на ножах» с моими родителями. Отца он обвинял в «излишней мягкости» к евреям и недостаточной заботе об утверждении православия, а мать — в том, что она в каком-то польском обществе разговаривала по-польски... Это был тупой и злобный черносотенец. Он подробно писал обо всем этом в Синод, а обер-прокурор Синода в свою очередь жаловался министру внутренних дел. Столыпин сердито указывал отцу, что в такой иноверческой губернии, как Виленская, губернатору не подобает ссориться с главой православной иерархии. После длительных прений было заключено перемирие, и Никандр приехал к родителям с визитом.

Меня тщательно обучили, как надо подходить под архиерейское благословение, сложив руки ладонями кверху; как надо величать архипастыря, вообще как вести себя с ним.

Свидание происходило в большом кабинете отца. Вскоре меня туда вызвали. Как сейчас помню всю картину. Мать, отец и Никандр сидели на диване. На всех лицах была улыбка — видно, беседа протекала вполне мирно. Я подошел к седобородому человеку в черной

рясе, принял по всем правилам благословение, и он, очевидно довольный моим смиренным видом, погладил меня по голове и сказал ласково:

— Хороший мальчик, хороший. Но вот объясни ты мне, почему ты такой большой, а еще в юбке?

Не помня себя, я сердито взглянул на него и проговорил сквозь слезы:

— А ты-то сам тоже в юбке!

На лицах моих родителей выразилось смущение. Никандр посмотрел на меня сурово. Меня тотчас же увели.

Бранили меня долго, даже выпороли. Как мне говорили впоследствии, архиепископ, очевидно совершенно лишенный юмора человек, упрекнул родителей за мою дерзость, добавив, что все сие очень знаменательно и прискорбно. Вскоре, к неудовольствию Столыпина, он снова стал доносить на моих родителей в Синод, причем, как стало известно отцу, к прежним своим обвинениям присовокуплял еще новое: они, мол, воспитывают своих детей в духе свободомыслия и неуважения к высшим представителям православной церкви....

Я часто слышал за утренним кофе разговоры родителей о сложности местной обстановки. Кого, например, пригласить завтракать вместе с губернским предводителем (важным поляком и вдобавок первым чином двора)? Такого-то генерала лучшее не звать (он дурно говорит по-французски), но как сделать так, чтобы он не обиделся? Какую любезность оказать местному богачу, банкиру Бунимовичу? На бал его пригласить нельзя, он сам это понимает: еврей «немыслим» на балу у губернатора. Ну, а на небольшой обед с двумя-тремя важными губернскими чиновниками? Удобно это или неудобно? Как внушить директору гимназии, что он перебарщивает, систематически проваливая «инородцев»? Он ведь связан с «Союзом русского народа» и, если наступить ему на ногу, непременно пошлет донос... Что ответить вдовствующей императрице, когда она вновь будет спрашивать о часовне?

Все это были деликатнейшие проблемы, в разрешении которых и сказывалось губернаторское искусство. Последняя (касающаяся часовни) требует особого объяснения.

В начале столетия, при другом еще губернаторе,

поезд, в котором Мария Федоровна «изволила следовать» к границе, вынужден был остановиться в пути из-за какой-то неисправности. Дело было летом. Марии Федоровне захотелось подышать свежим воздухом, она вышла из вагона, погуляла немного по лужайке и даже сорвала несколько цветков. Какие-то местные батюшки да исправники крайне обрадовались этому незначительному событию: громогласно объявили, что, раз царица осчастливила своей августейшей поступью эту лужайку, на ней нужно срочно воздвигнуть часовню. Немедленно приступили к сбору средств и оповестили о своем почине высшее петербургское начальство. Мария Федоровна была чрезвычайно тронута таким проявлением «народной любви». Но беда в том, что наложением новой подати на население все и ограничилось. Батюшки и исправники были довольны, а о часовне как-то все совершенно забыли. И вот каждый раз, когда Мария Федоровна должна была проезжать через губернию, отец приходил прямо в отчаяние. Любезно, но и настойчиво мать царя неизменно осведомлялась у него по-французски (русскому языку она так и не научилась):

— А как моя часовня, господин губернатор?..

Десятки тысяч людей жили в Вильне в ужасающей нужде. Но что в рамках существовавших установлений можно было сделать, кроме помощи одному-другому? А потому, предоставляя моей матери заниматься благотворительностью, отец предпочитал видеть в этой нужде нечто закономерное, неизбежное: «Так ведь всегда было и будет!..»

Впрочем, в одном вопросе, касавшемся благоустройства самого города, моя мать старалась добиться от отца коренного улучшения. Дело шло о замене допотопной виленской конки трамваем. Городские гласные одобрили смету, но отец отказался ее утвердить. Как-то раз я услышал объяснение по этому поводу между родителями.

— Почему ты упорствуешь?— спрашивала моя мать.— За границей и в меньших городах — трамвай...

— А потому,— отвечал отец,— что боюсь вводить моих подчиненных в соблазн! Когда соберут деньги, кто-нибудь непременно их свистнет. Будет то же, что с часовней государыни.

Так Вильна и осталась при отце без трамвая.

Мне было тринадцать лет, когда меня отдали в Александровский лицей.

В этих очерках я не излагаю всей своей жизни, выбирая лишь то, что, на мой взгляд, наиболее характерно. Скажу только, что к этому времени я уже несколько раз побывал за границей, проучился два года в петербургской школе, где все преподавание велось по-немецки, много занимался с гувернантками и гувернерами и в результате владел французским, как русским, хорошо говорил по-немецки и прилично по-английски.

Младший класс лицея соответствовал четвертому классу гимназии. Мы, поступающие, имели о лицее представление как об учебном заведении с особыми традициями. Но каковы эти традиции, не все еще знали. На вступительном экзамене произошел знаменательный случай.

Мы сидели за письменной работой. Присутствовал сам директор — генерал-лейтенант Шильдер, в прошлом строгий командир Семеновского полка. В науках он мало смыслил, зато ревностно охранял традиции, порядок и дисциплину; все замирало в классах, как только раздавался звон его шпор. В этот день мы видели его впервые, но уже слышали, что он вспыльчив и часто бывает строг. Вдруг один из экзаменующихся поднял руку. Шильдер взглянул на него удивленно.

— Что такое?— спросил он, поморщившись.

Мальчик поднялся с места и, видимо, смущенный, но твердо уверенный в своей правоте, запинаясь, объявил, что не может вовремя справиться с заданием, так как сосед запачкал чернилами его тетрадь.

Многие из нас переглянулись неодобрительно. В зале стояла гробовая тишина. И вот в этой тишине прозвучал резкий голос генерала:

— Выйдите вон!

Мальчик густо покраснел, опустил голову и покинул класс.

Никакого замечания соседу его не последовало.

Так сразу же на вступительном экзамене директор указал нам, еще не надевшим лицейскую форму, что воспитанники лицея обязаны проявлять не только прилежание, но и неукоснительно соблюдать лицейские традиции.

В чем же заключались эти традиции? И прежде всего, что представлял собой сам лицей?

Императорский Александровский лицей помещался в Петербурге на Каменноостровском (ныне Кировском) проспекте на углу нынешней улицы Скороходова, в большом здании с садом, воздвигнутом в конце XVIII столетия. Туда он был переведен в 1843 году из Царского села.

Лицей давал среднее и высшее юридическое образование (с филологическим уклоном). Плата в этом закрытом учебном заведении была очень высокой: тысяча рублей в год, но сюда входили питание и полное обмундирование воспитанника. Особое внимание уделялось иностранным языкам. В помощь учителям в каждом классе дежурили поочередно воспитатели — француз, англичанин и немец. Разговаривать по-русски с ними не полагалось.

В лицей принимались только сыновья потомственных дворян. Формально привилегии лицея сводились к тому, что его бывшие воспитанники при зачислении на службу выгадывали один чин. Но по существу лицейские преимущества были очень велики: в лицее приобретались важные связи на всю жизнь, лицеистам открывались двери таких замкнутых учреждений, как канцелярии министерства иностранных дел, государственная, Совета министров и кредитная, а оттуда в свою очередь открывался доступ к самым высоким постам.

Бутылочного цвета мундир, красные обшлага, серебряное шитье на воротнике, а в старших классах — золотое, треуголка, серая николаевская шинель до пят (с пелеринкой и бобровым воротником), да еще шпага в выпускной год! На фоне петербургских дворцов мы казались самим себе видением пушкинской поры. Романтическая дымка не мешала нам, впрочем, принимать как должное знаки почтения от соотечественников, которым не полагалось подавать руку,— капельдинеры, извозчики и швейцары неизменно величали каждого лицеиста «сиятельством»...

Традиции лицея были очень своеобразны: многие из них восходили к пушкинским годам, хотя в николаевское время и были извращены военной муштрой.

Жаловаться начальству на товарища не полагалось ни при каких обстоятельствах. Инциденты между то-

варищами разрешались курсовым собранием. В лицее курсами назывались выпуски, но курс уже в самом лицее действовал как товарищеское объединение. Второгодник оставался членом того курса, на который был принят при поступлении в лицей, и являлся старшим воспитанником по отношению к своим новым одноклассникам. Лицеист, совершивший поступок, несовместимый с лицейскими понятиями о чести, мог быть исключен из курса. Он имел право оставаться в лицее, но товарищи с ним не разговаривали.

Все воспитанники первого класса, самого старшего, были «генералами». Младшие товарищи, равно как и дядьки (прислуживающие), величали их «превосходительством». При этом не просто генералами, а генералами от чего-нибудь, подобно тогдашним генералам от инфантерии, кавалерии или артиллерии. Генералу от сада подчинялись садовники, генерал от кухни следил за питанием, генерал от танцев исполнял обязанности дежурного воспитателя на уроках танцев и т. д. Генеральские должности были выборными. Выше всех стоял генерал от фронта: он был хранителем лицейских традиций и имел право налагать кары за их нарушение. Вот пример.

Лицейское начальство разрешало курить только воспитанникам «университетских» классов. Согласно же негласному внутреннему распорядку, курить мог каждый, но, если при этом встречался старший воспитанник, надо было предварительно испросить его разрешения.

Предположим, я закурил в саду, прячась за деревом от начальства. За соседним деревом тоже стоит с папиросой лицеист, старше меня на один курс. Я его не заметил. Он подзывает меня:

— Доложите генералу от фронта, что вы закурили, не испросив разрешения старшего воспитанника.

Являюсь к генералу от фронта, становлюсь «смирно» и сообщаю о своей провинности.

— Я вас записываю,— объявляет он.— Останетесь в субботу на час.

Наступает суббота. Все, кроме записанных, уходят. Курсовой воспитатель (я не значусь в его списке наказанных) осведомляется, почему я замешкался. Отвечаю:

— Запись генерала от фронта.

Он не спрашивает, за что — это его не касается.

Согласно тем же правилам, установленным «генералами», лицеистам запрещалось сидеть в театре ближе седьмого ряда. Появление лицеиста в первых рядах считалось щегольством сомнительного вкуса. Лицеистам строго-настрого запрещалось ездить на лихачах. Лихачи — это для купчиков, то есть для людей совсем дурного вкуса.

Говоря о лицейских традициях, стоит вспомнить традиции другого, тоже привилегированного заведения — училища правоведения, где военная муштра была сильнее внедрена при Николае I.

Это училище было основано после лицея. Правоведы старались подражать лицеистам, но, с точки зрения лицеистов, не всегда преуспевали в этом.

Старший правовед останавливал младшего и спрашивал его, например:

— Сколько шагов между вами и мной?

Младший мерил глазами расстояние и отвечал.

— А между мной и вами? — опять вопрошал старший.

Обязательный ответ гласил:

«Шаг младшего воспитанника несоизмерим с шагом старшего воспитанника».

В стенах лицея подобная издевка не практиковалась.

Хотя в обоих учебных заведениях условия приема были одинаковы, лицеисты стояли несколько выше по имущественному состоянию и родству. Между тем правоведам запрещалось пользоваться трамваем, а лицеистам разрешалось. В данном случае внутренний правоведский распорядок выражал опасение: «Как бы люди из другого мира не подумали, что мы недостаточно богаты», а лицейский — спокойную уверенность: «Мы знаем, кто мы, и нам безразлично, что о нас подумают люди из другого мира».

Перещеголяв правоведов, юнкера Николаевского кавалерийского училища должны были нанимать извозчика, как только выходили на улицу. А если молодому человеку хотелось пройтись пешком, извозчик ехал с ним рядом. При виде такого юнкера, который, браво звеня шпорами, прогуливался по Невскому в шаг с извозчичьей клячей, мы говорили себе: «Вот недотянутый джентельмен».

В самом деле, кто были люди, которых мы считали из «другого мира»? Все, кроме нас, ибо в той или иной степени каждый из нас рос, как «сын губернатора». Лицей укреплял сознание, что мы прирожденные хозяева страны. Кто «мы»? Люди «дворянской культуры», то есть единственно «подлинной», которая выражает «все возможности России».

Пушкинское солнце осветило когда-то лицей, и лучи его еще доходили до нас. Поэтому дух лицея не был сугубо чиновничьим, казенным. Лицеисты даже мнили себя вольнодумцами, так как в силу исключительности своего социального положения разрешали себе отпускать шпильки по адресу самых высоких персон. Но опять-таки это «вольнодумство» дышало только в том кругу, где цвела «дворянская культура».

Лицей, вероятно, единственное учебное заведение, которому величайший национальный поэт посвятил несколько своих самых вдохновенных стихов. Чуть ли не каждый лицеист знал наизусть все пушкинское «19 октября», и мы гордились тем, что день лицейского праздника известен в России каждому образованному человеку. В лицее был богатейший пушкинский музей; им тоже гордились, но о пушкинских товарищах декабристах предпочитали не вспоминать. Кроме Пушкина, в лицее учился Салтыков-Щедрин. В лицее учился Я. К. Грот и многие еще лица, заслуживающие почетную известность в словесности и науках. Лицеистом был Петрашевский. И из лицея вышли такие столпы монархии, как князь Горчаков, граф Рейтерн, граф Дмитрий Толстой. Со времени Горчакова чуть ли не все российские министры иностранных дел были лицеистами. Как в коллекции отца, верхи русской культуры неразрывно переплетались в «лицейском мире» с императорской властью.

Под ними, где-то очень далеко, глубоко, был народ. Мы находили в нем много симпатичных черт. Мы любили его пляски, его пение, и мы гордились его героизмом. Но нам не приходило в голову, что жить за его счет противоестественно и преступно.

Ясно помню, как в начале первой мировой войны, возвращаясь из-за границы, под свежим впечатлением шумных парижских манифестаций с криками: «В Берлин! В Берлин!» я был поражен словами деревенского

парня, встреченного чуть ли не на первой русской станции. Отправляясь на фронт, он заявил уверенно и прямодушно:

— Ну что ж, война так война,— значит, снова пойдем бить французов!

Когда я стал ему объяснять, что война не против французов, он к моим словам не проявил никакого интереса: очевидно, «немцы» и «французы» были для него понятием настолько туманными, что рассуждать о них казалось ему не под силу.

«Какая темнота!— подумал я.— Да, действительно, они созданы для подчинения».

Прошло много лет, пока я догадался, что в «бессознательности» этого парня была виновна государственная власть, не умевшая и боявшаяся дать ему образование, наделить сознанием гражданина великой страны. А между тем эта власть дала ему в руки винтовку без патронов, а то и вовсе ничего не дала, кроме погон и солдатской кокарды, и велела защищать от врага шестую часть земной суши.

В нашем сознании народ существовал для того, чтобы мы могли культивировать наш образ жизни, наш «хороший вкус», которым в юности кичились, пожалуй, больше всего.

Между народом и нами существовала еще прослойка, состоявшая из людей, у которых, по нашим понятиям, такого вкуса не было. В прослойку входила интеллигенция. Наши отцы презирали этот термин и никогда не применяли его к себе. Ведь не было же его в пушкинские времена! Не было, когда никто еще не соперничал с дворянством... Откуда взялись эти люди? Как смеют претендовать на самостоятельное существование? Если культура их цель, то почему не стараются включиться в нашу, дворянскую, хотя бы на подчиненном положении? Да, на подчиненном: пока не отшлифуются по-настоящему.

В воспоминаниях отца я нашел в своем роде бесподобные рассуждения крупнейших представителей царской власти по поводу этого термина.

В связи с проектом какого-то циркуляра министра внутренних дел, где упоминалась русская интеллигенция, Победоносцев писал Плеве:

«Ради бога, исключите слова «русская интеллиген-

ция». Ведь такого слова «интеллигенция» по-русски нет: бог знает, кто его выдумал, и бог знает, что оно означает. Непременно замените его чем-нибудь...»

В канцелярии министерства внутренних дел стали наводить справки, рылись в словарях, чтобы опровергнуть суждение всесильного обер-прокурора святейшего Синода, но ничего не нашли, кроме того, что это слово было пущено в обиход в семидесятых годах известным тогда романистом Боборыкиным.

Министр внутренних дел Плеве, однако, не исключил из циркуляра слова «интеллигенция». Дело в том, что оно выражало для него определенное понятие, которое он и имел в виду и которое нельзя было передать словами «образованное общество» или «образованная часть населения». Вот буквально то «толкование», которое Плеве не раз развивал в связи со всей этой «историей» отцу:

«Та часть нашей общественности, в общежитии именуемая русской интеллигенцией, имеет одну, преимущественно ей присущую особенность: она принципиально, но и притом восторженно воспринимает всякую идею, всякий факт, даже слух, направленные к дискредитированию государственной, а также духовно-православной власти; ко всему же остальному в жизни страны она индифферентна».

Немудрено, что при таком отношении отцов мы, не задумываясь над смыслом разгоравшихся противоречий, старались подметить в этой новой «противоестественной» прослойке, образовавшейся из интеллигенции, такие черточки, которые питали бы наше высокомерие.

Прощаясь с коллегой, какой-нибудь молодой учитель, недавно приехавший из провинции, скажет, например: «Пока!» Это был для нас «конченый человек» («Что за словечко!», «Какой ужас!»). Нас уже не могли интересовать ни его идеалы, ни лишения, которые он, вероятно, преодолел, чтобы получить образование.

«Извиняюсь», «знакомьтесь», «мадам» — были для нас такими же жупелами.

Мы говорили про кого-нибудь:

— Это типичный интеллигент, он не бреется каждый день, ест с ножа и дамам не целует руки...

Или:

— Это не настоящая дама, это интеллигентка, она

называет свою фамилию, когда ей представляют мужчин.

Весь смысл человеческого существования мы готовы были свести к точному знанию выработавшихся в «нашем мире» понятий и правил. Некоторые из них были как будто разумны, удачны. Но беда в том, что чуть ли не всю общественную жизнь мы рассматривали только под их углом. Толкуя, например, о сессии Государственной думы, старшие наши товарищи порой отмечали всего лишь, что один из лидеров «с левым уклоном» (Милюков) явился на открытие в смокинге: значит, спутал дневное собрание с обедом. На наш взгляд, дальше идти было некуда.

А буржуазия, недавно родившееся сословие промышленников, фабрикантов, купцов-богачей? Отцы наши болезненно переживали их напор, торжествующее соперничество и лишь с боем уступали свои позиции. Но сыновья новых магнатов в лицей не попадали, и мы попросту не знали этого сословия. В лицее твердо поддерживался принцип, что только царская служба — благородное дело. Мы знали, что даже не происхождением, а близостью к престолу определялось место каждого из нас в социальной иерархии. «В России,— объявлял Павел I,— аристократ тот, с кем я говорю и пока говорю». Купцов и фабрикантов царь не приглашал в свой дворец, а потому они не интересовали нас.

Итак, только мы. Правила, навыки, которыми мы так кичились, приобретали в нашем сознании самодовлеющее значение, которое в конце концов затемняло все остальное. Толстовская княжна Марья с первого взгляда узнает в Николае Ростове человека одинакового с ней круга. В уличной толпе, театре, поезде, чуть ли не на пляже каждый из нас должен был научиться распознавать себе подобных. Но, в отличие от княжны Марьи, он часто ничего не видел, кроме них. И эти люди составляли «наш мир».

Так лицей завершал то, что нам уже давала семья.

Лицей формировал чиновников, выгодно отличавшихся отсутствием низкопоклонства, потому что уже в начале службы они часто считали себя выше своих начальников. Бывшие лицеисты, которых я помню, очень дорожили традициями товарищеской дружбы, они, с другой стороны, точно знали, что «приличный человек»

должен быть одинаково далек от «недотянутого джентльмена» и пушкинского «перекрахмаленного нахала», часто по-своему были недурно образованы, изучив римское право и иностранные языки, но имели самое смутное представление о своем народе, о его нуждах, о том, что значит подлинный прогресс, что значит Россия и какие силы двигают историей.

Лицей был в течение ста лет преддверием русской государственности. Но по мере того, как разлагалось правящее сословие, он все больше поставлял этой государственности таких молодых людей, у которых подобно дипломатам, описанным Толстым в «Войне и мире», «были свои, не имеющие ничего общего с войной и политикой, интересы высшего света, отношений к некоторым женщинам и канцелярской стороне службы», и этими интересами замыкалось все их мировоззрение. А когда такие молодые люди становились пожилыми людьми, когда они достигали высших постов и в их руках сосредоточивалась государственная власть, они чаще всего проявляли себя Карениными. «Всю жизнь свою,— говорит Толстой о Каренине,— Алексей Александрович прожил и проработал в сферах служебных, имеющих дело с отражениями жизни. И каждый раз, когда он сталкивался с самой жизнью, он отстранялся от нее. Теперь он испытывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, спокойно прошедший над пропастью по мосту и вдруг увидавший, что этот мост разобран и что там пучина».

Для толстовского Каренина этой пучиной была измена жены, для сановников Николая II — революция.

Отец часто рассказывал о церемонии, состоявшейся в Зимнем дворце 27 апреля 1906 года, в честь открытия первой Государственной думы.

Дума не была избрана всеобщим голосованием. Женщины и более двух миллионов рабочих (в общем более половины населения) не имели права голоса. Выборы не были ни прямыми, ни равными. Большевики решили их бойкотировать. И все же эти выборы были явлением совершенно новым в русской политической жизни. Монополия власти ускользала из рук высшего чиновного мира; люди иной формации, разночинцы, пусть и с имуществен-

ным цензом, формально получали право контролировать правительство.

Вокруг дворца стояли войска, главным образом кавалерия. Белыми, синими и красными полосами, точно широко развернутый русский национальный флаг, вырисовывались эскадроны гвардии в парадной форме. Внутри толпились придворные. В Концертном зале, окруженный сановниками, стоял новый председатель Совета министров Горемыкин.

— Это в высшей степени удачная мысль,— говорил он, несколько картавя, привычным жестом разглаживая бакенбарды,— открыть Думу первого призыва именно во дворце, во всем блеске придворной помпы...

Все соглашались, так как все знали, что эта мысль принадлежала самому Горемыкину.

— Поверьте,— продолжал он,— на членов Думы, особенно на крестьян, все это произведет громадное впечатление. Ведь как бы в их честь перед государем понесут императорские регалии, осыпанные драгоценными камнями. Мне сейчас говорили, как один мужичок, из членов Думы, в первый раз в жизни войдя в Зимний дворец, ахнул, перекрестился и воскликнул: «И на этакое-то величие посягать!..» Не правда ли, как это характерно!..

Председатель царского Совета министров заблуждался. На одном из первых же заседаний Думы один из ораторов восклицал под гром рукоплесканий:

— Вы видели на днях все эти золотые мундиры? Все эти ненужные побрякушки — эти царские регалии, усыпанные бриллиантами! Господа, ведь это кристаллизованный пот трудового русского народа!..

А шествие, на которое так рассчитывал Горемыкин, было действительно внушительным. Оно открывалось скороходами в их необыкновенных головных уборах, за ними шли церемониймейстеры и гофмаршалы с жезлами и длинная лента «придворных чинов и кавалеров» в золоченых мундирах, по два в ряд. Затем статс-секретари и генерал-адъютанты несли императорские регалии; по сторонам шли двенадцать дворцовых гренадеров в громадных медвежьих шапках, с ружьями на плече. Регалии должны были олицетворять мощь и незыблемость императорской власти: государственная печать,

государственное знамя, государственный меч, держава с громадным сапфиром, на котором был укреплен бриллиантовый крест, скипетр со своим исключительным по величине алмазом Орлова и, наконец, знаменитая екатерининская корона в пять тысяч бриллиантов и жемчугов с громадным рубином в четыреста карат, самым большим в мире.

Царь и обе царицы заняли место на тронах, под балдахином, в Георгиевском зале, там, где ныне — знаменитая карта Советского Союза из самоцветных камней.

С правой стороны огромного зала разместилась точно из золота и серебра шитая стена высших сановников и придворных. И вся эта ослепительная «стена» с изумлением, жадным любопытством и неописуемым ужасом глядела на левую сторону, отведенную для Государственной думы. Там стояла толпа, которую никогда еще не видели стены Зимнего дворца. «Интеллигенты», в пиджаках, крестьяне в поддевках и смазанных сапогах, белорусы в белых свитках, горцы в черкесках, азиат в халате и даже какой-то дядя в... светлом спортивном костюме из полосатой фланели и желтых башмаках!..

Царь произнес свою речь неуверенным голосом, волнуясь и запинаясь, вопреки ожиданию многих, ничего не сказав об амнистии.

Когда он кончил, на несколько секунд воцарилось неловкое молчание. Царь стоял растерянно, ожидая чего-то. Наконец с правой, раззолоченной стороны раздались крики «ура!». Но на левой почти никто не откликнулся. И это молчание было зловещим.

Придворные расходились в смущении, стараясь не обмениваться впечатлениями. Боясь народа, даже Дума, избранная самым недемократичным путем, отказывалась служить ширмой обреченному строю. У императрицы Александры лицо покрылось красными пятнами, и глаза ее выражали негодование.

Глядя на угрюмо молчавшую толпу на левой стороне зала, многим, вероятно, на правой показалось, что вот-вот перед ними разверзнется пучина.

У выхода отец оказался рядом с одним из виднейших военных сановников — генерал-адъютантом Клейгельсом, бывшим петербургским градоначальником. Тот

был мрачнее тучи. «Империя умирает...»,— проговорил он глухим голосом.

«У меня как-то болезненно сжалось сердце,— рассказывал отец,— но я пробовал отшутиться: «Ну на наш век хватит!»—«Я постарше вас, на мой — может быть, на ваш нет»,— отвечал Клейгельс.

Так, кстати сказать, и случилось...

Но страшный урок первой революции был забыт людьми из «нашего мира». В годы между этой революцией и первой мировой войной, годы внешнего спокойствия и бурного роста капитализма, они вновь, по-горемыкински, предались самоублажению, в надежде, что хватит на их век и даже на век их сыновей!..

ГЛАВА 3

НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ

Еще до лицея у меня произошла встреча, оставившая воспоминание на всю жизнь.

Уходя от приятеля, я спутал двери и вместо передней оказался в гостиной. Там сидели хозяин дома — важный генерал, его жена, еще интересная дама, и странный чернобородый человек, на которого я тотчас обратил внимание. Странность его заключалась в том, что это был мужик, самый подлинный по внешнему виду, но мужик праздничный, разукрашенный, в шелковой голубой рубашке, синих шароварах и лакированных сапогах. Как попал он в гостиную?

С детской чуткостью я сразу угадал, что хозяева смущены моим появлением. Но было уже поздно. Я поздоровался, и они, очень почтительно обращаясь к странному человеку, представили меня ему, назвав при этом должность, которую занимал тогда мой отец. Тон их примерно был тот же, что у моих родителей, когда они разговаривали с виленским архиепископом. Да и бородач в шароварах сказал мне совсем как тот: «Хороший мальчик, хороший»— и покровительственно похлопал по плечу.

Я поспешил ретироваться, а когда спросил у моего товарища, так и не вошедшего в гостиную, кто это, он ответил:

— Распутин.

Об этой встрече вспоминал я особенно часто летом 1916 года по дороге из Петрограда на фронт. В офицерских вагонах, в станционных буфетах имя Распутина буквально гремело. Его бранили на все лады, обвиняли в том, что он продает немцам Россию. Совершенно не стесняясь, офицеры называли одновременно императрицу. Дома и в лицее я тогда еще таких разговоров не слышал, и они рождали во мне смущение, а вместе с тем какое-то веселое чувство, как часто бывает в юности перед грозой или необычными и волнующими событиями. Больше же всего дразнил мое любопытство сенсационный характер таких разговоров: мне шел только пятнадцатый год.

Почему же, спросит, вероятно, читатель, ехал я в таком возрасте на фронт? Тайком, что ли, от родителей? Как юный доброволец, рвущийся в бой?

Нет, геройства с моей стороны не было, не было и побега, и эту поездку организовала сама моя мать.

Как я уже отмечал, старый режим имел для привилегированных лиц весьма положительные стороны. В самом деле, возможности их были поразительны.

На нашем Западном фронте наступило затишье. Санитарный отряд, возглавляемый моей матерью, был отведен в тыл на продолжительный отдых. Воздушные налеты были в ту войну редким явлением. Вот моя мать и решила, что месяца два в отряде будут для меня приятными каникулами и в то же время полезной школой. А чтобы я не забывал английского языка, меня отправили туда вместе с гувернером-англичанином.

Доехали мы благополучно до последней станции, где-то на барановичском направлении. Но там произошла путаница. Высланный из отряда автомобиль запоздал. По шоссе то и дело проходили машины, и мы решили не дожидаться. Однако для нас обоих места ни в одной не нашлось, так что гувернер и воспитанник оказались разъединенными. На каком-то повороте машины разминулись: та, где сидел гувернер, умчалась в сторону. В результате я приехал в отряд через час, а гувернер пропал на целые сутки.

На другой день мою мать вызвали по телефону из штаба далекой дивизии.

— Хотите услышать бесподобную историю?— ска-

зал знакомый генерал.— Представьте себе, ко мне доставили чуть ли не с передовой линии какого-то англичанина в нашей санитарной форме, который обращался к идущим в окопы солдатам с одним и тем же вопросом: «Где миссис Лубимоф?» По-русски — ни слова! Да и по-английски мало что может объяснить. Говорит, что его удостоверение осталось у вашего сына. Ехал в отряд, а в какой — не знает, вообще ничего не знает и своим начальством признает только «миссис Лубимоф». В полной растерянности, изнеможен. Я его накормил и уже выслал к вам с провожатым.

Фронтовой мой опыт невелик.

Погоны у меня были особые: с серебряным галуном, как у «чиновников без чина» (была такая категория). Но, несмотря на скромность моего официального положения, санитары вытягивались, когда я к ним обращался: я был для них прежде всего сыном попечительницы.

И все же этот опыт приоткрыл мне на миг какую-то завесу.

Рядом с нами отдыхала кавалерийская часть. Проходя через ее расположение, я услышал громкий, обрывающийся голос и увидал офицера, распекающего солдата. Офицер был щупленький, совсем молодой, он очень горячился и размахивал руками. Рослый, усатый и уже пожилой солдат стоял перед ним навытяжку. Глаза его были опущены, губы вздрагивали, но он ничего не отвечал.

— Я тебе покажу — прохаживаться с папиросой в зубах! Да еще честь не отдавать офицеру! Скажешь: не видел!.. А на что у тебя глаза, дурак?

Язык у офицера немного заплетался, и я понял, что он выпил.

— Небось не пикнешь сейчас! Испугался? Знаю я тебя!— продолжал офицер, все более возбуждаясь.

Вдруг он как-то дико вздернул рукой и ударил солдата.

Тот не шелохнулся, только лицо его стало как полотно.

Это ли с новой силой взорвало офицера или, ударив раз, захотелось ударить еще?

И снова звук пощечины.

— Получил?

Сунув руки в карманы, офицер отошел нетвердой походкой. Солдат продолжал стоять неподвижно.

Сцена эта страшно меня поразила.

Я спрашивал затем у многих офицеров, часты ли подобные случаи. Ответы были уклончивы. Никто этого не одобрял, но большинство и не возмущалось, предпочитая переводить разговор на другую тему. Только один старый полковник сказал мне прямо:

— Это срам. Но ничего против этого не поделаешь. Без буйства не обойтись, пока господ офицеров не будут наказывать за такие дела. Всякие ведь бывают люди... Вот и хочется кой-кому покуражиться над безответным мужиком.

Мне хотелось утешиться мыслью, что на это способны только армейские «недотянутые джентльмены». Недаром же сочинили стишок про мариупольских гусар:

В морду бьют на всем скаку
В Мариупольском полку.

Но компромиссного объяснения не получилось. Я узнал, что солдат бьют по лицу и в самых первых полках гвардии.

— Да, бывает, хоть и реже, чем в армейских частях...— с неудовольствием отвечал на мои вопросы гвардейский ротмистр.— Вот война пройдет, может, и с этим покончим,— добавил он и тоже заговорил о другом.

«Наш мир» казался мне избранным, достойнейшим, и потому я ухватился за эту смутную надежду. Она ведь позволяла и мне не задумываться над подлинными основами нашего строя.

. . . .

На фронте я простудился, доктора признали воспаление легких. Так и окончилась моя «боевая эпопея». Меня отвезли в Минск. Незадачливого гувернера отправили в Петроград, а вместо него выписали оттуда мою старую няню.

В Минске я пролежал около месяца в лучшей тогда гостинице «Европа». Моя мать наезжала в город (где был штаб фронта), останавливалась в соседней комнате и часто приводила ко мне лиц, ее навещавших.

Помню, раз ввела она двух очень важных особ: бывшего министра земледелия Кривошеина, с горя возглавившего после отставки краснокрестные организации Западного фронта, и генерала, командовавшего одной из армий этого фронта.

Кривошеин часто бывал у нас в Петербурге; о нем родители говорили как о видном политическом деятеле, честолюбивом и одаренном, которому симпатизирует Дума, так как он покинул свой пост из-за разногласий с царем. Оба вошли, продолжая начатый разговор.

— Не унывайте, Александр Васильевич,— басил командарм, пропуская вперед Кривошеина.— Ваше время скоро придет!

— Не думаю... Я ведь не из фаворитов Григория Ефимовича,— отвечал тот с деланной улыбкой.

— Но так дальше продолжаться не может,— возражал генерал.— С этим прохвостом будет скоро покончено.

— Дай-то бог, дай-то бог! Пора!

Затем оба сделали вид, что интересуются моим здоровьем, и заговорили с моей матерью о другом.

Этот Григорий Ефимович, которого старый боевой генерал называл прохвостом, с чем, очевидно, соглашался его собеседник, царский статс-секретарь, был Распутин, фаворит царя и царицы. Опять сенсационный характер таких речей (и в таких устах!) поразил меня. Кажется, именно после этого разговора у меня проявился острый интерес к политике.

Вскоре по возвращении в Петроград я вновь услыхал о Распутине уже по поводу, непосредственно касавшемуся моего отца.

После Вильны отец занимал ряд довольно значительных постов: был директором департамента государственных имуществ, затем товарищем главноуправляющего высоким учреждением, именуемым «Собственной его величества канцелярией по принятию прошений, на высочайшее имя приносимых» (эта должность по рангу соответствовала товарищу министра и давала право на личный доклад царю). В начале войны, когда царское правительство решило ухаживать за поляками, он отправился в Варшаву в качестве помощника генерал-губернатора по гражданской части, а

позднее вступил в полное управление всеми польскими губерниями, но это уже не имело особого значения, так как там были немцы... Фактически отец оказался не у дел, считал, что это несправедливо, и приписывал заминку в своей карьере враждебному отношению все того же Распутина и распутинцев.

В это время приехал к нему совершенно неожиданно некий архимандрит от имени петроградского митрополита, пресловутого Питирима. Архимандрит заявил, что Питирим очень хотел бы видеть отца на посту обер-прокурора Синода, то есть министра по делам православной церкви. Если он даст согласие, то митрополит будет настаивать на его назначении перед лицом, от которого это фактически зависит. Ответ желательно получить немедленно, так как лицо это «будет завтра же у владыки».

Предложение Питирима сулило назначение на один из самых высоких постов в государстве. Но отец отвечал уклончиво. Его удивили как самая форма предложения, так и неожиданная благосклонность к нему митрополита. Отец был близок к Кривошеину и прочим опальным сановникам, порицавшим «распутинскую политику». Между тем Питирим считался одним из главных ее проводников. Не было ли тут какого-то сложного маневра с его стороны?

Отец заявил архимандриту, что даст ответ лишь на официальное предложение.

Такового предложения не последовало. Очевидно, лицо, которое ждал Питирим, высказалось против кандидатуры отца. Кто же был этот таинственный человек, от которого зависели министерские назначения? Вскоре знакомый отца, занимавший в Синоде значительное положение, рассказал ему, что как раз в указанный день Питирим принимал у себя Распутина.

Теперь в нашем доме только и говорили об этих делах. Я стал зачитываться газетами: «Как интересно! Как поразительно!» — думалось мне. Не я один, многие мои сверстники из того же круга развились раньше времени (хотя и односторонне), наслушавшись вокруг себя тревожных речей с постоянными присказками и возгласами: «Куда мы идем?!.. Это неслыханно!.. Так продолжаться не может!»

Словно дело шло об авантюрном романе, мы жад-

но следили за развитием событий, но сущность их совершенно ускользала от нас.

С осени 1916 года весь лицей охватила лихорадка. Но прежде чем говорить об этом, расскажу об одном событии, происшедшем в его жизни.

Над директором лицея стоял попечитель, обязательно бывший лицеист. На место умершего бывшего министра Ермолова был назначен на эту должность граф Коковцов, бывший премьер.

Коковцова я часто встречал впоследствии в Париже, где он стал директором банка, не раз беседовал с ним. Это был в некотором отношении типичнейший Каренин: всю жизнь проработав в сферах служебных, он видел не самую жизнь, а только ее отражения. Но в том, что касается способности разбираться в них, он, вероятно, не имел себе равных. Коковцов представляется мне законченным олицетворением канцелярской машины. Он изучил досконально все ее винтики и упивался своей осведомленностью, считая ее выражением подлинного государственного ума. Но в первую очередь упивался он самим собой. Я не припомню более самовлюбленного человека. В бюрократическом мире Коковцов славился словообилием, речь его текла как ручеек, причем решительно все вопросы политики, управления умел он сводить к собственной персоне.

По случаю первого приезда нового попечителя все классы были выстроены в актовом зале, по обе стороны портрета Александра I, «кочующего деспота» и «плешивого щеголя», которому Пушкин все же готов был простить многое за две памятные удачи: «он взял Париж, он основал лицей».

Хоть Коковцов был совсем малого роста, он всегда производил впечатление своей важностью — такая уж у него выработалась осанка. Холеный, медлительный в движениях, напыщенный. Говорил он нам чуть ли не целый час. Мы стояли навытяжку. В середине речи что-то дрогнуло в строю — это подхватили лицеиста, с которым сделалось дурно. Через десять минут опять: вынесли второго. А Коковцов все говорил, причем темой его давно уже был не лицей, а он сам и его неусыпная деятельность.

Горемыкиными и Коковцовыми заканчивается предпоследняя страница самодержавия. Они выражали затх-

лое мировоззрение, отживший, выхолощенный строй, но они впитали в себя рутину власти и старались охранить свой бюрократический престиж.

Последняя страница самодержавия — это царство проходимцев, не уважающих ни собственной власти, ни самих себя, царство безответственных авантюристов, политических шутов, просто жуликов, царство, как говорили тогда, темных сил.

Осень — зима 1916 года.

Как только мы в отпуске, то есть не в лицее, летим на Невский, в кинематограф (тогда не говорили «кино»). Какие фильмы! «Поэма страсти» или «Под знаком скорпиона», «Таинственная рука», «Вампиры» и еще заманчивее —«Отдай мне эту ночь».

Лихорадочно покупаем «Вечернее время» или специальный выпуск «Биржевки». Их чтение столь же захватывающе, как самый потрясающий фильм с убийствами и раздеванием.

Милюков публично обвинил царицу в измене! Пуришкевич, сам правый Пуришкевич, громит распутинцев с думской трибуны!

Мы в курсе самых скандальных интриг, распутинских сатурналий. Как и дома, в лицее уже не говорят ни о чем другом! Сейчас нас больше всего занимает Штюрмер, распутинский ставленник, на которого рассчитывают в Германии.

Под напором Думы царь скрепя сердце увольняет Штюрмера. Еще до своего премьерства этот старый хитрец, проныра, подхалим (так его теперь все величают) как-то заезжал к отцу по служебным делам. Отец острил, что вся его каверзная персона притаилась в бороде, удивительно длинной и напомаженной, словно вылепленной из глины. Он давно знает Штюрмера, всегда считал его интриганом и теперь радуется его падению.

Чтобы позолотить фавориту горькую пилюлю отставки, царь жалует ему на спину обер-камергерский бриллиантовый ключ! Мятлев, великосветский памфлетист, чьи стихи ходят по петербургским гостиным, спешит отточить новую шпильку по адресу высшей власти. Весь лицей, от старших классов до самого младшего, знает его стишок, мигом облетевший великокняжеские дворцы, все гвардейские офицерские собрания, все важнейшие канцелярии, редакции всех газет и кулуары

Государственной думы. Да извинит меня читатель, что привожу эти четыре строки с неудобопроизносимой концовкой,— они уж очень характерны для предфевральской поры:

Не обижайся, мир сановный,
Что ключ алмазный на холопе!
Нельзя ж особе столь чиновной
Другим предметом дать по...

И все мы заучили другой мятлевский стишок, пожалуй самый знаменитый:

Аннушка гадает,
Гришка прорицает...
Про то попка ведает,
Про то попка знает.

Так высмеивал Мятлев триумвират, возглавляющий «темные силы». Всему лицею известен его состав:

Грязный, развратный, безграмотный проходимец Григорий Распутин, который держит в своей власти царицу, а через нее — царя. Они поклоняются его «магнетической силе», слепо верят, что этот продажный авантюрист выражает преданность престолу «простого народа», а главное, помнят его предостережение: «Когда меня не будет, и вам будет конец».

Анна Вырубова, ближайшая подруга царицы и самая исступленная распутинская почитательница, с которой царица предается болезненному, истерическому мистицизму.

Министр внутренних дел Протопопов («про то попка» — в мятлевских стихах), душевнобольной, с первыми симптомами прогрессивного паралича, которого «наш друг»— так царь и царица называют Распутина — объявил самым надежным из царских слуг.

А под ними и вокруг них целый клубок «темных сил», разной масти и дородности.

Это митрополит петроградский и ладожский Питирим. Мы знаем, что он связал себя окончательно с Распутиным и соперничает с ним в разврате, публично оскверняя свой сан. У того гарем из великосветских кликуш, а этот крестом и посохом гонит «женскую лукавую любовь», но зато в алтаре и в опочивальне окружает себя молоденькими смазливыми служками. Это Мардарий, тоже духовное лицо, про которого толком

никто ничего не знает, но которому приписывают оккультную власть. Это банкир «Митька» Рубинштейн, которого все считают мошенником, но перед которым заискивают и министры. Это Манасевич-Мануйлов — жулик, уголовник и штюрмеровский секретарь. Это князь Андронников, который числится при Синоде, никакой важной должности не занимает, но все может и всем приказывает. И еще многие другие. Среди них и сознательные изменники, германские агенты, и такие, которые выросли в прогнившем государственном аппарате, как грибы на навозе.

Отец рассказывает про Андронникова:

— Мне сообщили, в чем секрет его влияния. Он подкупает курьеров! Да, простых курьеров «Правительственного вестника». По дороге в типографию они завозят к нему материал, предназначенный для печати. Андронникова интересуют только награды, назначения. Тотчас же звонит, кому выпала удача: «Рад вам сказать, что мои старания увенчались успехом. Государь уже подписал указ. Завтра прочтете в «Правительственном вестнике». Поздравляю!» Вот и все! В результате у этого проходимца каждый день в передней толпа.

Как мальчишки-лицеисты, как и все, отец захвачен внешней стороной нахлынувших событий. Когда у него сидит какой-нибудь добрый знакомый, из кабинета то и дело доносится:

— Это точно: он будет назначен.

— Но ведь это отъявленный негодяй!

— Потому и пошел в гору.

— А почему того уволили?

— Распутин велел.

— Но ведь это неслыханно!

— Не то еще будет! Если только...

К отцу приходит мой дядя Туган-Барановский, знаменитый Михаил Иванович. Он либерал, он дружит с кадетами, он объявляет себя врагом самодержавия.

Но сейчас отец и он нашли общий язык.

— Это черт знает что!

— Ужас!

— И позор.

— Да, и позор.

Отец говорит в заключение:

— Он потерял голову. Он ничего не понимает.

Дядя улыбается в бороду. Видимо, ему нравится пикантность этого разговора. «Он» — это царь.

В «Войне и мире» на обеде у старого князя Болконского все бранили правительство, но каждый останавливался или бывал оставливаем «на той границе, где суждение могло относиться к лицу государя императора».

Начиная с осени 1916 года эта заповедная грань решительно перейдена.

Царя бранят среди нас открыто:

— Как был в молодости средним офицериком, так и остался!

— Воли нет никакой!

— Эх, кабы Александр III воскрес!

— Или Николай Павлович!

В один голос говорят, что он неумен, фальшив, нерешителен, необразован. Бранят не меньше, чем среди «презренной» интеллигенции. Но там называют просто «Николаем», а у нас он по-прежнему «государь». Вот, в общем, вся разница. Зато царицу величают «гессенской мухой», а то и просто «Алисой», по ее основному имени.

...Парадный молебен в лицейской церкви. Стройные шеренги. Мундиры с орлеными пуговицами. Директор в ленте — перед алтарем. Стоим неподвижно.

«Многая лета» царствующему дому. Гремит на весь храм голос дьякона. Сначала царю, затем:

— Супру-уге его-о, благочести-ивейшей госуда-арыне императри-ице Алекса-андре Фео-одоровне-е...

Ясно вижу, как некоторые лицеисты из старших классов чуть-чуть отворачивают голову для символического плевка.

Нас, мальчишек, дразнит сенсация. Сенсация взвинчивает настроение и взрослых. Но у них, кроме того, другое. Я понял это по следующему случаю.

К нам зашел мой дядя, Николай Иванович, сенатор не у дел. На этот раз он не надел парадного мундира и обошелся без фанфаронства. В отличие от брата Михаила, говорил с отцом без игривой улыбки, как всегдашний единомышленник. Передал ему какие-то новые вести о Распутине и о «тревожных симптомах», рисующих настроение «низов». Затем театральным жестом

указал на стену, где висел портрет Николая II, и произнес мрачно:

— Он губит нас всех!

Я понял, что в душе его страх. Теперь же, когда вспоминаю об этой поре, я распознаю страх в словах и поступках решительно всех, кто возглавлял тогда цензовую Россию.

На фронте потоками льется кровь. Армию послали сражаться почти без оружия. Разве за это не придется расплачиваться? Страна устала. Разруха во всем. Во главе государства безумцы, изменники или прохвосты. Министры и главнокомандующие назначаются по указке безграмотного мошенника.

Сам царь в страхе и из страха ищет спасения в Распутине. Люди из «германской партии» хотят заключить сепаратный мир. Они тоже в страхе. Пускай же Россия будет под немецким сапогом: все лучше, чем торжествующий гнев народа! Прочие заявляют: до конца с союзниками! После войны союзники спасут от народа! За это можно им дать концессии, уголь, нефть — все что угодно.

В страхе Штюрмеры и Протопоповы. Но в том же страхе Милюковы и Керенские. Первые говорят, что только твердая власть может спасти от народа. А те им возражают: вы уже не власть, вы прогнили вконец; только Дума, только ответственное министерство способны остановить гнев народа.

Не как спасти Россию, а как спасти свой социальный строй, спасти себя! От кого? От народа. Значит, от России.

— Куда они нас ведут?! — восклицают старшие и в лицее и дома.

«Они» — это «темные силы»; «нас» — это значит наш социальный слой. О России говорят тоже, но лишь во вторую очередь. Если погибнет этот строй, то и ей конец! Так само собой разумеется, раз мы, только мы, ее сердце и голова!

За обедом отец рассказывает очередную сенсацию.

Княгиня Васильчикова, урожденная княжна Мещерская (это высшая знать), отправила по почте письмо императрице (уже дерзость), заклиная ее прогнать Распутина и не вмешиваться больше в государственные дела. По приказу царя Васильчикова выслана в свое имение.

Отец одобряет эту меру: налицо «оскорбление величества». Но одобряет и Васильчикову, вновь резко порицая царя за слабость, за подчинение Распутину. Каждый раз, как входит слуга, он останавливается или продолжает по-французски.

При «них», при «людях» негоже говорить о царе откровенно. Отец мне уже объяснял это. Народу незачем знать такие дела.

Зато самого Распутина отец готов ругать хоть публично. Распутин ведь тоже «из народа». Пусть же во всем будет виновен он, а не царь.

Царь не годится. Но свергать его страшно. Может рухнуть все. Так думает не только правый Пуришкевич, но и кадет Милюков,— это известно отцу из самых верных источников. Дворцовый переворот — это крайний шаг.

В лицее старшие товарищи говорят открыто:

— Надо бить по «темным силам» и в первую очередь — по Распутину.

Декабрьские сумерки. В руках у меня только что купленная газета. На видном месте странное сообщение: о таинственных выстрелах, раздавшихся ночью в каком-то дворце, о городовом, которого не впустили за решетку, объявив, что во дворце убита бешеная собака.

Читаю, перечитываю, пожимаю плечами. Рядом на тротуаре тоже читают остановившиеся прохожие. Встречаюсь глазами с одним, другим — и вдруг у меня буквально захватывает дыхание.

Мчусь домой. Звоню у подъезда, пока не открывается дверь. Кричу так громко, что отец выбегает навстречу:

— Распутин убит!

Князь Феликс Юсупов, женатый на племяннице царя, двоюродный брат царя — великий князь Дмитрий Павлович и правый депутат Пуришкевич организовали убийство Распутина в надежде спасти трон и социальный строй, с которыми они связывали свою судьбу.

Юсупов был инициатором и физическим исполнителем всего дела. Он заманил Распутина в свой дворец, резиденцию «особы императорской крови», куда поли-

ция не имела права проникнуть, он угощал его там отравленными пирожными и вином, а когда яд не подействовал, он стрелял и убил. Почему же именно он решился на такой шаг?

Феликс Юсупов был в ту пору кумиром петербургской «золотой молодежи». Очень красивый (тому свидетельство — портрет его кисти Серова в Русском музее), наследник колоссального состояния (знаменитое Архангельское под Москвой, дворцы в обеих столицах с художественными коллекциями, оценивавшимися в миллионы, имения по всей России; выдавая за него свою дочь, сама сестра царя считала, что это выгодная партия), он, кроме того, славился «утонченностью вкусов и манер», объявлял себя почитателем Ницше, а главное Оскара Уайльда, давая понять, что он из тех людей, которые возвышаются над прочим человечеством, а потому не обязаны подчиняться общим законам. В этом отношении он импонировал не только офицерам гвардии, но и поэтам-декадентам.

После революции Юсупов поселился в Париже. Последний раз я видел его в 1947 году. Ему было уже шестьдесят лет, но выглядел он моложаво, так же изящно одевался, так же, как в юности (до и после женитьбы), слегка красил губы и щеки и любил принимать расслабленые позы, между тем как на лице его играла давно заученная, двусмысленная улыбка. Все десятилетия, отделяющие нас от ночи на 18 декабря 1916 года, когда он совершил свой самый значительный поступок, Феликс Юсупов прожил как убийца Распутина и больше уже не пускался ни в какие политические авантюры. В парижских, лондонских и нью-йоркских гостиных шушукались при его появлении, глядели на него с жгучим любопытством, и он как должное принимал такие знаки внимания.

Я несколько раз разговаривал с ним, наблюдал его, много слышал о нем. Думается, в поступке его сыграли значительную роль такие теории, как «красота дерзания», ницшеанская вседозволенность «для избранных, жажда острых, не изведанных еще ощущений» и при этом... полная уверенность в безнаказанности.

Убивая Распутина, Юсупов, вероятно, мечтал стать кумиром всей России. Это не вышло. Но себе он обеспечил безбедную старость. Впрочем, тут ему повезло.

В первые годы эмиграции у Юсуповых было достаточно денег: какая-то часть состояния оказалась у них за границей. Но привычка к роскоши скоро подорвала эту базу. Пришлось работать. Юсуповы открыли в Париже ателье мод. Опыта не было, и дело прогорело. Тогда князь Феликс взялся за перо. О чем же писать? Конечно, о главном событии в своей жизни. Книга доставила ему некоторые хлопоты. Дочь Распутина тоже бежала во Францию. И вот, после выхода в свет юсуповских воспоминаний, она возбудила против него дело во французском суде, требуя возмещения «убытков» за убийство отца! Основание было такое: виновность Юсупова не приходится доказывать, раз он сам печатно в ней признается! Французский суд долго возился с этой дикой жалобой и в конце концов отпустил ни с чем распутинскую дочь, рассудив, что дело было давно, в другой стране и уже подлежит лишь суду истории. Но кроме хлопот, книга доставила Юсупову и солидный доход. Особым успехом пользовались строки, где изящный и изнеженный автор рассказывал с чисто аристократической брезгливостью, как, обрадовавшись, что наконец прикончил удивительно живучего мужика, он пришел в неистовство и бросился топтать мертвое тело. Однако доходы от книги быстро улетучились. Вот тут-то Юсупову и выпала удача.

Голливуд выпустил фильм об убийстве Распутина. Это была очередная американская клюква «из русской жизни», причем клюква с порнографией. Личность Распутина и его окружение давали для этого достаточный материал. Но, забыв, что Юсуповы — живые люди, Голливуд изобразил главной распутинской фавориткой княгиню Ирину, придав ей образ разнузданнейшей Мессалины. Это было нелепо, так как жена Юсупова всегда считалась крайне скромной женщиной, жила в уединении и почтительно обожала мужа.

Не знаю, что испытали Юсуповы, смотря этот фильм. Но действовать стали немедленно. Было возбуждено дело об «опорочении доброго имени матери семейства». Опять собрался суд. На этот раз в возмещении «убытков» не было отказано. Причем особенно высоко был оценен в долларах «моральный ущерб», так как фильм успел появиться на сотнях экранов.

С тех пор Юсуповы уже не нуждались в деньгах.

В февральские дни моих родителей не было в Петрограде. Мать находилась на фронте, отец — в Москве, по служебным делам.

Я ходил по улицам среди толп, метавшихся взад и вперед. То там, то здесь раздавалась стрельба. Раз на Невском я не только слышал выстрелы, но и странный свист мимо ушей, и понял, что это пули, когда все вокруг бросились в подворотни.

Поздно вечером в воскресенье, 26 февраля, я снова пошел на Невский вместе с моим двоюродным братом, правоведом. Народу было гораздо меньше. Толпа отхлынула после бурного дня. Посреди площади, у памятника Александру III, стоял, как обычно, городовой. Он предупредительно откозырял нам и, с готовностью отвечая на наши вопросы, объявил, что беспорядкам конец: с утра вводится осадное положение.

Было совсем темно, чуть порошило. Пошли обратно к Литейному. Из какого-то ресторана слышались музыка и заглушенное пение. Распознав «Боже, царя храни», мой двоюродный брат приложил руку к треуголке. Я сделал то же. По Невскому двигались всадники. То была конница, спешно вызванная в столицу для подавления восстания. Под звуки гимна они проходили высокими тенями в морозной мгле.

ГЛАВА 4

ПОСЛЕ ФЕВРАЛЯ

Мы занимали в то время особняк на углу Фурштадтской (ныне улица Петра Лаврова) и Литейного, против нынешнего магазина «Гастроном». Из окон моей комнаты виднелся проспект в сторону моста.

Утром 27 февраля я был разбужен бурными криками с улицы. Но хотелось спать, и я не поднялся с кровати, радуясь, что из-за событий не надо торопиться в лицей. С возбужденными лицами, даже не постучавшись, в комнату вбежали горничная, повар и еще кто-то из прислуги. Разом прильнули к окнам. Шум все усиливался.

— Что случилось?

— Вставайте, вставайте, Лев Дмитриевич,— сказала старая горничная.— Уж вы нас извините, что так ворвались к вам. Сами поймете...

Мне уступили место у окна. То, что творилось на улице, было еще более необычно, чем накануне.

По Литейному шли войска. А на тротуаре стояли люди всякого звания и что-то кричали, женщины махали платками. В первую секунду меня больше всего поразили белые платки над толпой.

— Сдаются, что ли, войскам?— проговорил я в недоумении.

Старая горничная как-то странно посмотрела на меня. Остальные даже не оглянулись.

В следующее мгновение я уже заметил, что солдаты идут нестройно, сами что-то кричат и машут толпе.

Не раз слышал рассказы отца о первой революции: московское восстание, волнения во многих городах были подавлены войсками.

— Пока войска верны правительству, нет опасности,— говорил отец.

«Неужели конец?»— пронеслось в голове.

Я долго оставался у окна. Вот, пожалуй, что произвело на меня самое сильное впечатление.

На Литейном, у Сергиевской (ныне улица Чайковского), была воздвигнута баррикада, за которой укрепились восставшие. Ближе к Невскому стояли части, еще верные правительству. Оттуда затрещали пулеметы. Проспект мигом опустел. Несколько солдат укрылось в подворотню, как раз напротив Фурштадтской; лежа или на коленях они открыли стрельбу по правительственным войскам. Так продолжалось несколько минут. Вдруг один из солдат поднялся во весь рост и, отстранив товарища, схватившего его за рукав, вышел из подворотни.

Я смотрел, не понимая.

«Зачем он это делает? Пьяный?»

Но он не был пьян. Твердым и мерным шагом перешел через тротуар, и вот уже сапоги его вдавливаются в снег на самом проспекте. Он все ближе ко мне, и все яснее вижу его лицо — молодое и энергичное, с прядью волос, выбившихся из-под папахи.

«Куда он? Зачем переходит улицу под огнем?»

Но он не собирался переходить.

Остановился как раз посередине, между трамвайными рельсами. Повернулся лицом к Невскому. Поднял винтовку. Прицелился не спеша. Выстрелил.

И тем же спокойным шагом пошел обратно в подворотню.

Как все, вероятно, кто смотрел на него в эту минуту, я с трудом переводил дыхание.

Пальба усиливалась.

Я старался различить в подворотне солдата, совершившего этот непонятный поступок. Но там в дыму была лишь волнующаяся масса серых шинелей,— и я подумал, что уже никогда не увижу его... Как вдруг он вновь отделился от товарищей и вновь пошел под огонь. Да, вот он опять на снегу. Опять останавливается между рельсами. Опять медленно прицеливается. Выстрел! Но обратно не идет. Еще раз поднимает винтовку. Другой выстрел! Затем тихо возвращается к своим.

Эта была какая-то фантасмагория. Но меня уже ничего не могло удивить. Я был уверен, что этим не кончится, и ждал, что он снова выйдет на середину этого страшного, пустого проспекта. И он так и сделал.

Я прильнул к окну, впиваясь в его фигуру, Опять он на том же месте. Прицеливается. Жадно разглядываю его черты. Прямой лоб в ракурсе, вздернутый волевой подбородок, голова набок — к стволу винтовки, глаз, угадываю, ищет врага. Весь его профиль кажется мне удивительно прекрасным в это мгновение!

Выстрел! Дымок. Он все стоит. Снова выстрел! Снова дымок. Но он не уходит. Понимаю: решил выстрелить три раза подряд.

Опять плечо уперлось в винтовку, и палец готов спустить курок. Но выстрела нет. И не будет! Солдат роняет ружье и как сноп валится в снег.

Не вышло до конца! Но как красиво, как дерзко все это было! А зачем? Не знаю. Но, вероятно, дышала в этом юноше великая ненависть к тому, во что он стрелял, и великая уверенность в своей правоте, в своем превосходстве.

Подросток в ушанке выглянул из-за дома и махал платком, пока не прекратилась пальба. Затем выскочил на улицу и поволок труп к подворотне, из которой, го-

ря отвагой, этот русский солдат выходил стрелять в старый режим.

От трамвайных рельсов до тротуара тянулся по снегу кровавый след[1].

...Вечером, в шапке и штатском пальто я пошел смотреть на пожар Окружного суда. Огромное здание пылало, и никто его не тушил. Горели дела политических и уголовных. С треском рушились лестницы и потолки. Зажженный народом огонь пожирал без остатка, без разбору старый строй, весь уклад его, все его законы. На улице стояла толпа, веселая, торжествующая.

На другое утро к нам наведался дядя Михаил Иванович. Кадетские его чувства выражались широкой улыбкой и большим красным бантом на груди. Намерения его были наилучшие: он хотел успокоить племянников, оставшихся в городе без родителей. Но меня это не тронуло. Я был оскорблен, что дядя является с красным бантом в дом моего отца.

— Будет провозглашена республика,— сказал он с довольным видом.

Я взглянул на его грузную, барственную фигуру, от которой веяло таким покоем, таким старозаветным усадебным бытом, и, ясно помню, удивился его улыбке: «Чему он радуется? Или это напускное?»

Штатское пальто скрывало лицейский воротник. Мне нечего было бояться.

В эти февральские дни я впервые увидел народ. Все, что я видел на улице,— красные флаги, солдаты и матросы с винтовками на крыльях автомашин, лица с горящими глазами, этот юноша, который так презирал старую власть, что не страшился ее пулеметов,— все это было торжеством народа. Да, народа, а не дяди

---

[1] Одновременно со мной и из того же дома, но из подвального помещения, с тем же жадным любопытством глядел на первых солдат революции другой подросток, мой сверстник, племянник нашего повара. Теперь это видный советский инженер. Он от начала до конца видел ту же сцену, как и я, был поражен до глубины души и до сих пор с изумлением вспоминает об отчаянной отваге этого молодого борца за свободу, славная смерть которого, кажется, нигде еще не была отмечена.

Михаила Ивановича! Торжество солдатской толпы, всех этих курносых деревенских парней, которых привыкли хлестать по щекам армейские и гвардейские офицеры, а не нового думского военачальника, элегантного полковника Энгельгардта, дамского угодника и доброго нашего знакомого, с бородкой точь-в-точь как у отрекшегося царя!

Против восставшего народа бессмысленно было бороться. У него была сила, в нем горел настоящий огонь. И у него была крепкая, очевидно, давно и незаметно для нас налаженная организация. А энгельгардты и дяди михаилы ивановичи были точь-в-точь такие же, как мы сами. Раз измельчали ученики Дурново, раз промахнулись они, занеся над народом руку, то не этим благодушествующим хитрецам обмануть его ныне грошевыми поблажками!

Народ торжествовал. И это торжество представлялось мне не только решительным, но и ужасным. Оно знаменовало крушение «нашего мира». Пафос народа, воля его и отвага были направлены против нас, против исключительности нашего положения. Что могло быть общего между нами и этой грозной толпой, радостно затопавшей и загоготавшей перед растреллиевскими колоннадами, монументами царей, под арками и триумфальными воротами в славу империи Петра и Екатерины! Нас, весь «наш мир» спихнула в первую очередь революция с разбитого пьедестала.

Все это, конечно, ощущал я гораздо более смутно, чем описываю сейчас. Но ощущал несомненно. Именно эта пора наложила особенно четкий отпечаток на мою сознательную жизнь. Несмотря на короткие вспышки протеста, безнадежность борьбы против революции крепко внедрилась в мое сознание. И одновременно внедрилось на многие годы другое: любование прошлым, упорное стремление уберечь «наш мир» хотя бы в самом себе, противопоставить его до конца новому торжествующему миру.

Такие настроения не были единичны.

Я не припомню товарищей, знакомых, да и вообще людей из «нашего мира», у которых февральский переворот вызвал бы искренний энтузиазм. Первыми жертвами явились мы, потому сознание обреченности было во многих.

Занятия в лицее возобновились. Новая власть о нас как будто забыла. Директор генерал Шильдер сам отстранился от дел. Усы его и звон шпор слишком уж отдавали старым режимом. Гвардейского генерала заменил штатский инспектор.

Экзамены. Мы переводимся в следующий класс. Что будет после — никто не знает.

Лицейские традиции не отменены. Перед выпуском «генералы» прощаются с младшими товарищами. Обходят класс за классом. Полностью соблюдается вековой церемониал. Стоим на вытяжку друг против друга. Один из «генералов» выходит из строя и произносит речь. Еще никогда такая речь не раздавалась в стенах лицея. Он говорит резко и кратко:

— Лицея больше нет. Все толки о превращении лицея в какую-то пушкинскую гимназию — оскорбительный для нас вздор. Пусть приспосабливаются другие. Мы предпочитаем не быть. Сейчас мы прощаемся не только с вами, младшие товарищи. Все мы вместе прощаемся с лицеем.

Наш курсовой председатель выступает вперед. Он приготовил обычное прощальное приветствие. Но речь старшего так его взволновала, что он не может выговорить ни слова.

Дальше все идет по ритуалу. «Генералы» вручают нам прощальные серебряные жетоны, каждый из нас удостаивается традиционной чести: старший товарищ, от которого он получает жетон, переходит с ним на «ты». Затем мы окружаем наших «генералов» и качаем их, подбрасывая как можно выше. Громовое «ура» несется им вслед, когда они покидают класс.

* * *

Лето 1917 года. Позади революция, сокрушившая царский строй, впереди другая, которой все страшатся. Но как ни в чем не бывало мы отправляемся за границу, забирая с собой гувернантку и горничную. Едем недалеко (ведь война), в Норвегию, на морские купания.

Для отца все, что происходит,— ужас, содом. Но именно потому он крепко уверил себя, что так продолжаться не может. Как часто бывает, вся обстановка

рисуется отцу словно в фокусе — в одном конкретном, хоть и незначительном случае. За несколько месяцев до революции его камердинер взломал несгораемый шкаф и похитил драгоценности. Камердинера арестовали, и сам отец дал о нем благоприятное показание, чтобы смягчить приговор суда. Но в февральские дни его освободили вместе с другими заключенными. Вот он и вернулся домой, то есть к нам, так как женат на нашей прачке. С тех пор и живет у нас. Для отца это доказательство, что «все пошло прахом».

Да, хорошо проехаться на месяц-другой за границу!

Ханкебад. Элегантный пляж. Роскошная гостиница. Вышколенная прислуга. Чистота и порядок. Никто не лущит семечек. Нет красных флагов. Нет криков, нет демонстраций. Вообще никаких политических событий. Как замечательно!

Утренний завтрак. У нас гость, тоже отдыхающий от петроградских тревог. Это — Мамантов, старый сослуживец и приятель отца, еще совсем недавно главноуправляющий «собственной его величества канцелярии по принятию прошений. Обходим стол с десятками норвежских закусок. Мамантов в отличном настроении, шутит по-курортному. Широко улыбаясь, низко кланяется отцу:

— Теперь я никто — человек без чина и звания, можешь меня презирать!

— Но все мы в том же положении,— возражает отец.

— Совсем нет! Тебе повезло! Ведь Сенат-то не упразднен! А вот я: управлял канцелярией его величества — нет больше величества, был егермейстером — нет больше придворных, был членом Государственного совета — нет больше верхней палаты! Кто бы мог подумать, что важнее всего попасть в Сенат!..

Хохочет. Отцу тоже весело.

— Ты знаешь,— продолжает Мамантов,— я видел здешнего короля. Он шел пешком по улице, как самый простой смертный. В штатском! Это, конечно, странно на наш взгляд! Но какое почтение кругом! Очень многие кланялись, уступали дорогу. Счастливая страна! Да, кстати, я вчера получил из Петербурга письмо со стихами, кажется Мятлева. Он, ты знаешь, в полном раскаянии. Как мог бранить Александру Федоровну! Да и в самом деле, «темные силы»— это ведь пустячок в срав-

нении с Совдепами. Так вот слушай же, что теперь про Керенского сочинено, не то им, не то Пуришкевичем:

Правит с бритою рожей
Россией растерянной
Не помазанник божий,
А присяжный поверенный.

Не правда ли, хорошо? Но скажи, ведь так продолжаться не может?

— Не может,— решительно подтверждает отец.

Обратный путь. Пока едем через Финляндию всюду только и разговоров, что о корниловском выступлении. В наше купе заходит едущий в том же поезде старый знакомый родителей, польский адвокат Ледницкий, известный общественный деятель, кадет.

— Ну что ж, ваше превосходительство,— в шутку говорит он отцу.— Скоро снова будем под вашим начальством. И слава богу!

Но когда приезжаем в Петроград, корниловский мятеж уже ликвидирован. Дядя Михаил Иванович, любящий исторические сравнения, говорил про Корнилова: это русский Кавеньяк. Теперь, вероятно, он назидательно объявляет: Корнилов оказался неудачливым Кавеньяком.

На вокзале нас встречает другой дядя — Николай Иванович. Он нервничает:

— Корнилов свел все наши усилия насмарку. Это уже второй человек...

Спрашиваю:

— А кто первый?

— Государь,— отвечает дядя шепотом.— Ни тот, ни другой ничего не понимают в политике. Вот теперь и жди победы большевиков. Впрочем, еще посмотрим!

Не только дядя, но и отец понижает голос, когда осуждает Николая II. Почему так? Ведь нет больше царизма. Вот именно поэтому. Теперь о царе не принято говорить непочтительно в нашем кругу.

Корнилов споткнулся. «Керенщина» выдохлась. Готовились к решительной схватке. Петроград был насыщен слухами: о Савинкове, о каких-то офицерских союзах, о тайных сговорах между царскими генералами и правыми эсерами, о текинцах...

Ведь корниловцы доходили почти до столицы! О грозных всадниках «дикой дивизии» складывались легенды.

— Совершенно не разбираются в обстановке.

— Это и хорошо!

— Прямо заявили делегатам Совдепа: «Что такое старый рэжим, новый рэжим? Мы просто ре́жем».

— Их и пустим снова против большевиков!

Большевики не были еще у власти, а уже организовалось белое движение. Однако будущие корниловские и деникинские офицеры были на первых порах не очень уверены в себе. Как подчинить снова солдат? Как покончить с «проклятой демократией» в армии? Впрочем, раз довелось мне услышать вполне самоуверенную речь.

К нам зашел уланский офицер, известный главным образом как бальный распорядитель, лихой танцор. Рассказывает в возбуждении:

— Знаете, мне все это безобразие, в конце концов, надоело! Решил навести порядок. Выхожу на Невский. Останавливаю первого солдата: «Ты что мне чести не отдаешь, болван?» Он сразу во фронт: «Виноват, ваше высокоблагородие, большевики попутали!»— «То-то»,— говорю я. А кругом уже десяток солдат стоит навытяжку. Спешат показать свое благонравие. Вот видите, обошлось даже без рукоприкладства. С этим народом надо говорить решительно!

Всем неловко. Глаза уланского офицера налиты кровью, смотрит пристально в одну точку. Когда он уходит, звоним его близким. Те тоже обеспокоены. Подтверждают, что с ним в последнее время происходит неладное.

Неделю спустя он уже был в сумасшедшем доме.

В Петрограде становилось тревожно. Меня с братом отправили к тетке, в Курскую губернию.

Имение сестры моего отца, под Белгородом, было небольшое, всего в несколько сот десятин. Главный доход давала «меловушка»— кустарный меловой завод, основанный моим дядей, графом Доррером, потомком французских эмигрантов. Это тот самый Доррер, член Государственной думы и курский губернский предводитель дворянства, которого В. И. Ленин упомянул в одной из своих статей среди наиболее черносотенных помещиков. Дядю не помню. У тетки детей не было, в Дорогобу-

женке меня считали будущим хозяином, и я там познал с юных лет все преимущества помещичьей жизни.

Вот я приезжаю на «меловушку». Плутоватый приказчик подобострастно суетится, помогая мне слезть с лошади. Вызывает хорошенькую дочку и предлагает пройтись с ней по сосновой роще, пока он приготовит закуску. Старый мир в агонии, а он все видит во мне графского племянника; ему хорошо живется при тетке, которая ничего не понимает в делах; ему хочется верить, что он еще много лет будет эксплуатировать всласть белгородских парней, нанимающихся на завод. Приказчик был дельцом мелкотравчатым, предприятие он не расширял и выдавал тетке шесть-семь тысяч в год, деля с ней, очевидно, доходы пополам.

Осень была хмурая. Соседей осталось мало, так как во многих деревнях уже было неспокойно. Но я не скучал. В эти дни, когда рушился весь старый уклад, я нашел для себя времяпрепровождение покойное и занимательное, доставившее мне много приятных минут.

Как-то взобравшись на чердак старинной дорогобуженской усадьбы, я увидел ветхие ящики, покрытые густым слоем пыли. Раскрыл один: кипы бумаг, жестоко изъеденных крысами. В глаза бросилась большая восковая печать с орлом; над ней какие-то хитрые завитушки, выше — дыра. Вгляделся и узнал! Да это тот самый росчерк, который так занимал меня в коллекции отца. А вот и другой лист, до которого еще не добрались зубастые звери. На нем полностью: «Николай». Какая находка!

Это был архив господ Дорогобуженовых, когда-то владевших имением, давно забытый на чердаке. С тех пор я каждый день поднимался туда, разбирал вороха бумаг, дыша пылью и плесенью, а затем торжественно приносил в свою комнату самое ценное. Вот будет рад отец! Как обогатится его коллекция!

В самом деле тут были автографы царей, приказы, подписанные фельдмаршалами, письма разных важных особ и купчие крепостных, особые совсем диковинные, каких я еще никогда не видал. Гвардии поручик Дорогобуженов продает дворовую девку Анфису, здоровую, такого-то роста, умеющую вышивать крестом. А месяц спустя тот же гвардии поручик покупает у соседа дво-

ровую девку, Пелагею, тоже здоровую, не меньше ростом, а что умеет — не сказано. В общем, он только и делал, что покупал или продавал девок. А три четверти века спустя я, его наследник, дивился, зачем ему понадобился подобный «товарооборот».

Читал с таким интересом, так погрузился во всю эту «толстобрюхую старину», что порой даже не успевал просматривать газеты. Они приходили с большим опозданием, и нельзя было разобрать, все ли уже «покатилось к черту» в столице или еще только катится.

Как-то наглотавшись сверх меры архивной пыли, решил проехаться на «меловушку». Опять низко кланяющийся приказчик, опять хорошенькая дочь, которая, кстати, тоже вышивает крестом и густо краснеет от удовольствия, когда я привожу ей «самые наилучшие» духи, какие можно разыскать во всем Белгороде. В голову приходит: а может, она правнучка той самой Анфисы или Пелагеи?

Возвращаясь обратно, нагнал телегу с двумя пожилыми мужичками из нашей деревни. Увидя меня, они сняли шапки.

— А что, барин,— спросил один,— правда, будто в Питере большевики власть забрали?

— Не знаю. Кто сказал?

— В городе телеграмма получена.

Так я узнал об Октябрьской революции.

Как вдова губернского предводителя дворянства тетка моя занимала в уезде значительное положение. Ее любили, она была хлебосольна на старинный лад, многим помогала, даже содержала кое-кого и позволяла себя обкрадывать. Дом ее был вечно полон приживалов и приживалок. В происходящих событиях она ничего не понимала, а так как пока что они на ней непосредственно не отражались, жила как прежде, решительно ничего не меняя в своих привычках и даже не допуская, что их придется менять. К памяти мужа, сугубого консерватора, относилась с благоговением и во всех спорах ссылалась на его авторитет.

Тетка моя отличалась известной оригинальностью. Русская речь ее была прекрасной, старомосковской. Но она почему-то считала, что лучше говорит по-английски.

А когда сердилась, у нее всегда появлялся английский акцент. Хотя она в молодости встречала известнейших русских писателей, из русской литературы любила только Алексея Константиновича Толстого, а на ночь всегда читала английские романы, где не в пример нашим, а особливо французским, все оканчивается счастливым браком. Чудачества у нее было немало. С гувернанткой-француженкой она упорна говорила по-русски, зато озадачивала викарного архиерея французскими фразами, причем каждый раз поправлялась так:

— Ах, простите, владыко! Ведь я же дура из дур! Опять забыла, что вы не понимаете...

Такое суждение о своем уме она вообще высказывала довольно часто, а слово «дура» произносила как-то мягко, на иностранный лад. Раз произошел небольшой конфуз. Простодушная монашка, пришедшая за «даянием», почтительно заметила ей в ответ:

— Ну что же, ваше сиятельство, не горюйте, господь не всякого наделил умом!

Ходила моя тетка по саду и по своим апартаментам с целой сворой черных стриженых пуделей, престарелых и несчистоплотных, которых кормила на убой и не позволяла никому обижать.

В первых числах ноября тетке доложили, что с ней желает говорить делегация от крестьян. Она поразилась: какие делегаты, в чем дело? Оказалось, что относительно декрета о земле. Опять изумление: что за декрет? Ей объяснили, что есть такой декрет, только что изданный новой властью, который лишает помещиков их владений. Тетка пожала плечами. Но все же велела ввести делегатов в людскую и направилась туда в сопровождении домочадцев и пуделей. Я последовал за ней, несколько обеспокоенный оборотом, который могут принять подобные переговоры.

Делегатов было человек десять. Главным своим обидчиком крестьяне считали приказчика, а потому очевидно, решили принудить тетку к капитуляции мирным путем.

Старший делегат начал с того, что вот, мол, вышел такой декрет, и, значит, надо сообща все обсудить, чтобы все вышло по-хорошему.

Тетка опять пожала плечами.

— И слушать больше не хочу!— перебила она его с

сильным английским акцентом.— Вот так вздор какой! Был бы граф жив, научил бы вас уму-разуму. Да, не постеснялся бы! Декрет? Землю отнять? Не любил покойник такие шутки. Прощайте, друзья мои, и больше мне этим не докучайте. Я добра, добра, а когда надо — и строгость покажу. Так и запомните.

И ушла со всей своей свитой.

Я задержался на минуту из любопытства.

Делегаты переглядывались.

— Бог с ней совсем,— сказал наконец главный.— Блаженная! А земля-то теперь все равно наша!...

Мы скоро уехали обратно в Петроград. Тетку я больше не видал. Слышал, что месяц спустя соседи чуть ли не силой увезли ее из насиженных мест. Умерла она в Крыму, при Врангеле, до самого конца уверяя всех, что ничего, в сущности, не произошло, что все это лишь какая-то путаница, которая непременно распутается, как еще в Думе предсказывал покойный граф.

ГЛАВА 5.

БОЛЬШЕВИКИ У ВЛАСТИ

Большевики у власти, но подавляющее большинство дворянско-буржуазного Петербурга относится к этому факту крайне поверхностно: «Мыслимое ли дело? Приходящее явление! Как-то кончится, и, очевидно, очень скоро...» Но как и почему «очевидно», никто не объясняет.

Большевики у власти, но выходят антибольшевистские газеты. Новые власти закрывают газету, а она тотчас же появляется вновь под чуть измененным названием. Кадетская «Речь» становится «Нашей речью». Выходит даже антисоветский листок «Кузькина мать». Вот ему-то как изменить название в случае надобности?

Большевики у власти, но в нашем кругу очень довольны, что так плохо пришлось Временному правительству.

Со смехом передают разговор, якобы имевший место в Петропавловской крепости между бывшим царским министром юстиции Щеголовитовым и бывшим минист-

ром иностранных дел Временного правительства Терещенко, богатейшим промышленником, широко субсидировавшим при монархии либерально-буржуазные организации и газеты. Во время прогулки заключенных Щегловитов подошел к нему и сказал, сочувственно покачивая головой:

— Вот видите, господин Терещенко, как вы плохо распорядились. Дали целый миллион, чтобы попасть сюда! Право, обратились бы ко мне в свое время, и я мигом устроил бы это без всяких для вас расходов.

Большевики у власти. Но, хоть и с опозданием, в лицее возобновились занятия. Правда, это уже не лицей, а лишь отдаленное его подобие. Занятия проходят только в младших классах. Нам дают возможность наспех пройти гимназический курс: два класса в один учебный год! Управляет нами родительский комитет. Первое время учимся в самом лицее, но вскоре нас переводят в соседний горчаковский дом: в память своего отца, канцлера и пушкинского товарища, владелец оказывает приют последним лицеистам. Воспитанников — полсостава; остальные не вернулись в Петроград. Живем дома, можем ходить в лицей, а можем и не ходить. Никто из начальства за этим по-настоящему уже не следит. Носим то форму, то штатское, как придется. Но треуголку уже не надевает никто.

Мы выбиты из прежних рамок. У одного из моих товарищей появляются бешеные деньги. Ему едва семнадцать лет, а он уже содержит хористку и веселится напропалую в последние месяцы незабываемого 1917 года. Как-то рассказывает, откуда у него такие возможности. Отец его (очевидно, раньше многих сообразивший, что «все пропало») каждую ночь играет на тысячи, а то и десятки тысяч рублей. Приходит на рассвете и перед сном выбрасывает на стол ворох ассигнаций. Сын сторожит его возвращение, прокрадывается в спальню и берет со стола немного, совсем немного сравнительно с тем, что там лежит, но достаточно, чтобы отведать под занавес самой широкой жизни. Год назад мы бы тотчас исключили его из курса. А теперь — что нам до этого?

Меня увлекает особая идея. Находка на дорогобужеском чердаке пробудила во мне страсть к коллекционерству. Мать собирает старинный русский фарфор, а я, как отец, хочу собирать автографы и портреты.

Новая власть вызывает во мне странное, смешанное чувство, состоящее из отталкивания, подсознательного почтения и любопытства. Каждый день слышу вокруг себя, что большевики скоро, скоро падут. «Пока не поздно» решаю собрать побольше автографов советских руководителей. Накупаю открыток с портретами наркомов и отправляюсь в Смольный.

Иду в эту экспедицию не один. Меня сопровождает лицейский товарищ Лорис-Меликов, по крепкому убеждению которого все пошло прахом только потому, что хитроумный армянин, его дед, возведенный в графское достоинство, не удержался у власти после Александра II. Васька Лорис расценивает политические события главным образом по степени их занимательности. Его забавляет такая затея, тем более заманчивая, что ее надо скрывать от родителей, которым она вряд ли пришлась бы по вкусу.

Оба мы в лицейской форме. У входа часовые. Не могу припомнить, спрашивали ли у нас, куда мы идем,— во всяком случае, мы без особого труда проникли в Смольный и затем вдоволь там нагулялись по лестницам и коридорам.

Всюду толпа: ходоки, военные, всякого рода люди, пришедшие сюда по всяким делам. Над дверями прежние надписи и новые, например: комната классной дамы, а рядом — кабинет такого-то наркома или — такой-то партийный секретариат.

Бродим, бродим, все не решаясь приступить к делу. Но вот группа, в которой узнаю Володарского. Быстро вынимаю фотографии, набираюсь смелости и подхожу к нему. Лорис со мной рядом.

Объясняю, что мы собираем автографы известных политических деятелей и нам было бы приятно иметь на этих открытках собственноручную подпись комиссара по делам печати, пропаганды и агитации.

Это мой первый разговор с видным большевиком. Передо мной невысокого роста, худой человек с очень выразительным, страстным лицом. Я знаю, что он вышел из низов, боролся в подполье; очевидно, ненавидит весь тот мир, в котором я вырос. Что же я испытываю в эту минуту? Острую вражду? Совсем нет! (Этот человек крайне внимательно, даже любезно выслушивает

меня). Скорей всего некоторую неловкость и какой-то непосредственный, очень живой к нему интерес.

— Вы правовед?— вдруг спрашивает Володарский.

Спутал форму, но угадал, с кем имеет дело. Я рад, что он дает мне возможность не лгать, но и не говорить правды.

— Нет, не правовед!

Володарский отвечает, что он может дать свою подпись лишь с согласия всех прочих членов Президиума ВЦИК. Это отказ — мягкий по форме, но категорический по существу.

Чувствуем себя глуповато.

Но мы вошли в азарт и решаем продолжать... Не пойти к управляющему делами Совнаркома — Бонч-Бруевичу? Он ведь может добыть подписи всех наркомов!

Вот и дверь в его приемную. Глухо отвечаем на вопрос секретаря, стучим в кабинет и проникаем туда.

Опять меня охватывает любопытство. По манерам, по всему своему облику В. Д. Бонч-Бруевич мог бы сойти за члена Английского клуба. Болезненный мой интерес еще усиливается оттого, что его брат, царский генерал и наштаверх в новой ставке, одним из первых среди генштабистов принял назначение от большевиков. Может быть, такие люди — синтез старого и нового? Управляющий делами Совнаркома выслушивает нас лишь наполовину: прерывает телефонный звонок. Ясно, что он страшно занят и не может располагать временем для такого вздорного дела. Пока он говорит, нам вдруг становится очень совестно, мы переглядываемся, отвешиваем поклон и пулей вылетаем из кабинета.

Все же наши попытки дают некоторый результат. Узнаем адрес А. М. Коллонтай и отправляемся к ней на квартиру. Она, кажется, дочь генерала и была замужем за генералом: опять синтез двух миров. Подымаемся, звоним. Открывает какая-то девушка. Объясняем, в чем дело. Она нас не впускает, но забирает открытки и через несколько минут возвращается с двумя автографами наркома Госпризрения. Успех, но не полный, так как увидеть А. М. Коллонтай довелось мне лишь восемнадцать лет спустя, в Лиге Наций. Но об этом речь впереди.

Разузнаю также адрес А. В. Луначарского. Он жил тогда совсем рядом с нами на Литейном, в Доме армии

и флота. Тут нам решительно повезло. Женщина, открывшая дверь, всплеснула руками от удивления: я узнал нашу бывшую судомойку.

— Занят сейчас, никого не велел принимать. Но за вас, так и быть, похлопочу. А вы уж подождите,— добавила она, обращаясь к Лорису.

А. В. Луначарский с кем-то совещался. Он мельком взглянул на меня, чуть улыбнулся и подписался на обеих открытках. Так и вижу сейчас его смеющиеся глаза и лицо с острой бородкой, когда он протягивал мне руку на прощание.

Зима 1917/18 года останется для меня навсегда памятной.

Постараюсь быть очень точным в своих высказываниях. Пусть не полностью, значение событий той поры, конечно, доходило до меня. Чем дольше, тем все яснее я сознавал, что происходит огромной важности катаклизм. Сущности этого катаклизма я не понимал, но я отдавал себе отчет, что нагрянувшие события не только имеют решающее значение для судьбы моих родителей и моей собственной, но и определяют надолго исторический путь России.

Я был воспитан в национальной гордости. Пусть наш патриотизм был неполноценный и опирался на неверный фундамент, связываясь в нашем сознании с той ролью, которую мы, то есть социальная верхушка, играли в судьбах отечества. Но меня тогда никто бы не убедил, что это не патриотизм. Мне было горько думать, что Россия унижена, попрана внешним врагом. В моем представлении это унижение было прямым следствием революции. И вот я мечтал, да, помню, даже во сне мечтал о возрождении России, новом ее торжестве.

В эту зиму мне впервые открылась несравнимая красота, быть может, величайшей летописи человеческой жизни во всей мировой литературе. И в этой летописи, в «Войне и мире» Толстого, я находил сокрушающее все сомнения доказательство величия моей страны. Помню один из петербургских концертов этой зимы. Под музыку, под пение Собинова звучали во мне с новой силой только что прочитанные страницы, где Кутузову сообщают, что Наполеон покинул Москву. Эта незабываемая сцена, волнение Кутузова, короткие фразы разговора, исполненного самого высокого смысла,

сплетались в моем сознании со всем, что было вокруг; с настроениями значительной части слушателей, полностью обращенными в прошлое, с их тревогами, желанием забыться хотя бы в этот вечер, и дальше, за сводами зала, с грозным городом, ощетинившимся против несметных врагов, грозными судьбами родины, трагизмом брестских переговоров и трагизмом нашей собственной судьбы. Толстой давал мне веру в свою страну, в свой народ, хоть я упорно продолжал мыслить его развитие только в нами положенной колее.

Да, все так. И я не могу себя упрекать в каком-то легкомысленном отношении к происходящему. А между тем зима осталась навсегда в моей памяти еще и потому, что уже никогда впоследствии я так не любил балов, так много и с таким воодушевлением не танцевал.

Почему? Думаю, потому, что до этого я еще не вырос для балов и что балы в эту зиму были действительно особенными, каких не знали наши матери и отцы.

На Бассейной (ныне улица Некрасова) был дом под номером 60, с собственными квартирами, то есть такими, которые покупались, а не сдавались внаем. На самом верху находился большой зал, где по субботам устраивались жильцами балы, которые вскоре приобрели весьма своеобразный характер. Это был как бы клуб, где собиралась молодежь старого режима: лицеисты, пажи, правоведы, юные офицеры гвардейских полков. Танцевали с упоением. Словно в сражении, бурно сходились в котильоне наши ряды и разлетались парами, как только распорядитель выкрикнет по-французски: «Вальс с вашими дамами!»

Днем было учение спустя рукава, были тревожные разговоры старших, иногда были и жуткие минуты.

В январскую стужу я проходил по Литейному, тотчас после того, как антисоветская демонстрация столкнулась с Красной гвардией. Стрельба едва затихла. Я замешкался на тротуаре. Как вдруг окрик:

— Чего тебе надо здесь, буржуйский сын? Живо домой!

Суровый плечистый человек в кожаной куртке стоял против меня с наганом в руке. Вид у него был усталый, измученный и в то же время решительный, так что я предпочел ни одной лишней секунды не мозолить ему глаза.

А вечером бал. Бал, на котором, сходясь у буфета, сами повторяем знаменитое двустишие:

Ешь ананасы, рябчиков жуй,
День твой последний приходит, буржуй.

Бал, на котором лицеисты точно соблюдают дистанцию по отношению к правоведам, которых считают ниже себя, и где воскресают, цветут все условности мира, обреченного на небытие.

Отрывки разговоров:

— Как, Сандро женится на Марульке?

— Ну да, а шафером будет Петро.

Для посвященных нет сомнения, что речь идет о«самом высоком обществе», где каждый с юности известен под уменьшительной кличкой, чаще всего диковинной, которую он будет носить и в преклонных годах.

— Вчера звонила Мимишке. Никого!

— Верно, перебралась на Крещатик! Скоро и я туда же. Хорошего понемножку!

Тревоги, смутные надежды...

— Вы слышали? Атаман Каледин застрелился...

— Да, да! Что-то очень неладно на юге.

Или:

— Видел сегодня, как грузились «товарищи». Идут, мол, защищать революционный Петроград.

— Ну, немцев Красная гвардия не остановит. Руки коротки!

И снова вальс или танго.

Мне не довелось танцевать на последнем из этих балов. Недалеко от подъезда остановил знакомый:

— Не идите, там обыск.

Как я потом узнал, в зале было много офицеров в погонах. В самом деле: на улице шинель без погон, а снимешь —и снова старый режим! Но снизу как-то дали знать, что поднимаются люди в ремнях и кожаных куртках. Танцы мигом прекратились, и дамы бросились к кавалерам, чтобы как можно быстрее спороть, содрать, зубами оторвать погоны некогда самых блестящих полков. Но времени не хватило, и многим парам пришлось укрыться для этой операции в уборные.

С тех пор балы не возобновлялись на Бассейной.

Но были и другие, и, кроме того, был театр.

Вот мы в Мариинском: лицеисты и барышни наших лет. Мундиры с расшитым воротником, белые замшевые перчатки, и лишь под мышкой — фуражка вместо треуголки. Щеголять в этой форме сейчас немного рискованно. Кое-кто из моих товарищей уже наслушался неприятных слов, а один просидел добрый час на каком-то чердаке, скрываясь от очень сердитых матросов. Но ведь формального запрета не появлялось на этот счет, а нам приятно восхищать барышень да старичков капельдинеров!

Стоя оглядываю зал, выискивая старшего лицеиста, чтобы подойти к нему и, вытянувшись, спросить разрешение сесть.

В прошлом году эта традиция казалась мне скучной и неоправданной: ведь не разрешить он не мог, иначе пришлось бы покинуть театр. Теперь я выполняю ритуал особенно четко. Подхожу к старшему медленно, торжественно и становлюсь перед ним во фронт с таким видом, будто дело идет о чем-то чрезвычайно серьезном, значительном. Да так оно и кажется всем людям из «нашего мира», которые с умилением наблюдают в партере эту легкую политическую демонстрацию.

Офицеры без погон, пиджаки вместо фраков... В раззолоченных залах бывших императорских театров только мы да правоведы олицетворяем еще старый режим.

А веселиться ходим в Павильон де Пари, на Садовой. Это театр варьете, гвоздь программы — Мильтон, французский комик, который, ужасно картавя, поет песенки на злободневные темы. Гидра контрреволюции радостно извивается на сцене и в зале. Вот скетч, высмеивающий кухарку, которая добилась равноправия с господами. Появляется Мильтон, нарумяненный, в юбке, в фартуке, с огромным красным бантом, в шиньоне и с кастрюлькой в руке. Поет, подбоченясь:

Да, я кухарка
И тем горжусь!
Держу я марку,
Не дешевлюсь!

Хохот и громовые аплодисменты. На лицах торжество: «Ой берегись, советская власть!»

На Невском, в знаменитом «Солейе» или «Паризиане», идет картина по рассказу Толстого «Отец Сергий» (впрочем, это, кажется, было несколько позднее, летом). Каждый день в темной зале происходят антисоветские демонстрации. Как только на экране появляется Николай I, гремят дружные аплодисменты.

Хоть и темно, тут все же некоторый риск. Но, оказывается, можно и без малейшей опасности громить во весь голос советскую власть.

Мне рассказывают знакомые:

— Вчера, в тысячной толпе, мы кричали: «Долой большевиков!»

Они не шутят, и это не сумасшедшие вроде того офицера, который уверял, что распекает на Невском солдат.

— Ну и как?

— Как видите, ничего!

— Быстро удрали, что ли?

— Вовсе нет! Кричали не раз, а несколько раз, хором.

— Значит, где-то спрятались и вас не видали?

— Все видали! Покричим и взглянем на окружающих.

— Неправда!

— Честное слово!

— Где?

— В Народном доме.

Я в полном недоумении. Долго интригуют меня, наконец выкладывают:

— Все очень просто! Выступал Шаляпин. Его не хотели отпускать. Кричали: «Браво! Бис! Шаляпин, Шаляпин!» Ну а мы свое. Такой был гром, что никто ничего не расслышал. Поразительное ощущение! Скажем прямо, очень было приятно!

Так в Петрограде юноши моих лет настраивали себя на антисоветскую борьбу. Но на Юге и за Волгой другие юноши уже стреляли из пулеметов в большевиков.

. . . .

Ночь. Невский. Где-то стреляют. Немного страшно. И весело!

Весело потому, что жизнь какая-то нереальная, призрачная. «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю». А мир наш ведь катится в бездну. Весело потому, что нам шестнадцать лет.

А старшим хочется уверить себя, что ничего не изменилось...

Пасха 1918 года. Церковь училища правоведения на Фонтанке всегда считалась одной из самых великосветских домовых церквей. И вот на заутрене здесь собрался «весь Петербург». Так что было почти столь же нарядно, как до революции.

Разговляемся дома. Всего несколько гостей. Но стол роскошный, опять-таки почти как в «лучшие времена». Все дамы в вечерних платьях, а отец, дядя Николай Иванович и один бывший товарищ министра — во фраках и в лентах со звездами на груди. Эта запоздалая трагическая парадность и запомнилась мне в сочетании с пасхальным, праздничным настроением. Всем собравшимся хотелось забыть реальность, уйти от нее хоть на несколько часов.

Три дня подряд мой двоюродный брат, правовед, и я делали пасхальные визиты в треуголках.

Никто не сшиб с головы. Обошлось!..

Весь этот период до лета 1918 года, когда буря окончательно ворвалась в нашу жизнь, был как бы периодом иллюзий. Новая власть еще строилась. На первые вспышки белого террора она еще не отвечала красным террором. Мы могли играть комедию перед самими собою и воображать, что, внешне не приспособляясь к событиям, мы отгораживаемся от них.

Что же думали старшие, мой отец, мой дядя Николай Иванович, мой другой дядя, Тимрот?

Еще год тому назад все трое были гофмейстерами высочайшего двора и сенаторами Российской империи, еще год тому назад все трое корили царя и царицу за безрассудство, за политику, губящую весь строй... Но, хоть и очень различные по темпераменту и уму, они все трое забыли после Октября о своих тогдашних суждениях, забыли раз и навсегда.

Все трое — люди с широким образованием, все трое занимали должности, связанные с управлением стра-

ной, все трое тщательно следили за международной политикой, все трое читали Кантову «Критику чистого разума», все трое любили судить о Бисмарке, Витте или Клемансо, но ни один из них не читал ни одной работы Ленина и ни разу не задумался над программой коммунистов.

Для всех троих революция — это бунт черни, не более, шаг назад в истории России, смутное время, за которым придут спасительные Минин и Пожарский. Для всех троих старый режим оправдал себя; только он мог бы обеспечить России великодержавное процветание, но вот разные интеллигенты, сущие политические хлестаковы, люди без прошлого, без традиций, разбудили чернь, вызвали духа и не сумели его заклясть. Большевизм для всех троих — абсолютное зло, а потому рассуждать о нем, изучать его кажется им ниже собственного достоинства. Помыслы всех троих обращены к прошлому, они зачитываются мемуарами, толкуют о реформах Александра II, о первой или второй Думе и весь яд своей словесной полемики направляют против тех, кто в былые годы ставил правительству палки в колеса — рабочим вопросом или требованием ответственного министерства. А так как нападешь особенно рьяно на близких, то жертвой всех троих в первую очередь становится уехавший из столицы, но вечно присутствующий в их разговорах дядя Михаил Иванович.

Но для того большевизм тоже абсолютное зло. И хоть он и читал Ленина (в этом, пожалуй, главное его отличие от брата и обоих шуринов), тоже предпочитает не думать о действительности, расточая свои профессорские громы против заядлых консерваторов, которые из года в год мешали таким людям, как он, «довести народ до полной политической зрелости», то есть до буржуазного парламентаризма,— и, окопавшись в Киеве, с горя объявляет себя... украинским сепаратистом.

ГЛАВА 6

В ГРОЗНЫЕ ДНИ

Конец весны и начало лета 1918 года... К этому времени у нас перевелись деньги: доходов давно уже не было, а от банковских текущих счетов остались в нашем

распоряжении одни чековые книжки. Начались распродажи художественных собраний, и тотчас, как грибы после дождя, чуть ли не на всех главных улицах Петрограда появились частные комиссионные магазины, всевозможные «пококо» (посреднические комиссионные конторы), как их тогда называли. Вместе с группой друзей мои родители тоже открыли такой магазин: «Караван»— на Караванной, ныне улице Толмачева.

В «Караване» я просиживал часы, любуясь и наблюдая.

Вот приносят ящик с фарфором из богатейшего собрания баронессы Мейендорф. Фигурки Императорского завода, гарднеровские, поповские: стройные водоноши в лазоревых сарафанах, сбитенщики, крепостные «Психеи», пузатые кучера; чашки, тарелки с затейливыми узорами, амурами, усатыми генералами или видами царских дворцов. Исчезнувший быт! Мне приятно смотреть на эти вещицы, приятно держать их в руках. Нет больше настоящего, которое «не мое», которого я не знаю... есть только романтика прошлого.

С ранней юности меня привлекали изобразительные искусства. Я видел знаменитейшие галереи Европы, увлекался творениями великих мастеров и помышлял иногда о карьере искусствоведа. Теперь, когда рухнули вехи, намечавшие мне жизненный путь, эти помыслы принимают более серьезный характер. Но, главное, они уводят от вопроса: что происходит вокруг?

В «Караван» заходят известные знатоки, коллекционеры, всю жизнь прожившие среди красивых вещей. Как интересно их слушать! Склонившись над старинной картиной, пытаются определить авторство, долго разглядывая в лупу каждую деталь. Опять улетучивается из сознания прочитанное в газете: белогвардейцы продвинулись, белогвардейцы отбиты, немцы там, там-то идут бои, в городе холера, снова арестовано столько-то спекулянтов.

Спекулянты — лучшие клиенты «Каравана». Приходят в магазин вместе со специально нанятым знатоком. Мало смотрят на вещи, смотрят на знатока. Что он выберет, то и берут. Им важно скорее обратить в абсолютные ценности быстро нажитые керенки. И тут же между собой продолжают деловой разговор:

— Вагон риса? Дайте мне платину! А ваш рис — пара пустяков.

— И что значит пара, когда вы сами мне обещали целых триста пар сапог?

Многие сокровища проходят через «Караван». Вот я просматриваю уникальное собрание цветных гравюр XVIII столетия. Но на другой день их уже нет. Зашел иностранец и купил все. Иностранцы соперничают со спекулянтами. Но у них другой тон, другой подход, они менее крикливы и более самоуверенны. Я чувствую в них острую жажду наживы, окрашенную особой страстью: захватить побольше русских сокровищ!

Иностранцы считают нужным выражать нам сочувствие. Ругают новую власть и русский народ. Быть может, полагают, что нам это должно быть приятно, а еще вероятнее — не задумываются над нашими переживаниями, так как среди нас чувствуют себя начальством. В их речах проскальзывает высокомерие, которое меня раздражает. Высокомерие по отношению к России, по отношению к нам самим. И мы терпим это. Более того, в нашем кругу низкопоклонствуют перед всеми этими господами; столь же почтительно, как с самими Романовыми в прошлом году, разговаривают с немцами из консульства на Морской, у которого вид, будто он в покоренной стране, с бывшим приказчиком английского магазина на Невском, с французским буржуа-краснобаем, неизменно объявляющим, что русские должны пенять на себя, раз «изменили союзникам».

Бывают минуты, когда меня подмывает обругать всех их крепким словом. Высказываю такое желание старшему товарищу; его родители в восторге, что их десять тысяч десятин заняты сейчас солдатами кайзера, и сам он подчас импонирует мне полным отсутствием идеологических сомнений. Этот молодой человек обстоятельно объясняет, что мой порыв свидетельствует о политической незрелости. Политика требует острого чувства реальности. Иностранцы — все равно немцы это, англичане или японцы — единственная сила, которая может спасти нас и вновь водворить в «законных правах». Значит, мы должны помогать им, даже если они желают расчленить Россию. Важнее всего свергнуть большевиков, а там видно будет!

Говорит все это как-то бесстрастно, словно повто-

ряет заученный урок, причем лицо его сразу темнеет, становится деревянным. Такой урок он заучил тогда на всю жизнь. Как бы влез раз и навсегда в герметическую жестянку и законсервировался на вечное прислуживание иностранцам.

В деятельность свою он меня мало посвящает, считая слишком молодым и «неустойчивым». Но мне случается иногда наблюдать ее, так сказать, одним глазом.

Как-то мы вместе собирались в театр, и он мне назначил свидание в небольшом холле, на втором этаже Европейской гостиницы. Я спутал время и пришел на час раньше. Народу было много. Во всех углах шли вполголоса какие-то совещания. Мой приятель сидел на диване, слушая с крайне почтительным, даже подобострастным выражением хмурого дядю ясно выраженного англосаксонского типа. Я удалился. А когда вернулся, застал его беседующим уже с другим лицом, по виду офицером, которого, как мне показалось, он в свою очередь обдавал начальническим холодом.

«Опять цедит слова»,— подумал я, зная за ним такую привычку, заимствованную у некоторых дурно воспитанных иностранцев.

Когда мы вышли на улицу, он хвастливо поведал, что этот офицер непосредственно подчинен ему, добавив, что холл Европейской гостиницы стал центром конспиративных встреч. В этом не приходилось сомневаться: чуть ли не все там имели вид заговорщиков. И действительно, туда являлись люди, прибывшие с Дона или из Киева, оттуда отправляли офицеров в белую армию, там вперемежку сталкивались немецкие агенты и агенты Антанты, вырабатывались какие-то планы и подготовлялись контрреволюционные дела.

Я высказал недоумение:

— Петроград буквально кишит заговорщиками. Достаточно зайти на пять минут в этот холл, чтобы опознать десяток-другой!.. Вряд ли так может продолжаться...

Старший товарищ ответил самоуверенно:

— Большевики вовсе не так сильны. Знают, что час расплаты настал, напуганы и не смеют действовать против нас.

Усердствуя перед любым иностранным шпионом, такие люди упивались бредовыми надеждами. И по сей день, доживая свой век где-то по ту сторону океана, мой

тогдашний приятель думает, конечно, что советский строй — случайное явление, с которым давно бы расправились, если бы вовремя выставили против «смутьянов» нужное количество пулеметов, и упивается атомным бредом, чтобы чем-то напитать свою личность, еще в 1917 году утратившую живое восприятие действительности.

В слабости большевиков он меня так и не убедил. Я ходил Первого мая на Марсово поле и видел там несметные ряды солдат революции. В их монолитности, в их лицах, в их решительной поступи была грозная сила.

Я смотрел на похороны Володарского, сраженного эсеровской пулей. Этого человека я тоже видел, тоже с ним разговаривал, но как с чужим, с которым не может быть общей дороги. Когда проходила траурная процессия, я вспомнил его черты, его небольшую решительную фигуру. Гремело тысячью голосов: «Вы жертвою пали в борьбе роковой...» И опять ясная решимость вести борьбу до конца поразила меня в лицах людей, шедших за прахом убитого комиссара.

Схватка не на жизнь, а на смерть бурей врывалась в нашу судьбу. Все больше друзей перебиралось на Юг. Но мы еще не думали об отъезде. Семья моя срослась с Петербургом. В это лето я полюбил на всю жизнь этот город, красивейший во всей Европе, может быть, во всем мире!

Акрополь и собор св. Петра — светочи красоты для всего человечества. Но Акрополь — не все Афины и собор — не весь Рим. Сиена, Брюгге дышат единым художественным ритмом, но это небольшие города. Париж — великий город, с великими памятниками, прекрасный в своем ансамбле. Но этот ансамбль не органический. Парижские кварталы соединены воедино новыми широкими магистралями, но по своему архитектурному стилю каждый внутренне обособлен, чужд соседнему, никак не перекликается с ним.

Иным вырос Санкт-Петербург. Под аркой Главного штаба, перед фасадом Зимнего дворца, на стрелке Васильевского острова, у памятника Петру I или перед колоннадами Марсова поля видишь единую величественную картину. Нет нигде такой целостной, совершенной панорамы! Нет нигде этого мерного чередования площадей и дворцов, нарастающих торжественными аккордами строгой и грандиозной симфонии!

Я ездил в Царское, в Павловск осматривать императорские резиденции, превращенные новой властью в музей. Я восхищался решеткой Летнего сада и панорамой Невы. И хотя никто не покушался на эти красоты, я говорил себе, что вместе с «нашим миром» суждено погибнуть всей культуре моей страны. И потому, что я думал так, я был с теми, кто звал на борьбу с новой властью.

Так жили мы. Беспечно. Бессмысленно. Ничего не понимая. Ни значения революции, ни того, что она принесла народу, ни, следовательно, почему народ был с большевиками.

Боялись. Но пока что не очень... Власть еще не взялась за нас по-настоящему. А враги ее были всюду, и от слов они переходили к делам.

Недалеко от Невского открылся в ту пору ресторанчик «Замори червячка». Содержал его гвардейский казачий генерал. Вместе с комиссионными магазинами такие ресторанчики обеспечивали неплохой заработок наиболее предприимчивым людям из старого мира. У казачьего генерала было и очень вкусно и очень дорого. Прислуживали дамы с громкими именами, а клиентами были преимущественно спекулянты, которых прежде эти дамы не пустили бы к себе дальше передней. Поэтому спекулянты валом валили туда. Так уже в красном Петрограде выработались навыки и сноровка, которым суждено было определить многие стороны эмигрантского быта в Константинополе, Париже, Шанхае...

В этом ресторанчике я услышал первые отклики на грозные события: убийство Урицкого, покушение на Ленина.

Странное дело, не самые эти события, не их смысл и не последствия, которыми они были чреваты, служили главной темой разговоров. Впрочем, это, может быть, и не так странно... Не о значении Бородинского боя, а о гибели в этом бою Кутайсова, которого все знали в петербургском обществе, толковали, согласно Толстому, в петербургских гостиных в последние августовские дни 1812 года. Ныне остатки этого общества больше всего уделяли внимания неожиданной неприятности, случившейся с «бедным старым князем Меликовым».

Передавали, что, спасаясь от погони, убийца Уриц-

кого, Канегиссер, бросился с Дворцовой площади на Миллионную (ныне улицу Халтурина). Вбежал в какой-то подъезд, поднялся по лестнице; дверь одной из квартир оказалась открытой; вошел в переднюю, снял с вешалки первое попавшееся пальто и в нем спустился на улицу. Но пальто не помогло — его узнали и схватили.

По слухам, в тот же день в Чека долго допрашивали генерала князя Меликова. В кармане пальто, которое было на убийце, нашли бумажник с его визитными карточками...

За столиками «Замори червячка» сочувствовали грузинскому князю, но и посмеивались над таким злоключением.

— Воображаю, как был удивлен!

— Говорят, он даже не заметил, что у него украли пальто.

— Бесподобно!

Но беспечность длилась недолго. Власть решила очистить город от заговорщиков, от террористов.

Об этих днях я вспоминаю, пожалуй, как о самых страшных для нас в ту пору.

Вот отец раскрывает газету, и я вижу, как лицо его темнеет, перекашивается: прочел о расстреле царских министров Маклакова, Щегловитова, Протопопова. Он не любил их, сам считал накануне Февраля одиозными фигурами, но с каждым из них его связывают воспоминания былых лет. «Неужели рухнуло все окончательно, безнадежно? Нет, не может этого быть»,— читаю в его глазах.

Мой приятель заговорщик, каждый день ходивший в Европейскую гостиницу для конспиративных встреч, не возвращается домой после убийства Урицкого, некоторое время скрывается, а затем бежит на Юг. Передал через общего знакомого, что группа, в которую он входил, разгромлена и что три ночи подряд он прятался на каком-то чердаке. Несколько лет спустя, уже в эмиграции, он хвалился, что за месяц до выстрела Канегиссера этой группе было поручено выяснить, в какие часы Урицкий обычно приезжал в Чека.

Холл Европейской опустел: заговорщики либо схвачены, либо сбежали. Закрыты кафе типа «Замори червячка», где вперемежку со спекулянтами встречались вербовщики офицеров и юнкеров для Добрармии.

Люди из нашего круга передают испуганно, что схвачены многие члены какого-то таинственного центра, «Союза возрождения родины», в котором монархисты объединились с эсерами для подготовки покушений и подрывных операций, что обыск в английском посольстве лишил верного убежища и опорного пункта сторонников Антанты среди антисоветских групп.

В ответ на выстрелы, раздавшиеся в Москве и Петрограде, на нас посыпались удар за ударом, причем они наносились и по террористам, вербовавшимся в нашей среде, и по тем лицам, которые по своему прошлому ярче всего олицетворяли яростно сопротивляющийся старый мир.

Одним из первых арестовали графа Толя, некогда петербургского губернатора. Это был одинокий старик, почти впавший в детство, давнишний приятель моей семьи. К убийству Урицкого он, очевидно, не мог иметь никакого отношения. Но мы тогда как-то еще не понимали, что проносится буря, которая ломает весь старый строй, и что, раз все мы против советской власти, раз наш класс посылает своих сыновей в белые армии и подпольные центры», этот класс рано или поздно должен навлечь на себя массовые репрессии.

Моя мать решила, что надо похлопотать за Толя. Считала, что при энергии можно добиться всего: на фронте ее санитарный отряд никогда не нуждался ни в чем, армейские штабы были к ее услугам, привыкла к почестям и умела обходиться с людьми самого разного положения. «Большевики ведь тоже люди». Недолго думая отправилась вместе с отцом в районный комиссариат, где пока что находился Толь. Там горячо за него заступилась, говоря, что он давно перестал заниматься всякой политикой и толком, вероятно, даже не знает, кто был Урицкий.

— А кто это с вами?— спросил представитель власти.

— Мой муж.

— Покажите, пожалуйста, ваши документы, гражданин.

Отец протянул старорежимный паспорт со всеми былыми званиями.

— Ну что ж, должен и вас арестовать. Такое уж время...

. . . .

Недели две спустя перед нашим подъездом остановилась ночью машина. Частных машин уже не было: мы поняли, что это Чека.

Поднялись несколько человек: двое в шинелях, остальные в штатском. Объявили, что приехали за отцом, и предъявили ордер на его арест.

Я доставил себе удовольствие отвечать саркастически:

— Опоздали! Уже арестован. Можете справиться.

Сообщил, что отец в Петропавловской крепости.

Куда-то позвонили, проверили.

Я смотрел на них иронически. Они ничем не выдавали ни своих чувств, ни дум.

Начался обыск.

Искали оружие.

Нашли придворную шпагу отца, но резонно рассудили, что эта вещь неопасная.

У меня в столе хранились лицейские жетоны с двуглавым орлом. Один из обыскивавших выразил предположение, что это опознавательные значки тайной организации. Но другой пожал плечами:

— Нет, брат! Это тонкая работа. Не стали бы заказывать у ювелира. Да еще с царским орлом, чтобы бросалось в глаза!..

Ушли, отказавшись от предложенного вина.

Аресты множились с каждым днем, но опыта у арестовывающих еще не было.

За отца взялись дважды. Зато кой-кого упустили самым, наивным образом. Так, избежал тюрьмы один из крупнейших дореволюционных деятелей Кривошеин, впоследствии главный помощник Врангеля в Крыму...

Это был человек хладнокровный, умевший быстро принимать решения. Случилось так, что он сам открыл дверь, когда приехали его арестовывать в московскую контору Морозовых, где он был одним из директоров.

— Мы за гражданином Кривошеиным.

— Сейчас позову его. Подождите минутку.

Медленно спустился другим ходом. У внутренней двери стоял часовой. Оделся не торопясь, долго поправлял галстук перед зеркалом и так же медленно вышел на улицу мимо сбитого с толку часового. Несколько дней провел

у знакомых, а затем, сбрив бороду, какими-то сложными путями перебрался на Юг.

Это была для нас жуткая пора. Но как случается в грозные дни — горе и забава, страх и смех, трагичность положения и самые мелкие заботы переплетались в клубок, заостряя сознание в особенно полном восприятии жизни. Я читал «Боги жаждут» Анатоля Франса и в спутанности контрастов находил аналогию между годом гильотины и нашей судьбой.

Отрывочное воспоминание.

Знакомый окликает меня на Невском:

— Идем в Казанский собор, там сейчас будут служить панихиду по великим князьям.

По четырем великим князьям, расстрелянным в Петропавловской крепости.

В глубине собора, у иконостаса, толпятся люди в полумраке. Моложавая, очень красивая женщина в черной вуали стоит впереди. Это вдова Павла Александровича, княгиня Палей.

Краткая панихида. На лицах полагающаяся печаль и мгновениями какая-то странная растерянность. Каждый, вероятно, думает о собственной участи. Расходимся быстро, чтобы не привлекать внимания.

Старичок генерал-адъютант садится у памятника Барклаю вместе со мной и сыном, моим приятелем. Он расчувствовался, взволнован:

— Вот до чего дожил! Всех их знал... Какой конец! И почему все так получилось — не пойму. Какой был двор! Самый пышный в мире. Я ведь чуть ли не все дворы перевидал. Нигде не было этой торжественности, блеска, сказочного богатства! От Византии еще... Вы все это увидите — верю и с этой верой умру. Иначе быть не может. Россия без монархии — бессмыслица, бесформенная масса, чепуха. Снова будет государь, могущественный, сияющий славой: «и поведет нас, как и встарь, одно лишь знамя — Русь и царь».

Это из стихов, циркулирующих среди монархистов.

По двойной ассоциации он вспоминает другие, которые напевались на мотив «Марсельезы» в ту пору, когда дядя царя, великий князь Павел Александрович, отбил жену у своего однополчанина Пистолькорса, ту самую красавицу, что рыдала в соборе, и бросил соб-

ственную жену, расстроив церемониал торжественной встречи французского президента Лубе.

—Ou est le grand duc Paul, madame?[1]—

спросил Лубе, согнувши торс.

—Il est parti avec ma femme![2]—

из свиты гаркнул Пистолькорс.

Старичок смеется, отбивая такт, и глаза его искрятся задорно. Как ребенок, от горя сразу перешел к радости, вспомнив далекие развеселые времена.

Кстати генерала Пистолькорса арестовали одновременно с отцом. Но освободили очень быстро, и он принес нам первые вести о нем. Они были тревожные. Бывшим губернаторам приходилось очень серьезно опасаться за свою судьбу.

Все чаще в газетах печатались списки расстрелянных, и среди них было много наших знакомых, друзей.

И вот еще воспоминание, пожалуй, самое острое.

Опять Невский. Ясный солнечный день: бабье лето. Нас несколько лицеистов в форме, с барышнями. Смеемся. Нам весело. Лица наши выражают беспечность и радость на заре жизни.

Вдруг навстречу нам толпа заключенных с конвоем.

Я сразу увидел отца, и он меня сразу увидел — как раз в тот момент, когда я чему-то смеялся: память об этом мучила меня много лет. Обросший бородой, похудевший, с котомкой за плечами.

Арестованных вели посредине проспекта. Я пошел за ними. Отец несколько раз оборачивался, сердито махал мне рукой, чтобы я отстал. Я его не послушался и проводил до места назначения: до Гороховой, где помещалось Чека.

Так совсем случайно я узнал, что отец переведен туда из Петропавловской крепости. Для хлопот моей матери и для передачи посылок это известие имело большое значение.

---

[1] Где великий князь Павел, сударыня?
[2] Он уехал с моей женой!

ГЛАВА 7

ИСХОД

В хлопотах по освобождению отца моя мать проявила действительно максимум энергии.

Ходила к следователям Чека.

Связалась с польским посланником, старым нашим знакомым Ледницким: тот объявил отца польским гражданином и выступил с официальным ходатайством о его освобождении.

Обратились к курьерам бывшего министерства земледелия, где отец был некогда директором департамента, и те с готовностью написали в Чека, характеризуя его как заботливого начальника, всегда внимательного к нуждам низших служащих.

Объездила всех, кого можно, звонила во все высшие советские органы Петрограда и, кажется, не оставила без внимания ни одного, даже самого малого, шанса на удачу.

Раз была вместе со мной у следователя на Гороховой. Вот что сказал ей тот человек, олицетворявший для нас самый грозный орган советской власти:

— С вашим мужем можно разговаривать просто. Мы его больше уважаем, чем тех придворных и генералов, которые клянутся теперь, что в душе всегда были против царизма. Он прямо заявил нам, что он монархист, служил царю по убеждению. Кроме того, ваш муж отказался признать себя поляком. Мы так и ответили посланнику: вы за него хлопочете как за поляка, а он сам считает себя русским... Следствие еще не закончено. Ничего утешительного сказать вам не могу.

Мы вышли от следователя в большом волнении. Я гордился отцом, но опасался за его участь. Не слишком ли он прямолинеен?

Отец был освобожден в октябре. Как-то вечером позвонили у входа. Когда открылась дверь, я по радостному визгу нашей собаки понял, что это он. Как и жуткой встречи на Невском, никогда не забуду этой минуты.

На семейном совете было решено, что отцу надо уехать как можно скорее. Аресты продолжались. Теперь нам было уже ясно, что по мере расширения гражданской войны власть будет охранять все строже порядок в тылу

своих армий. Большевики, конечно, скоро, скоро падут: в этом по-прежнему все были уверены среди нас. Весь вопрос — как уцелеть до этой поры. Мы можем еще повременить, но отцу рисковать опасно. Лучше всего ему поехать в Варшаву, где у него множество знакомых. Как же это усторить?

Пока отец отдыхал после тюрьмы, моя мать с обычной энергией взялась за дело. Очень скоро старания ее увенчались успехом. К нам пожаловал гражданин Наэль, латыш по национальности, благодаря которому некоторые из наших друзей уже покинули пределы Советской республики. Они-то и сообщили нам, что Наэль — комиссар Союза коммун Северной области — за соответствующую мзду готов выдать документ на выезд за границу, причем по таким делам не принимает в комиссариате, а сам приходит на дом.

Меня допустили в гостиную, когда сделка уже состоялась. Наэль, мужчина средних лет, с небольшим брюшком, в коротеньком пиджачке и крикливом галстуке, сидел за чашкой чаю, поглаживая бородку. Он пошучивал, хихикал, рассказывал сплетни про известных актрис.

Взятые на себя обязательства он выполнил пунктуально. Через день, как обещал, принес нужную бумагу. На бланке наркома значилось, что гражданин такой-то (отец уезжал под чужой фамилией) командируется на Украину «для организации товарообмена»; внизу стояли печать и подпись наркома, то есть самого Наэля. Стоило это моим родителям дорого, сколько — точно не помню, знаю лишь, что ушли все деньги, только что вырученные от продажи двух прекрасных пейзажей Поленова, украшавших нашу гостиную, и очень ценного чайного сервиза начала прошлого века. Наэль опять рассказал какие-то сплетни, опять похихикал, выразил удовольствие «от такого приятного знакомства», затем шумно раскашлялся, пожелал отцу счастливого пути и ушел, сказав, что всегда рад оказать посильную услугу достойным людям.

Отец тотчас же выехал и, как мы узнали впоследствии, благополучно проследовал через границу. А вскоре до нас дошло известие, что Наэль попался и расстрелян, но не как взяточник, а как мошенник-самозванец. Он вовсе не был наркомом, да и такого комиссариата, бланки и печать которого он себе изготовил, вообще не существовало! Что и говорить, хитрый был человек! Рассудил,

что власть только еще строится, что не все толком знают, какие созданы новые органы, и что на границе бумага с печатью и «наркомовской» подписью произведет соответствующее впечатление.

Поздняя осень, зима 1918 года. Все изменилось в нашем быту. Частные комиссионные магазины закрыты. Доходов никаких. Нет топлива. Голод наступает на Петроград.

Но наша семья живет еще сравнительно не плохо: моя мать не жалея продает обстановку. Большинство же наших знакомых хочет переждать, верит, что «ужас скоро окончится». Мерзнут и голодают среди былой роскоши. «Буржуйками» мы отапливаем кое-как добрую половину квартиры; питаемся почти вдоволь. Нам помогает одно обстоятельство: председатель домового комитета бедноты — наш повар; он умеет доставать продукты из-под земли, то есть из-под полы, у мешочников, спекулянтов.

Значительную сумму денег отец увез за границу. Немало драгоценностей и денег моя мать переправила туда же с иностранным курьером. Дома у нас настоящий магазин. Каждый день приезжают спекулянты, скупают все, что осталось: картины, серебро, старинную мебель, библиотеку. Да и не только это. Увозят расшитые золотом мундиры отца, придворное платье моей матери, с кокошником, сшитое в 1913 году для торжеств по поводу трехсотлетия дома Романовых (много выручаем за его драгоценные кружева), звезды отца, всю мишуру старого режима. Но рукописи великих русских писателей не достанутся спекулянтам; как я уже говорил, отец перед самым отъездом отвез свое собрание в Академию наук, где и сдал под расписку на хранение.

Спекуляция — чрезвычайно заразительное явление. У покупателей, которые ходят к нам целый день, карманы набиты деньгами; они вынимают их кипами, и это рождает во мне завистливые мечты. Как бы и мне пуститься в легкие заработки? Долго обдумываю этот вопрос и наконец решаюсь... Покупаю в кредит у нашего повара фунт сахару (уже втридорога) и на улице ровно в полчаса продаю его по кускам в два раза дороже. Милиция преследует спекулянтов, надо быть осторожным. Лучше всего действовать вечером, предлагая товар одиноким

прохожим: редко кто не возьмет два-три куска. Сахара ведь почти нет в бывшей столице.

Такая операция позволяет мне затем блистать перед барышнями своими финансовыми возможностями, даже катать их на извозчике, что чуть ли не высшая роскошь.

Мой приятель Васька Лорис, тот блистает другим. Поступил рабочим на галетную фабрику и оттуда приносит барышням галеты, твердые как камень, совершенно безвкусные, но которые всегда обеспечивают ему завидный успех.

С лицейской формой покончено. Вот как это произошло.

На какой-то ученический вечер прибыл важный работник Наркомпроса Полетаев. Ахнул от удивления, увидев нас в мундирах. Подозвал того, который был ближе и строго выразил ему неудовольствие. Тот ответил примерно так:

— Вы же все у нас отняли! Так на какие деньги прикажете шить себе штатское?

Полетаев пожал плечами. А через день в газетах было напечатано постановление, воспрещающее бывшим воспитанникам привилегированных учебных заведений появляться на ученических вечерах в формах, «напоминающих о временах рабства».

Впрочем, публичным вечерам мы предпочитаем частные вечеринки: с галетами Лориса и «буржуйкой»—строго в своем кругу, в какой-нибудь маленькой комнате ледяной квартиры, где и танцуем до упаду под граммофон, без мысли о революции.

Днем же часто встречаемся в столовой Дома армии и флота. Там всегда полно знакомых; кормят, в лучшем случае, лошадиными легкими. Для некоторых из нас и это уж — редкость. Впрочем, есть ведь не обязательно: садимся и разговариваем, не снимая пальто. Многие, что приходят сюда, минувшим летом собирались в холле Европейской гостиницы. Но железная метла прошлась с тех пор по нашим рядам, и потому каждый —«из-за Чека начеку!»

А как же с учением? За редкими исключениями, мы об этом не думаем; почти у всех в голове другая мысль — отъезд.

У нас к чаю всегда гости. Чай с сахаром, а иногда подается даже печенье. Следовательно, у нас много друзей.

Моя мать решила, что надо уезжать. Все говорят, что большевики — временное явление, но пока оно продолжается, нужно жить в «нормальных условиях», хочется дать детям «нормальное воспитание». Она стремится в Варшаву, подала прошение о выдаче заграничного паспорта и ждет решения, продолжая хлопотать с удивительной настойчивостью.

Из лиц, перебывших у нас в те дни, особенно запомнились мне две дамы: княгиня Васильчикова и миссис Арцимович.

Муж первой был министром царя. Это та самая Васильчикова, которая написала знаменитое письмо императрице. Я гляжу на нее как на памятник прошлого, и мне нравится то, что она говорит. Нравится, что хочет смягчить значение своего поступка: всех заверяет теперь, что ничего не требовала, а лишь почтительно уговаривала, умоляла. Написала под свежим впечатлением каких-то разговоров о «темных силах», ни с кем не посоветовавшись, написала на листках блокнота, как бы излила свою душу, и, даже не перечитав, бросила в почтовый ящик. Несмотря на советы друзей, решительно отказывается упоминать о «крамольном письме» в своих хлопотах за арестованного мужа. И это меня особенно пленяет в ней.

Вторая — жена царского посланника, американка, четверть века уже числящаяся в русском подданстве, но ни слова, да, буквально ни единого слова не говорящая по-русски. Видно, что была очень красива и сохранила навыки кокетства. Теперь кокетничает тем, что не желает уезжать за границу.

— Нет, нет, не еду,— щебечет она.— Ведь мы свидетели небывалой сенсации! Хочу увидеть все до конца! Что бы ни случилось, буду присутствовать при падении большевиков!..

Крепилась до середины 1919 года, когда все же решила, что ждать приходится слишком долго. Достала крестьянскую одежду для себя и для мужа, некогда первого щеголя в министерстве иностранных дел, и перебралась с ним ночью через финскую границу, спрятав в мешке под картошкой свернутые старинные картины. Это и позволило обоим дожить безбедно свой век в эмиграции.

Что же думал я сам об отъезде? Был молод, но не хочу одной молодостью объяснять свои поступки. Думал, что ехать надо, потому что ехали старшие и потому что считал естественным жить и впредь по законам старого мира. Как все, я видел в отъезде лишь кратковременный эпизод. Отказывался понимать, что советский строй установлен крепко, врос в историю. Но так как сила восставшего народа и его приверженность к новому строю казались мне доказанными, я верил, что этот строй изменится особым путем. Я зачитывался книгами о Французской революции, и заманчивость исторических аналогий определяла в конечном счете мое юношеское мышление. Победившую революцию нельзя бить в лоб. В самом деле, все три генеральские попытки смирить красный Петроград (Иванова при царе, Крымова при Корнилове, Краснова при Керенском) разбились о восставший народ. То же ждет в будущем всякое новое наступление старорежимных сил. «Нет, не русская Вандея восторжествует над революцией, а русский бонапартизм»,— думал я тогда. Человек, вышедший из революции и ее выражающий в глазах народа, восстановит «нормальный порядок». Такой человек будет нуждаться в нас, призовет нас подобно тому, как наполеоновская империя призвала на службу старое дворянство. Традиция будет восстановлена. А так как главное для нас — уцелеть до этой поры, я соглашался со старшими, что надо уезжать.

Новый, 1919 год я встречал в очень своеобразный обстановке. Не помню уже почему, один наш добрый знакомый поселился в боковом помещении того самого юсуповского дворца, где некогда выпил свой последний стакан вина Григорий Распутин.

У него в этот вечер собралась молодежь. Кто-то чудом раздобыл несколько бутылок шампанского. После двенадцати мы пришли в юсуповский бальный зал. Во дворце помещалась революционная организация немецких военнопленных. Только что закончился концерт, и весь зал был полон танцующих. Я узнал двух-трех девушек— работниц советских учреждений, куда я обращался по разным делам. Мы постояли несколько минут в углу под красным полотнищем с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и, почувствовав себя чужими, оди-

нокими среди общего веселья, вновь прошли по тем же дворцовым лестницам и коридорам, чтобы закончить встречу Нового года в своей компании.

К этому же периоду относится мое последнее лицейское воспоминание. Из нашего курса в Петрограде оставалось в то время всего одиннадцать человек. Надев в последний раз форму (под штатское пальто), мы поехали сниматься группой. Кажется, на другой день я продал мундир.

В начале года уехала с сыном моя тетка Тимрот, купринская Анна Фриессе. Захватили с собой только драгоценности и никому не разрешили провожать на вокзал: все должно было выглядеть как обыкновенная поездка за город. Где-то до Белоострова им надлежало сойти с поезда и ночью переправиться через границу с проводником, специалистом по таким делам.

Из наиболее близких лицейских товарищей, кажется, только один Сергей Козакевич категорически заявил, что никуда не уедет. Отец его, боевой генерал, принял решение не покидать отечества ни при каких обстоятельствах, и сын проникся тем же убеждением: надо быть до конца со своей страной. Мешковатый, как говорится — увалень, этот серьезный, немного застенчивый юноша был моим большим приятелем, он не высказывал порицания отъезду других, никому не навязывал своих взглядов, но сам был в них, по-видимому, очень тверд.

Примерно такие же взгляды высказывал и другой мой приятель, правовед Николай Осипов, который был старше меня на несколько лет. Его отец служил вместе с моим в Государственной канцелярии, имел придворное звание. Но этот юноша с красивыми смелыми чертами лица, воспитывавшийся в тех же, что и я, условиях, уже на школьной скамье прославился как талантливейший балалаечник. Когда его спрашивали, собирается ли он бежать за границу, отвечал, что его призвание — искусство, а его искусство вышло из русского народного творчества, с которым он не хочет порывать живую связь. Он остался в голодном Петрограде. А ныне один из самых замечательных оркестров Советского Союза носит его имя[1].

---

[1] Ни того, ни другого мне не дано было увидеть вновь. Осипов скончался от тяжелой болезни в сороковых годах. Козакевич погиб в Ленинграде (где он работал бухгалтером) во время блокады.

Раз начав хлопоты о легальном выезде, моя мать решила добиться своего.

Как-то, это было в середине марта, она с утра ушла из дому по делам о выезде и три часа спустя вернулась с заграничным паспортом. Долго убеждала начальство и убедила...

Собрались сразу, чтобы выехать на другой же день.

Финляндский вокзал. На перроне миссис Арцимович все еще щебечет:

— Это непростительно, уезжать накануне финала! Не увидите самого интересного...

Два солдата с красной звездой на фуражке несут наш ручной багаж. Их командир помогает моей матери подняться в вагон. Это муж ее племянницы, бывший офицер, мобилизованный в Красную Армию, который теперь занимает какую-то должность по охране вокзала.

На перроне говорит моей матери по-французски:

— Вот видите, как все удачно, Людмила Ивановна! Уезжаете за границу, как в старые времена, со всеми почестями. Представители власти провожают вас.

Берет под козырек.

Поезд трогается под эти слова.

Белоостров. Долгий осмотр вещей. Долгий личный осмотр. Против шпионов приняты все меры предосторожности. Меня заставляют снять даже носки.

Мостик через речку. По ту сторону — Финляндия.

Идем: моя мать, я, младший брат, еще несколько человек, покидающих родину. Среди них — глубокий старик, давно вышедший в отставку генерал. Он очень взволнован, крупные слезы текут по его морщинам.

Останавливается на мостике и долго смотрит назад.

Я тоже останавливаюсь. Кругом равнина талого снега.

Что я испытываю? Да, я тоже взволнован. Закрывается страница, открывается новая, неведомая. Увижу ли тех, кого оставил в любимом городе? Но не понимаю, что несколько шагов, которые еще отделяют нас от другого берега, определят всю мою жизнь на десятилетия. Нет чувства во мне, что я разлучаюсь со своей страной. Просто отправляюсь в заграничное путешествие. Чтобы вернуться после «финала»...

А пока что в мыслях у меня наш маршрут: Гельсингфорс — Стокгольм — Берлин — Варшава. Как интересно!

Часть вторая



ГЛАВА 1.

Я — ДИПЛОМАТ

Новая, эмигрантская, пора жизни фактически началась для меня несколько позднее выезда за границу.

Использовав старорежимные связи, родители пристроили меня в качестве атташе при учреждении, именовавшемся «Российской дипломатической миссией в Болгарии», где, по их планам, мне надлежало пройти дипломатическую школу перед возвращением на родину и поступлением в высшее учебное заведение.

Кого представляла эта миссия? Ответить не так просто, ибо сотрудники ее сами этого толком не знали. Подчинялась, как и все подобные «представительства», заседавшему в Париже «совету послов».., назначенных до Октябрьской революции. А этот совет объявлял, что представляет за рубежом «законную российскую государственность», точнее, принцип такой государственности. Миссия обосновалась в Софии в дни полного разгрома Деникина. Формально она от Деникина не зависела. Врангель удержался в Крыму. Но посланник Петряев доносил по начальству в Париж, а врангелевскую власть всего лишь «информировал». Был Колчак, был Деникин, Врангеля тоже может не стать: «совет послов» остается сам по себе, охраняя вышеуказанный «принцип» до образования общероссийского «национального правительства». На базе очень внушительных русских государственных средств, имевшихся за границей, этим делом можно было заниматься бесперебойно. Так, Маклакову, послу Временного правительства во Франции, удалось усидеть в посольских апартаментах вплоть до установления дипломатических отношений между Францией и СССР, то есть до 1924 года! Но, хотя все эти «диплома-

тические представительства»— без стержня, без центра, существовавшие сами по себе — и делали довольно упорно вид, будто относятся к белогвардейским правительствам свысока, их реальное политическое бытие всецело зависело от международного веса этих правительств. В 1920 году миссия в Софии не считала Врангеля своим начальством, но претендовать на какие-то дипломатические функции могла лишь потому, что империалисты Антанты поддерживали остатки белой армии в Крыму.

Исполнял я обязанности секретаря консульского отдела. Толпы беженцев прибыли в Болгарию. Тут были старые генералы, ругавшие вовсю деникинских стратегов-выскочек, чиновники всех рангов и ведомств, бежавшие в форменных фуражках и сюртуках, жены их, дети и нянюшки детей, купцы всех гильдий, офицеры, решившие, что довольно повоевали, нотариусы, адвокаты, биржевые маклеры, лавочники, светские дамы, певицы, сановники, жители Петрограда или Москвы, уже в России привыкшие к бегству из города в город, и южане, только что бросившие свои квартиры и тюфяки, представители классов, свергнутых революцией, и разный люд, от этих классов кормившийся. Все они были одинаково напуганы, сливались в единую серую обывательскую массу, исполненную тревоги за завтрашний день, сознания собственного ничтожества и готовности тотчас же распластаться перед власть имущими, то есть перед иностранцами.

«Раз у меня нет денег и былого социального положения — я ничто». Столь полное признание своей несостоятельности лицами, носившими имена, вписанные в историю России, или совсем недавно распоряжавшимися судьбами многих тысяч своих сограждан, больно коробило меня. Дико было слушать бывшего сановника империи, выражающего ребяческую радость по поводу того, что какой-нибудь французский лейтенант из военной миссии не только принял его, но даже, «знаете ли, очень любезно, совсем этак запросто побеседовал». Ясно чувствовалось, что прислужничество стало для такого сановника второй натурой и что без этого дела он просто не знал бы, чем занять себя в жизни. Вместе с тем у некоторых людей из «нашего мира», особенно у молодых, сказывалось страстное желание преуспеть в новых условиях

любым путем, восстановить сразу какой-нибудь хитренькой комбинацией утраченное привилегированное положение. Вот маленький пример.

Многие беженцы прибывали без паспорта, порой всего лишь с удостоверением на клочке бумаги, выданным каким-нибудь временным деникинским органом, некоторые совсем без документов. Миссия выдавала им паспорта, «настоящие русские паспорта» старого типа, очень внушительные на вид, которые за границей по-прежнему признавались законными. Этим делом ведал я. И вот ко мне в канцелярию как-то зашел только что прибывший в Болгарию офицер белой армии Зубов, мой старший товарищ по лицею. Глаза у него были блуждающие, речь нервная, обрывающаяся, на лице «печоринское разочарование»,— все это я уже встречал у многих деникинских офицеров, пристрастившихся к кокаину. Сказал, что у него нет никакого документа,— такие случаи были нередки в спешных эвакуациях. Крепко помня лицейскую традицию взаимной поддержки, я ответил, что это в данном случае не имеет никакого значения:обычных поручительств не требуется; я доложу посланнику, что знаю просителя лично. Так и сделал и выдал ему паспорт на имя «графа Зубова», как было указано в опросном листе.

Я не обратил особого внимания на то, что, получая паспорт, мой товарищ уж очень восторженно меня благодарил. В русском дворянстве были графы Зубовы — потомки екатерининских фаворитов — и просто Зубовы. С этим Зубовым я мало общался в лицее и совсем не знал его семьи. Но мне не приходило в голову, что лицеист окажется самозванцем. Графское достоинство он получил не от русских императоров, а от меня, выдавшего паспорт. Добавлю, что среди русских беженцев в Болгарии самозванство его выяснилось довольно скоро, и у меня произошло неприятное объяснение с посланником. Но было уже поздно. Зубов мог заявлять каждому, что он действительно граф, раз дипломатическое представительство «законной русской власти» признало его таковым.

Читатель вероятно в недоумении. Граф он или не граф, какое это имело значение в 1920 году? Представьте себе, что имело. После выговора от посланника я выразил Зубову свое негодование. Он пожал плечами и ответил с полной откровенностью:

— Будьте рады, что помогли товарищу. Я не желаю бренчать на балалайке в эмигрантском ресторанчике или корпеть над бумагами в какой-нибудь дурацкой конторе. Собираюсь в Нью-Йорк. А как вы знаете, богатая американка «густо идет» на титулованных...

Но до Нью-Йорка Зубов так и не добрался: он давно уже болел туберкулезом, кокаин, от которого не мог отвыкнуть после безумных одесских ночей, окончательно сломил его здоровье и свел в могилу.

А вот другая фигура.

В канцелярию вваливается огромный, грузный человек в черкеске, с орлиным носом и бритой головой, по виду совсем репинский запорожец, но в офицерских погонах и с сигарой в зубах вместо чубука. Это граф Милорадович, потомок по боковой линии знаменитого генерала, а по матери чуть ли не самого Мазепы. Его многие знают в миссии. Он бретер, игрок, крикун, даже драчун, но, впрочем, больше шумит, чем буянит.

— В Данциг, еду в Данциг!— объявляет он после взаимных приветствий.— Вольный город! Там теперь рулетка! Все ценности реализовал в Константинополе. Набит деньгами. Но во всем себе отказываю. Еду в третьем классе, ем раз в день. Все для Данцига! Хочу сорвать банк. И снова буду богат. По-настоящему богат! Все равно ведь того, что на мне, хватило бы на три-четыре года, не больше. Значит, либо пан, либо пропал!

Узнал впоследствии, что данцигская его эпопея длилась ровно три дня: проигрался до нитки и горько запил с горя.

Со всеми этими лицами у нас было немало хлопот. Один рвался в Данциг, другой в Париж, третий в Соединенное королевство сербов, хорватов и словенов, как тогда называлась Югославия. Иностранные консульства не выдавали виз без нашей рекомендации, причем подразумевалось, что на нее могут рассчитывать только лица «особо почтенные». А как быть с остальными? Визы выдавались в очень ограниченном числе, но отказать в рекомендации не было возможности — миссию бы разнесли. Пришлось прибегнуть к хитрости: когда в смысле почтенности лицо казалось сомнительным, точнее, когда нам самим оно никак не было рекомендовано из Крыма или Константинополя, мы писали просто, что «ходатайствуем о визе». А если действительно стремились помочь соот-

чественнику в его скитаниях, то добавляли еще одно слово: «настоятельно». Но и такой шифр не помог. Тайная мощь этого слова скоро была раскрыта... Пришлось вписывать его всем. А затем уточнять по телефону, в каких случаях мы не покривили душой...

Беженская масса, включая сановников и генералов, относилась к нам, сотрудникам дипломатической миссии, с болезненной завистью. Мы занимали великолепное помещение бывшей императорской миссии, общались, почти как равные, с дипломатическим корпусом, нас принимали в высшем болгарском обществе, некоторых из нас революция застала за границей, и мы считали себя не беженцами, а привилегированными лицами, призванными вершить важные дипломатические дела.

У власти стояло тогда земледельческое правительство Стамбулийского, к которому «высшее болгарское общество» питало жгучую ненависть. Это общество состояло из семей, деды и прадеды которых выслуживались при турках и при них завладели главными богатствами страны; оно презирало болгар, у которых не было таких предков и которые не старались походить во всем на иностранцев. В гостиных этого общества, наполненных всякой дребеденью, купленной оптом в Вене или Берлине, царили чопорность и высокомерие, отдававшие самым захолустным провинциализмом. Русских беженцев, даже самых сановных, там принимали не очень охотно (а вдруг попросят денег!), но с нами, «русскими дипломатами», «знатные болгары» общались охотно, ругая собственные порядки, правление Стамбулийского, установившего «земледельческий большевизм». Именно из этого круга вышли впоследствии убийцы крестьянского лидера.

За год моей службы в Софии я узнал, восемнадцатилетним юношей, некоторые отличительные стороны дипломатической деятельности в условиях старого мира. Живо интересовался протокольными распорядками, которые, вместе со светскими обязанностями и продвижением по службе, особенно занимали подавляющее большинство дипломатов решительно всех стран. Приехавший из Рима дипломат рассказывал, например, о таком случае.

Давая большой обед, какая-то римская дама посадила направо от себя заместителя итальянского министра иностранных дел, а налево — испанского посла. Ошибка

действительно сногсшибательная: посол иностранной державы должен всегда занимать первое место.

— Что произошло затем, не поддается описанию,— говорил дипломат.—Хозяйка заметила свою оплошность, когда оба уже заняли предложенные места. Поправить дело не было возможности. Испанский посол сел молча и до конца обеда не проронил ни слова. Мало того: не дотронулся ни до одного блюда, не выпил ни одного глотка, сидя как истукан, мрачный и непреклонный. Какой кошмар! Более жуткого обеда я не припомню. Вначале лицо хозяйки было красно, как бургундское вино, а под конец — белее скатерти. Как только она поднялась из-за стола, посол его католического величества молча откланялся и отбыл голодный, так и не раскрыв рта.

Такие рассказы дразнили мое любопытство. Дипломаты считали себя особой кастой, подчиняющейся собственным законам,— со своими интересами и мировоззрением. И в этом отношении француз, англичанин или русский были, по существу, одинаковыми. Тот же налет светского скептицизма, тот же нарочитый космополитизм, при котором все они были ближе друг к другу, чем к «рядовым» соотечественникам, те же шутки, что секретарь должен ухаживать за советницей, а у посла обязателен роман с консульской женой, то же увлечение внешней стороной службы, презрение, высокомерие по отношению к «непосвященным», то есть людям, не понимающим прелести такой болтовни, где важнейшие вопросы мировой политики всегда дают повод для более или менее удачного «красного словца».

Мир этот во многом напоминал лицейский. В нем царило крепкое убеждение, что этикет, церемониал необходимы, благотворны и сами по себе имеют огромнейшее значение, но что «избранным» разрешаются всяческие забавы, при условии — чтобы не было посторонних.

Посланник Петряев, в прошлом товарищ министра иностранных дел, стоял головой выше большинства своих сослуживцев. Это был не дипломат обычного светского типа, а техник-работяга, владевший шестнадцатью языками, известный специалист по восточным делам. Мне кажется, что он не верил в долговечность своей дипломатической деятельности, но обязанности свои выполнял с большой щепетильностью. По своим знаниям и деловитости он выделялся среди сотрудников миссии, а потому

оба секретаря считали его недостаточно «утонченным» и писали в Париж, что он не умеет устраивать дипломатические приемы. Мне же лично особенно запомнился из его... приемов тот, который он оказал П. Б. Струве, исполнявшему при Врангеле функции министра иностранных дел.

Для нас, то есть для «Российской дипломатической миссии в Болгарии», Струве был прежде всего врангелевский министр, следовательно, такое лицо, которому следует показать, что мы представляем нечто постоянное, незыблемое, а он — всего лишь случайное белое правительство, которому мы никак не подчинены.

Петряев напустил на себя максимум важности. В разговоре со Струве держал себя точь-в точь как старорежимный посланник, отстаивающий старорежимную великодержавность, очевидно больше всего озабоченный тем, как бы не уронить своего достинства. Струве отвечал ему тем же, но важность его была, так сказать, персональная: он, Струве, политический мыслитель и академик, для которого Врангель лишь временная точка опоры.

Струве был в Софии проездом. Он пожелал оставить визитные карточки у болгарских министров и глав иностранных дипломатических представительств. Петряев согласился его сопровождать.

— Вы понимаете, как это важно,— говорил мне секретарь миссии.— Ведь здесь, без посланника, Струве — никто.

Я видел, как они вместе садились в машину. В визитке и цилиндре толстый Петряев имел вид осанистый и напыщенный. Струве был в мягкой шляпе и допотопной, сильно вылинявшей крылатке. Согнутый, с длинной растрепанной бородой, он что-то говорил нахмуренному Петряеву своим глубоким, хрипящим голосом, медленно, с паузами, как бы стараясь внушить, что каждое слово его — чистое золото.

— О самомнение!— тихо сказал мне секретарь.— Я уверен, что и в уборной он думает про себя: «Эта уборная сейчас занята академиком!» Как бы не подрались наши два петуха!

Но и для миссии Врангель был точкой опоры.

Тоже проездом были у нас гусарский ротмистр Иваненко, стройный мужчина с энглизированным лицом, и его красавица жена, дочь Дмитрия Трепова, некогда пе-

тербургского диктатора, по словам Ленина, одного «из наиболее ненавидимых всей Россией слуг царизма», автора знаменитого приказа: «патронов не жалеть».

Глядя на нее, я вспоминал рассказ отца о его поездке по России в 1902 году с министром внутренних дел Плеве. В Москве министра встречал Дмитрий Трепов, в то время московский обер-полицмейстер, в Ялте — Владимир Трепов, как таврический губернатор, а на обратном пути, в Киеве,— Федор Трепов, киевский губернатор. Это все были братья. «Вам не кажется, что монополия управления Россией принадлежит семье Треповых?»— острил по этому поводу Плеве, хоть сам и опирался на эту семью. А ведь был еще четвертый брат, Александр Трепов, впоследствии поднявшийся выше всех прочих: предпоследний царский премьер-министр!

Былая семейная «монополия», о которой говорил Плеве, продолжала давать ростки и при последнем белогвардейском правительстве.

Чета Иваненко вовсе не походила на рядовых беженцев. Дочь Трепова была одета по последней парижской моде, и от обоих веяло роскошью и «близостью к солнцу», причем Иваненко держал себя как-то подчеркнуто величаво. За ним очень ухаживали в миссии. Дело в том, что сестра этого Иваненко была замужем за самим Врангелем.

— Совсем великий князь!— сострил тот же секретарь.— Как бы только он тоже не оказался бывшим великим князем...

Это случилось очень скоро после их проезда.

Но прежде побывал у нас еще один важный посетитель — только что прибывший из Крыма контр-адмирал Бубнов, близкий к Врангелю человек, пользовавшийся репутацией одаренного честолюбца. Ехал с каким-то важным поручением и давал понять, что он очень влиятельное лицо. Впрочем, охотно делился своими соображениями.

Ясно помню эту сцену. Маленького роста, Бубнов стоял, прислонившись к стене, покручивая усики, а мы, «дипломаты», приставали к нему с вопросами: «Как в Крыму? На что может рассчитывать Врангель?»

Бубнов отвечал кратко, безапелляционно:

— Перекопские укрепления неприступны. Армия — как гвардия в 1914 году.

Некоторое время спустя второй секретарь миссии, расшифровывая при мне очередную телеграмму из Крыма, громко ахнул, шея его побагровела, и он дико взглянул на меня.

— Что случилось?— воскликнул я.

— Все кончено. Кривошеин просит приготовиться к приему беженцев. Армия садится на суда.

В газетах ничего еще не сообщалось определенного. Посланник решил до поры до времени не оглашать полученного известия.

В этот вечер я обедал в ресторане за одним столом с двумя старичками, бывшими губернаторами, достаточно полинявшими за год жизни в эмиграции, но по-прежнему очень самоуверенными и агрессивными. Я дал себе слово молчать.

Оба не любили Петряева, да и вообще нас, «дипломатов», главным образом потому, что мы жили лучше их, но так как не могли сказать это открыто, упрекали нас за «левый душок» на том основании, что миссия признавала последней законной властью Временное правительство.

— Так и объясните вашему Петряеву,—объявил один губернатор,— что в будущей России мы обойдемся без всякой Думы. Не надо нам этой говорилки.

— Ох, не надо!— подтвердил другой губернатор.— А вам, молодой человек, следовало бы больше прислушиваться к нашему мнению. Мы только из уважения к вашему батюшке выделяем вас в этой печальной компании.

Их тон меня так разозлил, что я неожиданно для самого себя выпалил:

— А вы знаете, что большевики прорвались в Крым? Армия Врангеля уже плывет в Константинополь.

Я сам был не рад тому, что сделал. Они сначала подумали, что я пошутил, но когда я подробно рассказал о полученной телеграмме, лица их побледнели и что-то жалкое появилось в глазах. Один старичок даже заплакал. Все мы очень ясно поняли, что это конец, самый настоящий, решительный конец, разбивающий в прах все надежды на быстрое возвращение в Россию.

Вскоре после этого я выехал к родителям в Варшаву, а оттуда в Берлин, где поступил в университет.

С этой поры начинается по-настоящему мое эмигрантское существование.

* * *

В этих записках я часто упоминаю о своих взглядах и даже прогнозах, поскольку они кажутся мне характерными не только для меня лично. Проблески понимания действительности бывали и среди нас, но чаще всего они затем улетучивались или заглушались под влиянием среды, той эмигрантской трясины, в которой мне суждено было пребывать долгие годы.

В последний мой приезд в Париж, уже в качестве советского гражданина, один мой приятель, эмигрант, передал мне любопытный в данном случае документ; письмо, которое я писал ему из Софии 17 ноября 1920 года, то есть тотчас же после разгрома Врангеля. Позволяю себе привести из него некоторые выдержки:

«Боже мой, какой ужас с Крымом! И твой и мой брат были там, где теперь — неизвестно[1]. Итак, Вандея раздавлена. И нужно на этом поставить крест... Но едва успели пасть перекопские укрепления, как уже всюду стали говорить о Савинкове... О десанте у Одессы и т. д. Неужели три года корниловских историй ничему не научили...»

Мне было восемнадцать лет, когда я писал это. Увы, в более зрелые годы я стал мыслить менее логично.

В последующих главах я не буду излагать хронологически своей жизни. Дело не в моей личной судьбе. Но отмечу теперь же, что и в Берлине, где я учился на отделении истории искусств философского факультета, и затем в Париже, куда я перебрался в 1924 году, следуя общему течению эмигрантской волны, эта жизнь была в общем отлична от жизни большинства эмигрантов.

Вначале у родителей были некоторые средства, затем я сам стал достаточно зарабатывать. Богатства я не знал, но не знал и эмигрантской нужды. В отличие от многих эмигрантов, вращался не только среди русских, но и французов, наблюдал изнутри французское буржуазное общество.

---

[1] Брат моего приятеля погиб на Перекопе. А мой старший брат (от первого брака моей матери) уцелел, стал затем польским гражданином, затем американским и умер в пятидесятых годах в Америке.

О виденном мною и слышанном я и хочу рассказать перед тем, как обратиться к тому перелому, который произошел много лет спустя в моем мировоззрении и определил дальнейшую нынешнюю жизнь.

ГЛАВА 2

«КАК ХОРОШО БЫТЬ БУРЖУА!..»

Как же разместилась в Париже русская эмиграция? Не географически, а социально? В общем, по-разному: как у кого вышло. Но некую общую тенденцию можно все-таки усмотреть у людей из бывшей социальной верхушки: они в большинстве своем упорно старались «сохраниться», если не как класс, то как круг, в котором все знают друг друга, причем «весь Париж» притягивал их подобно вершине, чаще всего недосягаемой, но у подножия которой все же приятнее пристроиться, чем в мелкобуржуазной трясине.

Что же представляла собой эта «вершина» и это «подножие»?

В годы фашистской оккупации Парижа я, как-то вспоминая недавнее прошлое, ту буржуазную Францию, которая так бесславно капитулировала перед внешним врагом, набросал для себя картину этого Парижа, где прожил столько лет. Воспроизвожу здесь мои тогдашние беглые записки, перед тем как перейти к рассказу о судьбах самой русской эмиграции. Вот какими, в определенном социальном разрезе, рисовались мне Франция и Париж между двумя мировыми войнами.

«Париж, так называемый «весь Париж», это особый мир, подчиняющийся собственным законам, со своим мировоззрением и точно ограниченными интересами, это каста, закрытая для «непосвященных».

«На скачках присутствовал весь Париж...», «В театре был весь Париж...», «Весь Париж собирается в этом ресторане...» Вот стереотипные фразы, излюбленные французскими журналистами.

Маркиз или виконт, даже если он проживает в Париже, входит в «весь Париж» лишь в том случае, если он почему-либо на виду. Титул в буржуазной Франции не имеет смысла, звучит комически, когда не сопровождается внешним блеском. Но богач банкир входит в «весь Париж» при всех обстоятельствах из-за своего

богатства, а следовательно, влияния, благодаря которому он и невидимый вездесущ. Ранг политического деятеля в этой замкнутой сфере точно определяется его весом в буржуазных кругах. Ученый, которого превозносит буржуазная печать, входит в «весь Париж», так как самое понятие славы подразумевает в этих кругах крупные заработки. И входят также не в одинаковых рангах по отношению друг к другу, но одинаково возвышаясь над всеми прочими гражданами: адвокат, которому платят солидные гонорары, кардинал, архиепископ парижский, хозяин скаковой конюшни, танцовщица, даже голая, если о ней пишут как о «жрице искусства», модный врач, модный художник, модный фельетонист. Во «всем Париже» есть люди, завоевавшие известность серьезным трудом, знаниями или талантом, но есть и пролазы, добившиеся такой же известности платной рекламой или извилистыми махинациями.

Значит, все дело в известности и в деньгах? Тот, кто на виду и хорошо зарабатывает, автоматически включается в «весь Париж?» Так, но не совсем. Буржуазная мораль очень щепетильна в этих вопросах. Всякая нажива дозволена, но нужен ярлык «респектабельности».

В «весь Париж» попадет, конечно, содержатель публичных домов, когда деньги, вырученные им за «живой товар», окажутся достаточными для уважения и почестей, но только если официально у него другая профессия. И не попадет, например, парикмахер, даже самый модный, имя которого на устах всех элегантных женщин Парижа. Он парикмахер, а это «нереспектабельно». Зато попадает крупный акционер игорного притона, где проигрываются «известные лица»: он «фигура», его не поманишь пальцем, он сам садится играть, он фактический, закулисный хозяин этого заведения.

Итак, кто же составляет «весь Париж»? Люди, преуспевшие в буржуазном обществе — в самом буржуазном обществе, а не только при нем, не только благодаря ему,— и составляющие в силу занимаемого ими положения как бы увенчание этого общества.

Это не значит, что все они близко знакомы между собой.

Встречаясь на скачках, на театральной премьере или в модном ресторане, представители «всего Парижа»

не всегда раскланиваются друг с другом, но почти все они знают друг друга в лицо, знают, кто в чем преуспел и какую пользу можно извлечь из каждого; они замечают только друг друга, они — «известные лица», они — «элита», а все остальные лишь фон, лишь толпа.

В Париже, на знаменитом Монмартре, большим успехом пользовались до войны маленькие театрики, где выступали «шансонье», то есть куплетисты. Иностранец, даже хорошо говорящий по-французски, но в Париже бывающий лишь проездом, мало что понял бы в их куплетах. А между тем зал был в восторге.

Вот, например, стишки про ступни: такие длинные ступни, что им дивится Европа. «В чем дело?» — недоумевал иностранец, не решаясь спросить у соседа. Но не было парижанина той поры, который не знал бы, что у президента Французской республики Альбера Лебрена очень большая ступня; это физическая особенность главы государства служила неисчерпаемым источником для всевозможных острот в подобных театриках, в кулуарах парламента и в салонах.

Или выйдет высокий дядя во фраке, закрывая глаза аршинным платком, и разрыдается на весь зал. Опять тот же Лебрен, про которого говорили, что он плачет в Совете министров при каждом тревожном известии.

И много еще можно было услышать в таком театрике про чью-то хрипоту или полноту, про преклонные годы популярной актрисы, продолжающей играть молоденьких дев, про знаменитого драматурга, который помадит щеки и носит дамские ботинки, про министра, столь рассеянного, что он голосовал против своего же кабинета, про экстравагантные туалеты какой-то очень важной дамы, про парик какого-то политического деятеля да про любовные похождения кинозвезды или... председателя Сената.

Все это было иногда действительно смешно, порой отмечено блесками остроумия, но чаще всего не возвышалось над средним уровнем послеобеденных шуток среднего обывателя.

Так почему же такой успех? А вот именно потому, что полностью удовлетворяло послеобеденные потребности слушателей. Для французского буржуа самое приятное время — послеобеденное. Он отведал тонко

приготовленных блюд, выпил хорошего вина и благодушествует. Подавайте ему теперь сплетни из «высших сфер», анекдоты о «всем Париже». Вот куплетисты и старались. Смеется французский буржуа, чуть-чуть завидует (ох, насколько выше него все те люди, над которыми потешаются с эстрады!), но в общем очень доволен (что ж, кой с кем из них он сам раз-другой пообедал в том же ресторане, и даже найдутся у них общие знакомые...).

Значит, можно смеяться над властью, над высшими государственными установлениями, над известнейшими людьми? Можно, конечно, скажет буржуа — в этом соль и превосходство французского юмора. И все же смеется он не надо всем...

Помню песенку, исполнявшуюся в одном из таких театриков уже давно, когда я только еще приобщался к «прелестям жизни», озаренной сиянием «всего Парижа». Героем ее был известный тогда правый социалист — депутат Александр Варен, на словах ярый враг капитализма, принявший, однако, от буржуазного правительства, с которым был до того не в ладах, пост генерал-губернатора Индокитая.

В песенке рассказывалось, как этот «якобинец» получает от аннамского императора звание мандарина, как он учится светским манерам, путается в фалдах фрака и т. д. Шутки были остроумными, и весь зал хохотал, потешаясь над выскочкой. Но в конце песенки сам Варен обращался к своим хулителям примерно с такими словами:

Наплевать мне на весь ваш трезвон:
Этот пост мне приносит миллион!

На секунду зал как бы оцепенел, затем снова раздался взрыв хохота, но уже не саркастического, а одобрительного, которым никак не мог бы оскорбиться Александр Варен. Смеялись уже не над ним, смеялись сами же над собой. Заслужил прощения? Что за неуместное слово! Почтение заслужил он самое полное, заискивающее, расшаркивающееся, и в то же время теплую, непосредственную симпатию, порой переплетающуюся с завистливым сожалением: «Ах, почему не я»?

С эстрады монмартрских театриков смеялись над республикой и над церковью, над любовью и над смер-

тью, над чертом и над богом. Но никогда не смеялись над деньгами. Нельзя задевать святое человека. А ведь люди здесь — французские буржуа.

Но в театриках Монмартра потешали публику не только сплетнями да сарказмами. Каждый куплетист обязательно включал в свой репертуар стишки, так сказать, «положительного характера», патриотические, подбадривающие. Должен сказать, что они всегда мне казались значительно менее удачными, чем «критические».

Я люблю Францию искренне и давно, не как вторую родину — второй родины не бывает, но как страну, где я прожил лучшую часть сознательной жизни, а французская культура дорога мне с юношеских лет. Но когда я слушал куплетиста, распевающего, что Франция самая прекрасная страна, потому что это Франция и этим все сказано, мне всегда делалось обидно за Францию. Нет, мне кажется, не все сказано, а тот француз, который включает патриотизм в общий комплекс понятий, потворствующих всего лишь самообольщению и самодовольству, не выражает лучшего, что дала миру его страна...

Чаще всего случались куплетики, восхваляющие Францию потому, что нигде так не сладко в объятиях любимой, нигде нет такого камамбера и красного вина, нигде так не ласкова природа. Французский буржуа радовался всем этим «сладостям», принимая без оговорок ура-патриотическую трескотню и голословное утверждение, что универсальное превосходство Франции — аксиома и, значит, не требует доказательства.

Почему так? А потому, что при этом все вопросы до крайности упрощались, можно было не задумываться над судьбами мира, и будущее рисовалось в самом розовом свете.

На том же Монмартре в самом убогом балагане иногда зарождалась песенка, исполненная подлинной поэзии. Но тогда она вылетала далеко за стены театрика: ее напевала вся Франция. Лучшим «шансонье» порой удавалось запечатлеть важнейшие моменты истории страны. Но в эти годы монмартрские театрики приспособились ко вкусу среднего буржуа, не такие порывы и не народное остроумие чаще всего определяли их репертуар.

Я остановился на монмартрских театриках не случайно. Но мог бы взять примером и некоторые журнальчики, сплошь состоящие из откликов на жизнь, досуг, очередные сенсации «всего Парижа». Распродавались такие журнальчики очень быстро. Их составляли бойкие журналисты, набившие себе руку на этом деле, так называемые «экотье», что значит буквально: «откликальщики». Они передавали те же сплетни, острили так же, как куплетисты, и точно такая же была у них потуга на «благонамеренность».

Из этих куплетов и откликов средний буржуа и черпал главным образом свое представление о «всем Париже». Не о подлинных достоинствах или недостатках очередного романа писателя-академика, а о том, что во «всем Париже» говорят об этом романе. Не о сущности различных «измов»— эта сущность и сейчас мало понятна подавляющему большинству «всего Парижа»,— а об остротах, словечках, анекдотиках, которые циркулировали на подобные темы в салонах «всего Парижа».

Это может показаться странным, но куплетисты и бойкие бульварные журналисты были рупором «всего Парижа». Они несли его сезонные симпатии и антипатии, подобно тому, как модные журналы оповещают о том, какие юбки и шляпки решено считать элегантными в текущем году.

...Буржуазный Париж засасывает. Мягко и последовательно. Буржуазный Париж создает иллюзию радости, прочного благополучия. В этом его власть.

Чары Франции к услугам буржуа: чары природы и исторической славы, чары искусства и острого галльского ума, чары жизненных удобств, тонкой кухни и беззаботного скептицизма, чары подлинные и обманчивые, лукавые.

Прежде всего сам Париж. Французский буржуа слышал с юных лет, тысячи раз читал в солиднейших трудах и бульварных газетах, что Париж — центр мира, на который с восхищением и завистью смотрит все человечество.

«В час аперитива», то есть перед обедом, когда полагается возбуждать аппетит стаканом вермута или портвейна, буржуа восседает триумфатором на террасе кафе.

Он богат, и все так красиво кругом!

Вот там Вандомская колонна, отлитая из русских пушек во славу Аустерлица, с маленьким Наполеоном в тоге римского императора. У ног завоевателя площадь и улицы, где выставлена напоказ вся роскошь французской столицы. Рим и Берлин, Лондон и Нью-Йорк обращают сюда свои взоры: какие сверкающие алмазами ожерелья, какие платья, какие новые духи выпустит в этом году Париж? Сейчас из ателье выйдут после работы манекенши: их стройный стан и веселое щебетанье приведут буржуа в полное умиление, и глаза его подернутся маслом.

А рядом — площадь Согласия. Буржуа твердо знает, что это красивейшая площадь мира, он читал, что в размеренности ее композиции, во всем этом архитектурном ансамбле, залитом светом и воздухом, нашла свое законченнейшее художественное выражение точеная ясность французского ума. Изящество и геометрическая точность, величественность и легкость! Впрочем, если буржуа молод, если в нем еще живо непосредственное восприятие изящного, он восхищается этой площадью не только с чужих слов. Так восхищается он и всем Парижем (без кавычек): стрелой Елисейских полей, уходящей туда, где в лучах вечернего солнца пылает Триумфальная арка, стройными громадами Лувра, великим наследием культуры, которое здесь открывается взору чуть не на каждом шагу.

В сорок лет буржуа менее склонен к восторгам чисто эстетического порядка. Но он любит прокатить на машине элегантную женщину вдоль зеркальных озер Булонского леса, любит проехаться и по шумному Латинскому кварталу, мимо Пантеона, Сорбонны, вспоминая свои студенческие годы, по набережной Сены, где старички букинисты торгуют под открытым небом, мимо Дома инвалидов, который олицетворяет военную славу Франции, по старым аристократическим улицам, где величественные особняки прячутся за высокими воротами, по роскошным и тихим кварталам парка Монсо или Мюэтт, но тщательно избегает рабочих пригородов, переулков, с закопченными домами, огромных хмурых кварталов, а если все же попадает туда, не глядит по сторонам: ему ведь хочется любоваться...

Есть такая французская поговорка: чтобы удержать мужчину, надо ухаживать за его желудком. Же-

на буржуа знает, конечно, какие блюда и вина особенно приятны супругу. Но у нее опаснейшие соперники — рестораторы. А каждый солидный буржуа, тратящий в день на утробу, без сомнения, больше, чем работающий на него пролетарий — за целых полмесяца, считает долгом систематически изучать кулинарное мастерство самых дорогих ресторанов, которые причисляет к национальным достопримечательностям наравне с собором Парижской богоматери или гробницей Наполеона.

Процессу питания обычно предшествует короткое совещание. Перед столом вытягивается метрдотель и «соммелье» — официант в переднике, ведающий напитками. Они слушают, записывают и дают консультации.

Буржуа, например, решил заказать закуски. Сейчас подкатят к нему столик с двумя-тремя десятками холодных овощных блюд, затем другой — с тем же количеством рыбных закусок, третий — с паштетами, колбасами и окороками. Так же как азбуку, буржуа знает точно, что все это следует запивать каким-нибудь легким, очень сухим вином. Но таких вин множество в погребе ресторана. Тут-то и нужен совет «соммелье». Но нет, буржуа передумал: не закуски, а устрицы. Метрдотель докладывает, какой сорт особенно хорош в сегодняшней получке. Буржуа оглядывается на «соммелье». Все трое знают с детства: устрицы — трепещущие плоды моря, в этом их прелесть. Но что море без солнца? Вот и надо подать к устрицам такое белое вино, в котором играло бы солнце, благодатное солнце Франции! Буржуа заказывает разварную рыбу с соусом из креветок — опять особое белое вино, обязательно охлажденное, не то, которое подходило бы, например, к омару под майонезом. Или порцию жиго, то есть сочной розовой ляжки барана, выкормленного на солончаках, ни в коем случае не пережаренной и слегка начиненной чесноком,— значит, лучше всего красное густое бургундское, душистое, как и баранина. А к кровяному бифштексу, чуть-чуть побывавшему на рашпере, необходимо, конечно, бордо комнатной температуры. Буржуа отпил глоток, но на лице его нет полного удовольствия. «Не нравится, мсье?»— и, не дожидаясь ответа, «соммелье» устремляется в погреб за другой бутылкой.

Буржуа кушает долго. За соседним столом чуть-чуть насмешливо косится на него чопорный иностра-

нец. После каждого блюда буржуа пускает в ход зубочистку, макает хлеб в ароматные соуса, вычищает тарелку до блеска, подчас громко чавкает в упоении. Он презирает этого иностранца, которому не постичь и сотой доли того, что знает он, французский буржуа, о еде.

Если же буржуа с дамой, за которой галантно ухаживает, он не преминет осведомиться, перед тем как окончательно составит меню: «Ваш желудок переваривает это блюдо?» Тема ведь интереснейшая, столь же увлекательная, как любовь: так почему же не поговорить откровенно?

Но что выпить напоследок? Опять совещание. Коньяк всегда чудесен. Может быть, для разнообразия заказать арманьяк? «Соммелье» рекомендует белую эльзасскую водку на малине. Решено. Глоток дымящегося черного кофе и другой, меньший,— душистого крепкого напитка. Ну, теперь совсем хорошо!

Ночью же, после театра, можно покутить в одной из бесчисленных «буат де ньюи», буквально — «ночных коробок», где сидишь в полумраке на мягком диване перед ледяной бутылкой очень сухого шампанского (брют), слушая до утра артистов кабаре. А между выступлениями — танцы в толчее, от которой нещадно мнутся вечерние туалеты. Впрочем, сам буржуа и здесь чаще всего в пиджаке: ведь так скучно напяливать крахмальную рубашку, надевать фрак или смокинг, как того требует идущий из Лондона хлопотливый обычай,— пусть уж наряжается за двоих избранница сердца!

Красоты знаменитого города, тысячи раз воспетые и потому льстящие самолюбию, ореол блестящей столицы, где цветут науки и искусства, Пастеровский институт и гастрономия, триумфальные арки во славу былых побед и плотная сытость, дурманящая сознание, шум вокруг книжной новинки или театральной премьеры, память о вольтеровском остроумии и его современное преломление в шуточках на злобу дня, возможность, не стесняя себя, предаваться излюбленным удовольствиям — все это составляет для буржуа единый комплекс, который он и выражает двумя словами: «Ах, Париж!»

...А кроме Парижа — вся Франция.

На своей машине буржуа в три часа доедет до До-

вилля: там, у морских волн, в отелях собирается в августе «весь Париж», а в казино бросают целые состояния на карту первейшие денежные тузы Старого и Нового света. Порой богатый буржуа выезжает из Парижа на один вечер только для того, чтобы отведать в старинном Руане знаменитой тамошней утки с апельсинами. Он знает все уголки Франции и разъезжает по ней, как по своей вотчине. Вот исторический замок, купленный парижским банкиром. Он знает, сколько банкир истратил на ремонт раззолоченных покоев, какую содержит актрису и какие фирмы находятся в его подчинении. Подъезжая к Лиону, он размышляет умильно о богатстве и важности лионских магнатов шелка, обитающих в мрачных массивных домах, обнесенных, как крепости, высокими оградами, однако не забывает, что в этом городе есть крохотный, хоть и страшно дорогой ресторанчик, где подается самая лучшая во Франции разварная пулярка в «полутрауре» (это значит начиненная трюфелями), а к ней — божественное вино шатонеф-дю-пап. И так же точно он знает, что Шартрский собор — чудо архитектуры и гордость его народа, что каждый город Франции — роскошный музей знаменитых памятников культуры. Он едет от достопримечательности к достопримечательности, едет и любуется: «Ах, как хорошо мне жить в этой бесподобной стране!»

...Бурлящий Марсель в ярких красках юга. Солнечный Прованс с платанами и маслинами, со своей поэзией, своим искусством, где звучит отклик классической древности, прекрасной юности человечества. Приземистая Бургундия с ее бурой готикой. Розовая Тулуза. Замки Луары — утонченная роскошь французского Возрождения. Тучная Нормандия, где все пахнет яблоками. А Гасконь! А Оверньl А Бретань!...

Где бы он ни останавливался на завтрак или обед, буржуа требует обязательно местный сыр и местное вино, «чтобы вкусить душу края». Долго расспрашивает про местных именитых людей: кто сплоховал, а кто разбогател еще больше, кто женился, кому изменяет жена... Ведь они тоже «душа края». И все это — тот же буржуазный мир, его мир, над которым, как солнце сияет «весь Париж».

А какие кругом озера, горы, леса! Какие курорты — один прославленнее другого,— где бьют целебнейшие

источники и где играют в казино до утра. Скорее в Виши лечить печень от каждодневной нагрузки доброго вина! У буржуа достаточно денег и для удовольствий и для врачей. А какие пляжи! На все вкусы: знойные, как в Жуан-ле-Пен, где весь день греешься на песке, или закаляющие, как в Бретани, со свежим, бодрящим ветром! А Биарриц с его буйными волнами и гостиницами-дворами! И все действительно рядом. Рукой подать! В Байонне — бой быков, а на севере — петушиные бои. Все есть! Как хорошо жить, когда у тебя капитал!

Герцога де Сен-Симона упрекают в том, что он видел во Франции только аристократию, в аристократии — только герцогов и пэров, а среди герцогов и пэров — только самого себя. Довоенный буржуа был готов посмеяться над таким чванством знаменитого мемуариста, но сам видел в мире лишь Францию, во Франции — лишь буржуазию, а в буржуазии — лишь «весь Париж», то есть свое собственное увенчание.

Я поселился в Париже и прожил там многие годы как раз в тот период, когда самодовольство буржуа достигло, пожалуй, своего апогея. Чем больше туч собиралось над Францией, чем уязвимее становилось ее положение в мире, тем пышнее росло это самодовольство. Между двумя мировыми войнами французский буржуа предавался забвению в удовольствиях и самообольщении.

ГЛАВА 3

ОБЛОМКИ

Судьбы ста пятидесяти — двухсот тысяч русских людей, после революции обосновавшихся во Франции, крайне разнообразны, часто поучительны. Это калейдоскоп, где сменяются волнующие, необыденные картины, нелепости, курьезы, отдельные удачи, иногда упорная воля, сокрушающая все препятствия, иногда полнейшее моральное банкротство.

Вот, например, трагедия во всей ее обнаженности.

Старик генерал пускает себе пулю в лоб потому, что жена его, еще совсем недавно (это было на заре эмиграции) почтенная мать семейства, познав эмигрантскую

нужду, стала систематически воровать в автобусах и больших магазинах.

А вот грустная история, которой я и ограничу примеры подобного рода, и так уже достаточно часто упоминавшиеся в свое время.

Семья графов Н. (умышленно не называю фамилии). Я познакомился с ними еще в Болгарии,— они вывезли из России драгоценности и жили беззаботно, рассчитывая на скорое возвращение домой. Он — в прошлом гусар и богатый помещик. Высокий, осанистый, с небольшой бородкой, как у последнего царя, очень представительный и недалекий. Любимая тема разговоров — традиции русской монархии, высшего русского дворянства, честь, «былая слава России», «позор революции» и т. д. Она умнее его и, пожалуй, еще представительнее. Внучка министра Александра II, правнучка министра Николая I. Дети — красивые, шустрые мальчики, из которых при других обстоятельствах вышли бы, вероятно, бравые гвардейские офицеры.

Я встретил их лет десять спустя в Париже. Нужды они по-прежнему не знали.

Сам граф зарабатывал внешностью: служил швейцаром в русском ночном кабачке, оформленном под боярский терем. Должен сказать, что в своем раззолоченном кафтане и красных сафьяновых сапожках он выглядел очень эффектно, импонируя кутящим буржуа и американцам, совавшим ему крупные чаевые в благодарность за низкий поклон и почтительную расторопность.

Все три сына служили лакеями в русском ресторане, открытом петербургским поваром Корниловым. Этот ресторан (ныне уже не существующий) стал одним из лучших во французской столице, парижской достопримечательностью. Корнилов очень гордился тем, что сам Альфонс XIII, тогда испанский король, каждый раз, как приезжал в Париж, заходил «к нему», чтобы отведать курника, драгомировского форшмака или русских блинов с икрой. В ресторане бывала богатая публика, и молодые графы усердием и ловкостью тоже собирали хорошие чаевые.

Сама же графиня устроилась особенно доходно — как заведующая уборной «Шехерезады», русского ночного кабачка, настолько модного в довоенном Париже,

что хозяин, бывший полковник Преображенского полка, хвалился, без улыбки, своим заведением, как одним из самых замечательных «культурных достижений» эмиграции. Так вот графиня и просиживала каждую ночь до утра в подвальчике, где помещалась уборная, обслуживая пудрой и одеколоном раскрасневшихся от шампанского дам и их кавалеров.

Как-то она задержала меня в этом подвальчике, чтобы рассказать о следующем случае.

Накануне к ней спустился господин, лицо которого ей показалось знакомым, но она не обратила на это внимания. Подала мыло и полотенце, и он, как и все, оставил на блюдце чаевые. Взглянула и ахнула: тысяча франков! В то время это был недурной месячный заработок среднего служащего. Тут-то и вспомнила, кто этот гость: голландский дипломат, часто бывавший у нее некогда в Петербурге...

Однако не каждому эмигранту даже более квалифицированная работа на «чаевые» приходилась вполне по вкусу. В Вене, где я был проездом в 1920 году, случилось мне встретить петербургского знакомого, бывшего офицера одного из самых дорогих гвардейских полков, человека приятного обхождения, хорошо образованного и жизнерадостного. У него за границей оказались довольно крупные средства, и он вначале жил на широкую ногу, даже в Вене выделяясь своей элегантностью и совсем напоминая молодого старорежимного барина, разъезжающего для удовольствия по европейским столицам. Затем я потерял его из виду и в Париже встретил, уже в тридцатых годах, вот при каких обстоятельствах.

Как-то, входя в русский ресторанчик, я услышал шум, крики и увидел, как выталкивали из зала пьянчугу, который всячески упирался и заявлял, икая, что он заплатит в следующий раз, а сейчас хочет выпить «хоть рюмочку».

— Помогите же вы, ведь мы с вами знакомы!— закричал он с мольбой, увидев меня.

Вот во что превратился былой венский денди: в потертом пиджачке, типичный «захудалый беженец», при этом жалкий в своем пьянстве, с трясущимися руками и подбородком.

Быстро истратив все свои деньги, он стал шофером

такси. Но память о былом тяготила его. Он не мог привыкнуть к этому ремеслу, запил и опустился до крайности. Теперь уже почти не работал, обходил русские рестораны, скандалил, молил, подчас даже целовал руку официантам, лишь бы добиться дарового глотка.

Мой лицейский товарищ Лорис-Меликов тоже стал в Париже шофером такси. Этот человек, по натуре беспечный, несколько безалаберный, не «потерял лица» и не опустился, потому что не мучился своей профессией. Это тип эмигранта, образ жизни которого не соответствует ни одному из классов, существующих во Франции.

Мелкий французский буржуа, хоть и зарабатывающий раз в пять больше Лориса, никогда не пойдет, например, в ресторан Корнилова. Сама цена обеда покажется ему чудовищной,— с какой стати тратить такие деньги? А Лорис пойдет. Потому что и после десяти, двадцати и даже сорока лет эмиграции у него нет точного бюджета, нет сбережений, а есть с детства привычка считать себя представителем привилегированного сословия, которому подобает жить «с блеском».

Я не был шофером такси. В Париже, как и мой дед в Москве почти столетие тому назад, я занимался журналистикой, что открывало мне доступ во многие французские круги. Это мне казалось естественным — в мое сознание ведь тоже внедрилась привычка рассматривать эмигрантское существование как чисто временное явление,— и я бывал в этих кругах по характеру работы, по личным связям, а иногда и по родственным отношениям. Моя двоюродная сестра вышла замуж во Франции за очень состоятельного человека (она и сейчас постоянно вращается во «всем Париже»), а мой младший брат женился на дочери бомбейского «хлопкового короля».

...Об эмигрантских браках можно было бы написать целую книгу курьезов.

Самый сенсационный случился не в Париже, но герой его был из русских парижан. Двадцатипятилетний эмигрант Зубков, промышлявший в качестве «светского танцора» (танцевал в ресторанах за плату с дамами, не имеющими кавалеров), женился в каком-то немецком городке на шестидесятилетней девице — принцессе,

родной сестре последнего германского императора Вильгельма II, который и проклял ее за этот поступок. Зубков скоро бросил жену. Она же продолжала его любить и на смертном одре произносила его имя, добавляя со слезами: Der arme Kerl!» («Бедный малый»).

Впрочем, другой русский парижанин — де Витт, бывший кавалерийский офицер, — перещеголял Зубкова, женившись без всякого скандала на своей сверстнице, принцессе Бонапарт. Я немного знал его: после такого брака он ни в чем не изменился, то есть не заважничал, и помогал многим соотечественникам.

Три грузина, братья Мдивани, прославились своими браками с голливудскими кинозвездами или просто богатейшими американками: бульварная печать обоих полушарий называла их величайшими сердцеедами XX столетия. Однако, перед тем как вступить на такое поприще, братья заручились надежным козырем.

Отец их, почтенный русский генерал, был грузинским дворянином без титула, сыновья же решили быть князьями. А когда один из них стал женихом богатой американки, то и оформили это дело. Помогла солидная материальная база.

В Париже функционировала грузинская «дипломатическая миссия», назначенная грузинским меньшевистским правительством, кажется, еще в 1919 году. В подачках это учреждение постоянно нуждалось. Вот Мдивани и помогли, а меньшевики выдали им свидетельства, что они самые настоящие грузинские князья.

Я был на свадьбе одного из Мдивани и дочери американского «короля универмагов», красавицы Барбары Хэттон. В этот день «весь Париж» собрался в русском православном храме, бывшей посольской церкви, ставшей центром русской эмиграции. Американка не поскупилась. Весь двор вокруг церкви был устлан роскошными коврами, купола, алтарь, иконостасы, все убранство были спешно отремонтированы, перекрашены, отлакированы, а число люстр чуть ли не утроено, так что над «всем Парижем» здесь действительно засиял ослепительный свет.

Двоюродный брат Николая II, великий князь Дмитрий Павлович, тот самый, который принимал участие в

убийстве Распутина, тоже женился на богатейшей американке, с которой часто бывал в Париже (он затем переехал в Швейцарию, где и умер уже во время войны от туберкулеза). Брак этот дал возможность американке величать себя княгиней Ильинской; старший из Романовых, Кирилл Владимирович, объявивший себя в эмиграции императором, пожаловал ей этот титул. Он вообще был очень щедр на такие милости, может быть потому, что, кроме раздачи титулов, не мог выполнять никакой императорской функции. Но в брачном деле и самому Кириллу Владимировичу повезло: дочь свою Киру он выдал за сына бывшего германского кронпринца, то есть за «равного ей по крови», а по богатству — любому чикагскому «королю сала», так как в Веймарской республике члены бывших владетельных домов сохранили полностью свое имущество.

А судьба двух Романовых в эмиграции?

...Небольшой особняк с садиком в тихом буржуазном квартале Отей. В просторном зале вереница девочек в трико. Маленькая щуплая женщина показывает балетные па. Тридцатые годы, сороковые. Овальное узкое лицо ее — в тонких морщинах, но число их не прибавляется и в глазах все тот же живой блеск. Каждый день во время урока входит сюда старый, но еще стройный, представительный человек, с мягкими чертами лица: он записывает русские, французские, английские фамилии учениц, ведет учет занятий. Эта женщина, почему-то переименованная Кириллом Владимировичем в... княгиню Красинскую,— некогда знаменитая балерина Матильда Кшесинская. Он — ее муж, внук Александра II и двоюродный брат Николая II, великий князь Андрей Владимирович.

Как и братья его, Кирилл и Борис, Андрей Владимирович унаследовал от матери — немецкой принцессы — крупные средства за границей. М. Ф. Кшесинская всегда была страстным игроком: большую часть этих средств она проиграла в Довилле и Монте-Карло. Тогда открыла балетную студию, вскоре получившую в артистическом мире заслуженную известность. Андрей Владимирович умер уже после войны. Вдове его было много, очень много лет, но она еще продолжала преподавать.

Из всех старших Романовых, оказавшихся за границей, Андрей Владимирович проявлял, пожалуй, меньше всего суеты, все свои досуги посвящая изучению отечественной истории. Я работал одно время над исследованием о жизни Александра I и не раз обращался к нему за консультацией. Кабинет его украшали не только портреты родственников — императоров и королей, но и длинные ряды редких книг о России. О старине он говорил со знанием дела, о современности — спокойно, без злобы.

...Тридцатые годы. Русская пасха. К замку в нескольких километрах от Парижа после полуночи подъезжают вереницы машин. Женщины в светлых вечерних туалетах, мужчины во фраках поднимаются на крыльцо. В первом зале — огромный стол с окороками, исполинскими ростбифами, всякой птицей, пасхами и куличами. И такие же столы во втором, третьем, четвертом зале. Сколько нас здесь вокруг этого роскошного угощения? Человек двести-триста, не меньше. Русских сравнительно мало, и это в большинстве не представители былой старорежимной верхушки. Вот биржевой маклер, который был биржевым маклером и в Петербурге, вот одесский банкир с довольно сомнительной репутацией, а вот дама, о которой известно только, что за ней ухаживает какой-то богатый адвокат. Среди французов есть и представители «всего Парижа». Популярная актриса с двумя почитателями; сапожник, но не простой, хозяин одной из самых модных в Париже обувных мастерских; несколько лиц с громкими именами, чаще бывающих в игорных домах, чем в аристократических салонах. А кроме французов, разные иностранцы, преимущественно американцы — из категории любителей парижских ночных увеселений.

Для большинства все здесь своего рода курьез: пасхи и куличи, которые они никогда не пробовали, огромные портреты русских царей, да и сам хозяин.

Он красив и величествен. Похож, но с меньшей суровостью во взоре, на прадеда своего, которого царедворцы объявили «самым красивым мужчиной в Европе». Это великий князь Борис Владимирович, правнук Николая I, внук Александра II; рядом жена его, русская из «простых смертных», тоже красивая и моложе его на много лет.

На таких приемах Борис Владимирович бывал со всеми милостиво приветлив. Много пил, но не пьянел, привык пить вдоволь и каждый день. Вся его жизнь была шумным кутежом, и он продолжал кутить в эмиграции на самую широкую ногу.

Парижская русская аристократия не любила Бориса Владимировича за то, что он не оказывал ей никакого внимания. «Я хожу к тем, у кого чистая скатерть»,— объявлял он не стесняясь. Вот и получилось, что Шереметьевы или Волконские, познавшие в эмиграции нужду, куда менее коротко были с ним знакомы, чем какой-нибудь сомнительный биржевой маклер. Для самого же Бориса Владимировича все были одинаковы, так как он считал себя олимпийцем, который одинаково выше всех! Деньги, унаследованные от матери, приумножил выгодными биржевыми операциями и собирал у себя самую разношерстную веселящуюся публику.

Умер Борис Владимирович во время войны. Его похоронили в голубом мундире лейб-атаманского полка, единственном сохранившемся из его бесчисленных генеральских мундиров. В гробу черты его приняли суровое выражение, и он еще более походил на своего прадеда.

...Годы 1936—1937. Русский вечерний ресторан с танцами и пением. В зале иногда появляется хозяин — худой, высокий, уже немолодой человек. Подходит к столикам и осведомляется, всем ли довольны посетители. Французы таращат глаза: в петлице хозяина ресторана розетка ордена Почетного Легиона самой высокой степени, обладатели которой носят в торжественных случаях красную ленту через плечо. Многие русские поднимаются с места:

— Покорнейше благодарю, ваше императорское высочество, все прекрасно!

Старый ресторатор получил некогда такой орден, как член Российского императорского дома. Это герцог Лейхтенбергский, князь Романовский.

Узнав, кто он, французские буржуа сокрушенно качают головой. Для них он француз! В самом деле, дед его получил титул князя Романовского (с включением потомства в русскую династию), женившись на дочери Николая I; а сам по себе он был сыном пасынка Наполеона I, Евгения Богарнэ, получившего титул герцо-

га Лейхтенбергского от своего тестя — баварского короля.

Под Бородином принц Евгений Богарнэ штурмовал со своим корпусом батарею Раевского. В этом ресторане я наблюдал встречу его правнука с принцем Мюратом, чей предок, лихой неаполитанский король, командовал под Бородином французской конницей. Этот Мюрат жил до революции в России, а мать его, кажется, была грузинкой. Они поцеловались и затем долго сидели за столиком, слушая цыган.

Оба были вновь на родине предков, французских военачальников, пожелавших покорить Россию. Но кто кого покорил? Когда я проходил мимо этих «наполеонидов», я расслышал несколько слов: они говорили между собой по-русски.

...Мне придется еще упоминать о Романовых. Кое-кто из них жил на остатки былого великолепия, кое-кто зарабатывал как мог. Один из младших Романовых скромно работал в Париже банковским служащим. Другой, старше его, устраивал у себя обеды... за определенную плату. Во «всем Париже» находилось достаточно выскочек, чтобы воспользоваться таким поводом для похвальбы: «Вчера я обедал у великого князя». Елена Владимировна, сестра Кирилла и жена греческого принца, не только выдала замуж свою дочь за сына английского короля, но и открыла под Парижем приют для русских детей. Но это исключение: нуждающиеся эмигранты мало видели помощи от преуспевших Романовых.

...Когда Николай II назначил Барка министром финансов, Мятлев съязвил в одном из своих памфлетов, что «можно выехать на барке за неимением корабля». Но сам Барк считал себя кораблем, которого никакая буря окончательно потопить не может. На то у него и воля и предприимчивость. И в самом деле, всплыл после революции, да еще как! Из министра финансов русской империи превратился в финансового эксперта английского королевства и оказал в этом качестве такие услуги, что получил в награду титул сэра, сразу возводящий его носителя на одну из высших ступеней английской социальной иерархии. Я помню его в Петер-

бурге важным министром, очень падким на почести. Довелось мне как-то встретить его в Париже, куда он приезжал как представитель английских банков; сам вид его и множество льстецов, его окружавших, наглядно показывали, что сэр Питер Барк по-прежнему пользовался всеми привилегиями власть имущего.

Очень различна эмигрантская судьба моих лицейских товарищей.

Тот, который в Петербурге таскал деньги у отца, в Париже не стал работать и быстро опустился на дно. Я потерял его из виду, но слышал, что он бродяжничал, ночевал под мостами и судился за воровство.

Николай Набоков. Внук министра Александра II, племянник кадетского лидера Владимира Набокова. В Берлине, а затем в Париже, где я одно время часто видел его, он занимался музыкой. Проявил известное дарование и даже написал два-три балета. Объявлял, что все, что не «чистое искусство»,— презренно и низко. Говорил, что поэтому ему неинтересна никакая политика: он большевиков не ненавидит, так как выше подобных чувств,— большевики просто ему неинтересны. Зато, как будто без прямой связи с эстетикой, его болезненно интересовал «весь Париж», в который ему страстно хотелось попасть. Но не попал. Музыка его не имела особого успеха, и, несмотря на все потуги, он как композитор не получил во Франции широкой известности. Переехал в Америку, но и там не выдвинулся по-настоящему на чисто музыкальном поприще. И вот, уже вернувшись на родину, я узнал, что Набоков стал одним из организаторов крикливой антисоветской пропаганды «Голоса Америки» на русском языке. Забыл, значит, «чистую» эстетику и «вдруг возненавидел большевиков». Видно, не нашел другого способа попасть в «весь Нью-Йорк».

Князь Шаховской. Это добрый малый. Уже лет двадцать пять, как работает поваром в ресторанах. Но спросите его, кто он такой, и он ответит не задумываясь: «Я конногвардеец». Это потому, что без году неделю служил в конной гвардии. Он не тщеславен, не ищет развлечений, не старается уйти от своей профессии — он повар хороший и любит свое дело, не стремится в «весь Париж» (слишком высоко, да там и не знают о конной гвардии!), не говорит себе, что его профессия вре-

менная (ему не надо никаких утешений), но он готовился быть конногвардейцем, начал свою взрослую жизнь как конногвардеец — им и останется вовек! Кроме поварского дела, все его интересы вне современности. Политика его мало занимает, как и музыка и театр. Но он очень любит потолковать о том, что конную гвардию напрасно ставили несколько ниже кавалергардского полка. А так как на эту тему не разговоришься с французскими поварами, он после работы видится только с такими же, как он сам, то есть с шоферами такси, конторскими служащими или приказчиками из русских эмигрантов, которые на вопрос, кто они, ответят: «Я преображенец», «Я конногренадер» и т. д.

На заре эмиграции в парижских «модных домах» работали манекеншами многие русские девушки с громкими, аристократическими именами. Они мало общались с товарками-француженками, считали свою профессию временной и не старались в ней преуспеть (впрочем, для манекенши в Париже преуспеть — значит, как правило, найти богатого покровителя). Такой взгляд предохранил их от многих соблазнов, но они не пожелали за это время научиться другому ремеслу, а когда прошла молодость, многие узнали нужду.

В этой главе я говорю лишь об эмигрантах из дворянской или служилой верхушки старой России либо моего поколения, либо еще старше. В подавляющем большинстве они не вошли в тот класс, который соответствовал бы их новому социальному положению. Ночной сторож — бывший прокурор, или уборщик, который в прошлом командовал дивизией, конечно, оказались выше уровнем своих товарищей по новой профессии. Но беда в том, что все эти сторожа, уборщики, шоферы или конторские служащие не осознали себя трудящимися: попали в класс эксплуатируемых, но продолжали мыслить и чувствовать как эксплуататоры. Немногим эмигрантам этого поколения удалось пробиться на верхи французского буржуазного общества. Прочие же остались на задворках этого общества, часто завидовали ему, но считали его своим новым естественным начальством и полностью разделяли его взгляды на социальные вопросы. С французскими буржуа их роднило косное нежелание прислушаться к голосу народа, французского народа, среди которого жили; они ничего не

захотели понять и в судьбах собственного народа. Были исключения, их я коснусь. Но в общем срослись еще до войны с французским народом, прониклись интересами трудящихся, то есть подлинными своими интересами, лишь некоторые простые люди из так называемых (согласно русской парижской терминологии) «эмигрантских низов».

ГЛАВА 4.

В СВОЕМ СОКУ

Общаясь с французами на работе, нередко роднясь с ними браками, проникая в лице отдельных своих представителей во французские круги — буржуазные, мещанские или пролетарские,— эмиграция жила обособленно, варилась в собственном соку. И варится по сей день, поскольку не вымерла или же не офранцузилась в младшем своем поколении.

И. А. Бунин прожил несколько десятилетий во Франции. Читатель, вероятно, заключит, что этот писатель с мировым именем, нобелевский лауреат, блистал во «всем Париже», окруженный завистливым почтением. Нет, не блистал, да и вряд ли кто из «всего Парижа» был с ним хорошо знаком. Прославился на месяц, когда получил нобелевскую премию, но отточенной отделкой своего письма так и не заинтересовал парижских литературных снобов. А затем снова стал для французов, которым примелькалась на улице или в кафе его характерная, очень прямая фигура, тонкое старческое лицо и холодный, высокомерный взгляд, всего-навсего «мсье Бунин», русским эмигрантом, который, кажется, что-то пишет на своем сладкозвучном, но, увы, на французский совершенно непохожем языке. И мало кто из его соседей, в Париже или на Ривьере, где он жил долгие годы, вступал с ним когда-нибудь в разговор. По очень простой причине: Бунин плохо говорил по-французски. Понимал все, читал в подлиннике своего любимого Мопассана, но свободно изъясняться так и не научился. Невероятно, но факт!

И не он один. Подавляющее большинство русских, приехавших уже в зрелом возрасте во Францию, не зная французского языка, под старость в лучшем случае кое-как говорили по-французски. Одно время чуть

ли не четверть всех парижских шоферов такси состояла из русских. И вот, скажу без преувеличения, девять десятых из них сразу же выдавали свою национальность, как только раскрывали рот, чтобы спросить, куда ехать. Знали превосходно все парижские улицы и переулки, но и «бонжур» не научились произносить без русского акцента. А ведь в большинстве были люди по крайней мере со средним образованием: капитаны, полковники.

Не научился французскому языку и их бывший главнокомандующий — Деникин. Куда там! Этот и во французском театре, наверно, ни разу не побывал. Напыщенный, угрюмый, никогда не улыбавшийся человек, писавший только об одном, говоривший только об одном и, по-видимому, думавший только об одном: об ошибочности всех взглядов, кроме его собственного, на борьбу с советской властью. Где уж тут интересоваться французским театром!

Вспоминаю его на одном парижском процессе, где он выступал свидетелем. Мало того, что ни слова не мог сказать сам, ничего не понимал, когда к нему обращались. Обычно надутый от важности, со своей старорежимной генеральской бородкой он в полной растерянности уставился теперь на переводчика-француза, как и все в зале явно пораженного этой беспомощностью парижского старожила.

Значит, хваленая наша способность к иностранным языкам всего лишь легенда, миф? О нет, совсем не значит. Как-то, в первое десятилетие эмиграции, я встретил во французской деревне простых казаков из былой Донской армии, разгромленной вместе с Деникиным. Они завели хозяйство, каждый день общались с французскими крестьянами и очень быстро научились бойко говорить по-французски. При этом вовсе не денационализировались: чувствовали себя русскими и тосковали по родине, наивно удивляясь нелепости своей судьбы.

Нет, тут дело в другом — в обособленности двух закрытых, по существу застывших, миров: французского буржуазного и русского эмигрантского, в его лоне пристроившегося, но так и не слившегося с ним.

Французский буржуа, каким я его помню в те годы, был в душе очень удивлен, что в других странах

живут по-иному. Как это, например, немцы могут предпочитать пиво вину?! Все, что непривычно, казалось ему диковинным: иностранец был для него загадкой, при этом такой мудреной, что он и не старался ее разгадать. «Ах! Ах! Этот господин — персиянин. Вот необычайная редкость! Как можно быть персиянином!» В таких случаях предвоенный французский буржуа рассуждал точь-в-точь как его предки в «Персидских письмах» Монтескье. Один мой приятель из русских, хорошо воспринявших остроту французского юмора, доказывал французу, что тот ничего не знает о России — ни нынешней, ни прошлой.

— Вы все мерите на свою мерку,— говорил он,— и другой для вас не существует. Так послушайте же чисто французский рассказ из «русской жизни».

«Жило русское семейство: отец — Мужик, жена его — Баба и ребенок — Попов. Выходят они как-то на Невский и видят — царь проезжает в санях. Вдруг из-за угла стая волков: нагоняют сани, сейчас растерзают царя!

Ужасная минута...

Мужик не задумывается: хватает ребенка Попова и бросает его волкам.

Царь спасен. Он велит остановить сани, вытаскивает из заднего кармана четвертинку и подзывает Мужика:

— Жалую тебя водкой из собственного царского кармана. Пей и наслаждайся с женой своей Бабой. Твой поступок прекрасен, твой поступок велик, твой поступок почти достоин француза».

Француз, слушавший эту занятную белиберду, пущенную кем-то из русских парижан, был буржуа, и даже очень солидный, но из тех отменно утонченных буржуа-скептиков, которые знают многие свои недостатки и сами готовы посмеяться над ними (что, впрочем, их отнюдь не склоняет от этих недостатков избавиться). Он чистосердечно расхохотался:

— Почти достоин француза! Великолепно! Как раз в точку попали! Ну что после этого требовать от нас?

Нет, «ребенок Попов» не гипербола, и недаром шутили над каким-то французским «историком», который будто бы написал, что Ивана Грозного прозвали за его жестокость... Васильевичем.

«Маленький Ларусс» — однотомный энциклопеди-

ческий словарь, который имеется в каждом французском буржуазном семействе. По множеству данных, приведенных в таком сжатом тексте, по подбору иллюстраций и четкости изложения — это в каком-то смысле образцовая краткая энциклопедия. Хвала ее составителям, но хвала с оговорками. Перед нами типичный продукт французского буржуазного мышления.

Откроем же не последнее издание (мировое влияние Советского Союза в конце концов заставило авторов словаря кое-что пересмотреть), а скажем — 1949 года. В предисловии объявлено: «Читатель может быть уверен, что найдет о каждом событии, о каждом шедевре, о каждой стране и о каждом знаменитом человеке ясную и достаточную монографию». Так ли это?

Об Иване IV все правильно, зато о Борисе Годунове что ни слово, то сногсшибательная сенсация: «отравил царя Федора» (!), «покончил самоубийством» (!!!).

О Ломоносове: «Русский поэт и литератор». И все.

О Пушкине: «Лирический поэт». Да, лирический и только.

А вот и букет.

О Мусоргском сказано, что его звали просто «Петровичем». «Мусоргский (Петрович) — русский композитор».

И ни слова о Некрасове, Герцене, Белинском. Ни слова о Павлове, Попове, Сеченове, Чебышеве, Мичурине, Тимирязеве.

Очевидно, как сказано в предисловии, и так уже все «ясно и достаточно».

Невежество плюс высокомерие. Уже без всякого отношения к России «Маленький Ларусс» 1949 года полностью выдал свои симпатии, хотя бы в справке о Луи Блане, которого характеризовал как деятеля «взглядов передовых, но благородных». О, это бесподобное «но», в котором вытянулись во всю длину «мидасовские уши» интеллектуальных заправил наиболее консервативных французских буржуазных кругов!

Уютно усевшись в кресло, маститый французский литератор как-то говорил мне, ласково поглаживая свою надушенную бородку:

— Мы очень ценим вашего Толстого, вашего Тургенева. Русские часто поражают нас широтой своего ума. Очень возможно, в вашем народе особенно много

талантов. Но вот поймите меня и не обижайтесь: вы для нас варвары. Не в дурном смысле, а — в подлинном: так в древнем мире все были варварами по отношению к грекам и римлянам. А мы их наследники. Мы последние представители классической культуры; только мы еще выражаем в мире два великих начала: ясность и чувство меры. А у других народов, даже латинских, они затуманились. Поэтому мы всех их в душе и считаем варварами. Вас же особенно, так как в Европе вы всего дальше от нас.

Для «всего Парижа» такие взгляды были как бы фундаментом, крепким, надежным, при котором казалось даже занятным вкусить подчас и «экзотики». Во «всем Париже» всегда можно было встретить иностранцев, особенно же иностранцев с деньгами. Но средний буржуа — средний и по состоянию и по культурному уровню,— когда случалось ему разговаривать с иностранцем, только удивлялся: «Что за диковина?» И вслед за ним также удивлялся лавочник или скромный рантье: «Изъясняются не как мы, живут не как мы. Странные люди! Неинтересно с ними!»

Но у русского эмигранта подобный буржуа, с которым нежданно-негаданно ему приходилось жить рядом, вызывал не меньшее удивление.

Среднее парижское кафе...

Кафе в Париже на каждой улице — чуть ли не через каждые три-четыре дома. Там можно потолковать с приятелем, поиграть в карты, почитать газеты, написать письмо или просто просидеть полдня без всякого дела. Есть кафе огромные и роскошные (на Елисейских полях или около Оперы), куда ходят солидные буржуа и те женщины, которые ищут с ними знакомства. Есть кафе на Монпарнасе, где собираются художники и натурщицы, но еще больше буржуа, желающие поглядеть на богему. В третьих часами режутся в карты молодые, здоровенные парни апашского типа, с кепкой набекрень и сигаретой в углу рта; раза три в вечер к каждому заходит подруга, ярко нарумяненная, с истасканным лицом; она достает деньги из чулка, он считает их, прячет в карман, а она возвращается на тротуар. Есть кафе совсем неказистые, так называемые «бистро», куда заходит рабочий люд погреться зимой, укрыться летом от зноя,— кафе, где

Жюль знает, что встретит Пьера, и куда оба идут после работы или в дневной перерыв (клуба ведь нет на заводе) не для пьяного угара, а чтобы вернуть себе хорошее настроение двумя-тремя стаканами дешевого виноградного вина. Есть наконец, кафе средние, где сытые буржуа, не очень высокого пошиба, но именитые в своем квартале, собираются, чтобы потолковать о политике или о барышах.

Вот в такое кафе иногда заходил один русский эмигрант. История его примерно сводилась к следующему.

Сын среднего чиновника или армейского офицера. Едва окончив гимназию, пошел на войну и на фронте был произведен в офицеры. Затем... затем оказался в белой армии, потому что солдаты срывали с офицеров погоны, а люди, которым он верил, писали и говорили, что долг офицера — идти против большевиков. Ни в кубанских степях в восемнадцатом, ни в девятнадцатом — на подступах к Орлу, ни в двадцатом — на Перекопе, у последней грани, не усомнился, что выполняет долг перед родиной, которая олицетворялась в его сознании трехцветным флагом и тем укладом, в котором он вырос. А после Перекопа — лагерь в Галлиполи, где продолжалась военная жизнь со смотрами, строевой службой и даже расстрелами. После — Болгария, Югославия, где работал, прокладывал дороги в горах, но все еще со своей частью, так как и на чужбине белые генералы не упраздняли своей военной организации.

Затем по контракту выехал во Францию. После первой мировой войны Франция очень нуждалась в рабочей силе и зазывала рабочих изо всех стран. Работал на рудниках, уже без офицерских погон, работал с французскими шахтерами в самых тяжелых условиях. Но по-старому считал себя прежде всего русским офицером и входил в РОВС, то есть Русский общевоинский союз, который, по замыслу его руководства, должен был сохранить офицерские кадры для борьбы с советской властью в «подходящий момент».

Несмотря на контракт, лишился работы в пору экономического кризиса и попал в новую армию — миллионную армию голодающих безработных. Несколько лет жил почти как нищий. Но, скитаясь в поисках работы, всегда являлся в местное отделение РОВСа и там под увитыми трехцветными лентами портретами Врангеля и

Корнилова чувствовал себя снова в привычной среде. Перебрался в Париж, жил и там впроголодь, пока наконец не выпала ему удача: нашел кров и заработок. Кров был, правда, неважный — мансарда, зато заработок приличный. Он нанялся в гостиницу коридорным.

Таких заплеванных, хмурых гостиниц очень много в Париже. На некоторых улицах вывеска «отель» служит на каждом углу приманкой для парочек. Номера там сдаются не на сутки, а на часок-другой — и коридорный должен прибирать их как можно проворнее, чтобы парочки чередовались бесперебойно.

Работа была нетрудная, но, чтобы больше набрать чаевых, он иногда круглые сутки бегал по лестнице, из номера в номер. Поэтому все реже бывал на собраниях «галлиполийцев», или «первопоходников». Когда же начинало мутить от обязательной близости к убогому, горестному разврату, отправлялся в кафе, где собирались степенного вида буржуа.

Ходил туда месяц-другой и наконец выкинул фортель.

Случай этот не анекдот: о нем писали в парижских русских газетах. Я же узнал подробности со слов главного действующего лица. Вот его рассказ.

«В этот день было у меня в кармане около тысячи франков; скопил за полгода на обновку. Выпил за стойкой не стаканчик коньяку, как обычно, а целых три. Глядел на публику и злился. Сколько раз слышал я здесь обрывки разговоров: тот покупает виллу, а этот нацелился на целый участок! И все высчитывают, как бы нажить еще! И еще вспомнил: коммунистов ругают, здорово их боятся. Как бы те не заставили повысить оклады! Вот я и думал: вы коммунистов ненавидите, а я против них сражался, за вас же, значит, боролся. А кто я в ваших глазах? Ничто! «Грязный иностранец», как вы выражаетесь. Моему хозяину прекрасно известно, что я бывший офицер, но для него я только уборщик, лакей. А сам он нигде не учился — даже историю Франции знает хуже меня! Думал я об этом, и накатила на меня мысль, дикая мысль! Всех их удивить, заставить все эти самодовольные рожи взглянуть на меня! Да еще с почтением! Начал было соображать: стоит ли? Но выпил еще стаканчик — и прыг, как в воду.

— Господа!— закричал я.— Сегодня для меня большой день — я выиграл в лотерее полмиллиона!

А потому всех угощаю, хозяин, выставляй шампанское!

Что только произошло! Повскакали с мест. Пошли со мной чокаться. И так вежливо! Руку жали. Давай лакать мое шампанское. Подумайте только — даром! Каждый предлагал совет, каждый просил зайти: всё, мол, объяснят, как с такими капиталами обращаться. И при этом приговаривали: «Бояр рюс, настоящий бояр рюс». А я им в ответ:

— Правильно рассудили, не встретить вам больше такого русского боярина, как я!

Долго бы это еще продолжалось, но вижу, вышли все мои деньги. И хоть бы кто из них в ответ меня угостил! Ударил я кулаком по стойке и закричал еще громче прежнего (совсем уж пьяный был):

— А теперь слушайте меня, сытые хари! Ничего я не выиграл, и за душой у меня — ни сантима. Все истратил на вас, но и налюбовался. Эх вы! Никогда не забуду ваши сладкие мины и комплименты. Что, поражены? Все равно не поймете! Знайте только одно: пропили вы мои брюки, зато доставили удовольствия на целый год!

Стою я этак подбоченясь у стойки, а передо мной два десятка буржуа дружно исполняют немую сцену из «Ревизора». Нагляделся я на них всласть, хлопнул дверью и с тех пор в это кафе — ни ногой».

С середины двадцатых годов Париж стал центром русской эмиграции. Туда принесла она некий сгусток дореволюционной России, который и сохранила в нетронутом виде — «рассудку вопреки, наперекор стихиям». Шли десятилетия, в историю каждой страны вписывались новые страницы, новые тревоги и надежды волновали человечество, а эмиграция продолжала жить интересами и понятиями несуществующей цензовой России.

Члены четырех клубов, где в старой России собирались дворянская верхушка и высшая бюрократия, образовали в Париже общий «Соединенный клуб». В Петербурге или Москве у этих клубов были дворцовые помещения, их личный состав пополнялся из окружения самодержавной верховной власти. В Па-

риже у «Соединенного клуба» не было никакого помещения, члены его собирались (вероятно, собираются и сейчас) в два месяца раз в отдельном кабинете какого-нибудь русского ресторана, от верховной власти остались лишь потускневшие фотографии, но... «боже! как играли страсти» каждый раз, когда кто-то баллотировался в их среду:

— Что вы! Его нельзя! Он еще в девятьсот тринадцатом метил в Яхт-клуб... Раз не приняли тогда, и мы не должны принять.

Или:

— Достойный человек, и убеждения подходящие. Но, помилуйте, он сын фабриканта, был сам в Москве директором частного банка. Это буржуазия, а не наша среда. Так и надо объявить ему: он поймет!

Голосовали записками, а не как прежде — шарами (на них уже не было денег). Но записки упорно называли шарами, причем один такой «черный» шар (отрицательный) равнялся четырем «белым» (положительным). Каюсь (я был тогда очень молод), что не на шутку волновался во время моей баллотировки, а затем долго выведывал у отца архисекретную информацию: сколько я получил «черных» (оказалось, целых четыре,— при семи я уже не прошел бы).

Приняли меня одновременно со сверстником и тогдашним приятелем Столыпиным, ныне деятельным членом всех антисоветских группировок, которому в память его отца (того самого!) клубные старички оказывали особое внимание. Это был долговязый развинченный молодой человек с тихим голосом и мутными блуждающими глазами, писавший дурные стихи и любивший выпить, но в общем казавшийся мне довольно симпатичным и безобидным. Вскоре он женился на дочери некогда весьма известного французского дипломата Луи, бывшего как раз при Столыпине послом в Петербурге, получил солидное приданое, стал появляться во «всем Париже» и одновременно попал в руки предприимчивых политических авантюристов из эмигрантских подонков, которые решили воспользоваться для антисоветской борьбы (и собственной выгоды) его связями и деньгами. Они-то и убедили его, что он «мудрый политический лидер» и «надежда грядущей России», обязанный отомстить революции за гибель отца.

... А вот невзрачный особнячок в Аньере. Сюда приезжают не только русские, но и многие французы, прослышавшие про эту диковину. И действительно, это диковина: богатейший русский военный музей, приютившийся в парижском пригороде. Музей лейб-гвардии казачьего полка, в начале революции переброшенный в Новочеркасск, а оттуда эвакуировавшийся за границу вместе с остатками белой армии. Батальные картины: Бородино, Лейпциг, Фер-Шампенуаз. Штандарты, трубы, увитые георгиевскими лентами. Редчайшие цветные гравюры: казаки на Елисейских полях в 1814 году. Серебряные ковши, старинный фарфор, табакерки с портретами наказных атаманов. Мундиры, папахи, чубуки. Несколько залов, множество витрин, воскрешающих боевые дела Всевеликого войска донского.

Здесь за хозяина — последний командир полка, глуховатый, но еще очень прямо держащийся генерал. Он умеет принимать гостей, дельно проводить экскурсии и вызывать у самого черствого буржуа секундное умиление, рассказывая, как последние лейб-казачьи офицеры зарабатывают тяжелым трудом на той самой французской земле, где их предки лихо врубались в каре наполеоновских гренадер. В голосе его и фигуре — бодрое спокойствие: он приискал для музея богатого покровителя...

Вот еще сцена из жизни младших Романовых в эмиграции.

Тридцатые годы. Важный гость покидает аньерский особняк. Это и есть богатый покровитель: длинный, худой, с тупым вытянутым лицом. Зовут его Вонсяцкий. Все знают, что он злобный маньяк и вдобавок низкопробный авантюрист, но очень богат. Бывший офицер, в начале эмиграции, кажется, был парижским шофером такси. Затем женился на дряхлой старухе американке. Когда приезжает в Париж, никому ее не показывает: очевидно, стыдно. Но на деньги ее издает в Америке русскую фашистскую газету, исключительно посвященную восхвалению его личности: там его называют величайшим человеком XX столетия, гением, мудрецом. Однако казачьему генералу удалось убедить его, что этого мало, что он еще крепче утвердит свой авторитет, если пожертвует небольшой капиталец на содержание музея, а в благодарность портрет его будет вывешен там рядом с порт-

ретами царей. И вот теперь. генерал почтительно провожает богатого жертвователя до машины.

Но как изменилось вдруг лицо старика! Почему, забыв о самом Вонсяцком, засуетился он перед молодым человеком в шоферской куртке, что задремал у руля в ожидании хозяина?

Нет, это не наваждение: узнал князя Федора Александровича, племянника последнего царя!

— Ваше высочество! Почему не пожаловали в музей? Не оказали нам чести?

Удобно усаживаясь в глубине роскошной машины, Вонсяцкий бросает генералу:

— А вы разве не знали? Он мой шофер...

Стареют вместе со своим командиром и лейб-казачьи офицеры, живущие в аньерском музее. Спят среди боевых реликвий, спят в прошлом, крепко, надежно.

Еще особнячок. В самом Париже, совсем близко от Триумфальной арки. Внизу две небольшие комнаты со столиками, покрытыми скатертями: здесь обедают. Наверху тоже две комнаты со столами, крытыми зеленым сукном: тут играют в бридж. А на стенах Ушаков, Нахимов, Макаров, снимки «Варяга», андреевские флаги, репродукции картин: Чесма, Синоп, Наварин. Это не музей, здесь нет, как у казаков, ценных предметов, но все опять-таки уводит в прошлое, только в прошлое. Домик снят группой бывших офицеров царского флота (где кастовый принцип был, как известно, особенно крепок) под «Морское собрание». Существует оно и по сей день. Лозунг: «Да здравствует русский флот!» Но спросите его хозяев о советском флоте, о славных делах советских моряков в годы Великой Отечественной войны, старички вздохнут, пожалуй, отзовутся о них с похвалой, даже с гордостью, но... неизбежно переведут разговор на какой-нибудь морской смотр в «высочайшем присутствии».

Голь на выдумки хитра. О настоящем не хочется думать, а жить надо. Не мытьем, так катаньем, многие русские эмигранты проявили в практическом плане большую изобретательность. Не сплоховали и старички моряки.

Среди русских в Париже, сносно устроившихся в лоне французского буржуазного общества, немало любителей бриджа (некоторые даже завоевали звание чемпи-

онов в крупнейших турнирах). За отсутствием реальных общественных интересов эта сложнейшая карточная игра служит отдушиной для их интеллектуальных запросов. Все это крепко намотали себе на ус «морские волки». Зачем соотечественникам обогащать французские бриджевые клубы? Пусть собираются для любимого дела под андреевским флагом! Им же будет приятно перенестись в прошлое между двумя робберами. А заодно можно открыть для них и буфет...

Благодаря умелому сочетанию былых флотских традиций с постоянными барышами от водки и платы за игру в карты старички моряки сыты и духом и телом.

Клуб без помещений, музей-общежитие, доходный особнячок... Но, быть может, это частные бытовые явления? Или штрихи, не дающие общей картины? Постараюсь полнее рассказать о русском Париже той поры, когда эмиграция была еще в цвету,— тогда станет ясно не только, почему Бунин плохо говорил по-французски, но и как на чужой земле мог сохраниться так долго осколок старорежимной России, сброшенный с весов истории.

ГЛАВА 5

НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

Политика пронизывала эмигрантскую жизнь, определяла все ее содержание.

Русский довоенный Париж...

Десятки — да, десятки!— русских ресторанов, первосортных, средних и совсем дрянных, где грязь и чад. В большинстве они не только хуже французских соответствующей категории, но и дороже. Зато во всех плохая водка эмигрантского производства, а на стенах картинки с царь-колоколом и царь-пушкой. Сидит себе здесь эмигрант и размышляет: «Вот я ем борщ и любуюсь на Кремль. Назло большевикам!»

Десятка полтора русских церквей.

Есть собор, о котором я уже говорил. Там по воскресеньям всегда толпа, причем так уже завелось, что у правого клироса собирается эмигрантская «знать». А еще бóльшая толпа в церковном дворе. Сюда приходят для сплетен, чтобы подзанять денег, составить партию в бридж или сговориться, где провести вечер. Перед со-

бором бойко работают два русских ресторана: там для молящихся всегда водка и горячие пирожки. Кроме всего, храм на улице Дарю славится замечательным хором. В пасхальную ночь во всех соседних домах французы высовываются из окон, чтобы услышать торжественное пение да поглядеть на крестный ход и раззолоченное облачение митрополита.

Есть при богословском институте просторный храм, красиво расписанный в старинном новгородском стиле художником Стеллецким, одним из могикан «Мира искусств». А остальные церкви по преимуществу домовые, многие ютятся в сараях или убогих каморках.

Значит, обилие верующих? Нет, опять-таки прежде всего политика. Что ни день, то молебен или панихида по заказу какого-нибудь объединения, входящего в РОВС, или другой антисоветской организации с поминанием «белых вождей» и молениями за «спасение России». И горе той группе верующих, которая пожелала охранить церковь от эмигрантской политики, горе священникам, которые канонически подчинились Московской патриархии! Дикой ненавистью к ним пылают ханжи черносотенцы.

Отрывок беседы, типичной для той поры, когда эмигрантская церковная распря достигла крайней степени накала:

— Вчера похоронили Анну Ивановну...

— Простите, не похоронили, а, как собаку, бросили в яму.

— Неужели отпевал патриарший священник?

— Вот именно. Вы же понимаете, на нем нет благодати! Кого поженит — не женаты, а живут в блуде; ребеночка крестит, а тот все равно нехристь.

— Кошмар! Значит, и эту совратил перед смертью. Служитель сатаны! Чекист в рясе!

Собеседники — седовласые старцы, но глаза их налиты кровью...

Три русские ежедневные газеты выходили некогда в Париже: «Возрождение»— орган Струве и нефтяника Гукасова, сиречь эмигрантских консерваторов, «Последние новости» — Милюкова, то есть кадетов, притом «левых», и «Дни»— Керенского, то есть эсеров.

Все три с одинаковым рвением заполняли целую страницу выдержками из советской самокритики с целью

доказать, что, раз большевики сами так себя осуждают, дела их плохи и советская власть непрочна. Но на всех других страницах «Возрождение» объясняло из года в год, что в «большевистском кошмаре» повинны «либеральная интеллигенция» и керенщина; «Последние новости»— что причина всех бед в косности консерваторов и происках неудачников, вроде Керенского, ставивших палки в колеса мудрому Милюкову; а «Дни»— что за падение Временного правительства ответственны решительно все, кроме самого Керенского. Причем все три газеты ежедневно обливали друг друга ушатами помоев.

Тут, однако, надо сделать оговорку. «Последние новости» все же выделялись среди прочих органов эмигрантской печати. Сам Милюков не ругал огульно все советское, как «Возрождение», и не проявлял в своих суждениях о советской действительности эсеровской злобности. Он действовал тоньше, хитрее, с большим пониманием реального, признавал «кое-что» в достижениях новой власти, порой даже рисовался объективной осведомленностью, что придавало ему известный авторитет в международных капиталистических кругах.

Март 1929 года. Милюков празднует свое семидесятилетие. По этому случаю в залах гостиницы «Лютеция» пышный банкет. Представлена вся русская парижская интеллигенция «либерального толка». По адресу Милюкова льются речи, одна другой краше: «Только вы, высокочтимый Павел Николаевич, поняли смысл русской истории...», «Вы, маститый Павел Николаевич, самая верная надежда в борьбе с большевизмом. Мы, интеллигенты,— солнце России, а вы — наше солнце!»

Сам Милюков сияет если и не как солнце, то, во всяком случае, как именинник. Румяный, гладкий, самодовольный. Вот он встает — потекла новая речь, всех длиннее и категоричнее. «Сегодня мы празднуем не мое семидесятилетие, а торжество либеральной интеллигенции»,— вещает Милюков по-профессорски ровным, спокойным голосом.

На этом банкете я присутствую в качестве корреспондента, представителя «Возрождения», куда привлек меня Струве, как племянника своего друга Михаила Туган-Барановского. Я еще молод, мной владеет репортерский азарт, но, кроме того, во мне жива лицейская спесь, и хочется осмеять «слюнтяев-интеллигентов»...

Представителям печати передали папку с приветствиями, полученными Милюковым. Очевидно, по недосмотру из нее не изъяли послания, крайне неприятного для юбиляра,— и оно-то как раз попадается мне на глаза. Подпись: «В. Маклаков». Это посол Временного правительства в Париже, известнейший некогда думец, кадет, но, в отличие от Милюкова, не «левый», а «правый». Быстро списываю маклаковский текст. Когда подают шампанское, чувствую себя не хуже вкусно пообедавшего буржуа, который предвкушает игривые развлечения. В самом деле, в письме Маклакова, которое появится на другой день в «Возрождении», имеются такие строки, явно не предназначенные для печати:

«Если бы чествование Вашего юбилея происходило в частном кружке... я бы с радостью принял в нем участие... Но силою вещей Ваш юбилей получил другой характер... Подобное торжество меня уже не влечет. Я не могу отделаться от ощущения, что, пока Россия в трауре, демонстративное публичное празднование вносит соблазн... Я сильнее, может быть, чем следует, сознаю вину не только правых и левых, но и всех нас, то есть и тех, кто шел вместе с Вами, за то, что случилось в России. И потому н а м делать с в о й праздник, праздновать с в о и успехи мне представляется пока преждевременным».

После этого письма между Милюковым и Маклаковым произошел окончательный разрыв. О дальнейшей же эволюции их обоих я скажу дальше.

...А вот другое торжество. В Париж из своей резиденции на берегу моря приехал Кирилл Владимирович, «император» по собственному решению, которого таковым не признает большинство монархистов.

Не банкет, а прием: как бы то ни было, опять сборище в одной из больших парижских гостиниц. Впрочем, сборище немноголюдное. Красивый Кирилл Владимирович мрачнее тучи, и мрачны лица его верноподданных. Нет никого из столпов правой эмиграции. Видно, с ними ничего не поделаешь: все они верны памяти самого маститого из Романовых, бывшего главковерха Николая Николаевича, который не пожелал договориться с Кириллом.

На этом приеме я присутствую опять как представитель печати. Умудряюсь в минутном разговоре с Кириллом Владимировичем проявить «дипломатическую лов-

кость». Не говорю ему ни «ваше величество» — он решил бы, что «Возрождение» признало его царем, — ни «ваше высочество», что прозвучало бы для него как личное оскорбление: «да» и «нет» и только. Сошло! А когда затем обедаю в «Соединенном клубе», слышу всеобщее осуждение Кирилла Владимировича. Никто ни за что, ни при каких обстоятельствах не хочет простить ему, что в февральские дни он, двоюродный брат царя, явился в Думу с красным бантом на адмиральском мундире!

— Нет, нет и нет, — твердят в один голос клубные старички из бывших сановников, — никогда мы не пустим такого на престол. Только мешает общему делу своими претензиями. Да, не зря про него сочинили еще в девятьсот четвертом:

Погиб «Петропавловск»,
Макаров не всплыл.
Но спасся зачем-то
Царевич Кирилл!

Впрочем, у Кирилла Владимировича была группа сторонников среди тогдашней эмигрантской молодежи. Уже на заре эмиграции у некоторых молодых из «нашего мира» возникло сомнение: можно ли огульно восставать против революции? Но так как в них еще жило убеждение, что они цвет русской нации, то они сами же поспешили вести свои настроения, в чисто фашистское русло итальянского образца. Так родилось младоросское движение, вскоре нашедшее в Риме коекаких покровителей.

Лозунг: «Царь и Советы!» Действительно, оригинальнее не придумаешь. Но при царе «глава» — на манер римского «дуче». Таким «главой» был мой сверстник и давнишний знакомый Александр Казем-Бек, человек одаренный, умелый организатор, который в других условиях, вероятно, нашел бы более полезное применение своим способностям.

На младоросских собраниях его встречали почетным караулом. Когда он выступал, по обе стороны трибуны выстраивались юноши в синих рубашках. В своей газетке он объявлял, что младороссы сумеют «повернуть революцию на национальный путь», а на младоросских банкетах гремела песенка с такой присказкой:

Революция — мамаша,
Была ваша, будет наша.
И увидит этот век,
Что такое Казем-Бек!

Век тут ни при чем, но в эмиграции Казем-Бек был одно время видной фигурой.

Остановлюсь на некоторых моих взглядах той поры.

Советская действительность была для меня чуждой, далекой. Я, по существу, ничего не знал о ней и упорно считал, что Россия унижена революцией.

Я часто печатался во французских изданиях, но никогда не считал себя французским журналистом, а русским, пишущим по-французски. Защищал во французской печати русское историческое прошлое и полагал, что этим служу России.

Слышал, что иностранные разведки, особенно в сопредельных с СССР государствах, вербуют для шпионских и диверсионных дел безработных и обнищавших эмигрантов, воспитанных РОВСом на слепой ненависти к советской власти. Но такая «деятельность» прямо не соприкасалась с нашей — парижских эмигрантских литераторов и журналистов,— и потому я над ней особенно не задумывался.

Уважал традиции дореволюционной России, но не питал особых симпатий ни к традициям белого движения, ни к его участникам. Помню отвращение, которое вызвал во мне один бывший белый офицер, когда я узнал, что он самолично застрелил несколько десятков пленных. Его товарищи говорили мне, что при виде обезоруженных пленных в нем пробуждались дикий садизм, разъяренное человеконенавистничество. Однако я не понимал, что именно такие чувства воспитывают в своих членах все белогвардейские союзы, что верность «воинским традициям», трехцветному флагу (в некоторых организациях полагалось целовать старый русский флаг, стоя перед ним на коленях) — все это культивируется для того, чтобы сохранить во что бы то ни стало кастовый дух дореволюционной России, что даже такие, казалось бы, безобидные учреждения, как казачий музей или «Морское собрание», поддерживают все тот же дух и что дух этот порождает самый мрачный, ядом пропитанный фанатизм по отношению к новой России.

Мне было смешно, что в Париже существуют русские полицейские курсы, где преподает какой-то бывший жандармский полковник. Подобное начинание казалось мне всего лишь чудачеством, а между тем легко себе представить, какая преподавалась полковником наука и как использовались затем иностранными разведками эмигранты, прошедшие жандармскую школу. Кроме того, в Париже имелись вечерние военные кусы, на которых бывших офицеров (рабочих или шоферов такси) бывшие генералы и полковники генерального штаба — в большинстве тоже шоферы или мелкие служащие — обучали военным наукам по полной программе бывшей царской военной академии. Года за два до Великой Отечественной войны главный редактор «Возрождения» Семенов всерьез мне объяснял, что на этих курсах приобретается куда больше подлинных знаний, чем в какой-нибудь советской военной академии, так как их руководитель, генерал Головин, коротко знаком с двумя-тремя французскими штабными полковниками и даже с одним генералом и что сотни-другой эмигрантов, окончивших эти курсы, будет вполне достаточно, чтобы преобразовать Красную Армию в белую, заменив всех старших командиров... Я считал, что всевозможные русские школы — вечерние, четверговые (по четвергам нет занятий во французских школах), «Корпус-лицей имени императора Николая II» в Версале, русские колледжи, скаутские и другие подобные организации, часто содержащиеся на подачках таких «бескорыстных благотворителей», как католическая церковь или американский союз христианской молодежи,— выполняют глупое дело, обучая русских детей старой орфографии и заканчивая курс русской истории чувствительной главой о царствовании Николая II. Но не задумывался над тем, что не только нелепо, но и преступно скрывать от детей то, что происходит в их стране, воспитывать их так, будто революции вообще не было и им предстоит служить царю-батюшке.

Все это я рассказываю не только для того, чтобы поведать читателю о своих былых взглядах, сомнениях, оговорках. Представьте себе эмигранта, в своих суждениях лишенного этих сомнений и оговорок, эмигранта, мыслящего в унисон с «Возрождением» или «Последними новостями». Он жил интересами прошлого, все рав-

но монархического или буржуазно-кадетского. Наоткрывал непомерное множество церквей и ресторанов, зачитывался своими печатными органами (их было несколько сот в разных странах эмигрантского рассеяния — от солидных толстых журналов до бульварных изданий и жалких листков), ходил в свои объединения, воспитывал детей в своих школах, перенеся на чужбину интересы и противоречия той России, которой уже не было. Иначе говоря, он жил фикциями, и реальность мало затрагивала его сознание: ни реальность отечества — он от нее открещивался под пение церковного хора или отмахивался за рюмкой водки, ни реальность страны, где он жил, так как не мог ощутить ее, варясь в собственном соку.

Но и это не все.

Я знал, что в поисках материальной базы русские эмигрантские организации обращались к кому угодно: к «нефтяному королю» Детердингу, к проходимцам вроде Вонсяцкого, к Муссолини и югославскому королю, в американские христианские организации, к французским правым социалистам, в Прагу — к Масарику, в Ватикан, ко всяким международным лигам или капиталистическим тузам, заинтересованным в создании послушных антикоммунистических очагов. Знал, но не называл вещи своими именами. Нелепо, но отнюдь не случайно разросшаяся сеть русских организаций (военных и политических объединений, церквей, газет, газеток, благотворительных комитетов, землячеств, школ, масонских лож да «молодежных» союзов) не только позволяла эмигрантам вариться в собственном соку, тешиться мечтами о прошлом и о «возрождении имперской великодержавности», но и ставила эмиграцию под контроль иностранных органов, пропагандистских или разведывательных, которые и направляли эти мечты в русло чисто захватнической политики.

ГЛАВА 6

В ПЛАНЕ БОЛЕЕ ВОЗВЫШЕННОМ

Но у эмигрантов была еще зацепка в плане более возвышенном.

Незадолго до войны французское радиовещание просило меня сделать сообщение о культурных достижени-

ях русских во Франции, да и вообще за рубежом. Я охотно согласился.

Говорил я около часа. Мое сообщение прерывалось пластинками с пением Шаляпина, игрой и музыкой Рахманинова, музыкой Глазунова, Стравинского, Гречанинова да еще Черепнина, Метнера, Кедрова, Чеснокова.

Спектакли созданной в Париже Русской оперы, где шли «Борис Годунов», «Князь Игорь», «Русалка», «Садко», «Сказка о царе Салтане» в декорациях Коровина, Билибина, были триумфом русского икусства.

В буре половецких плясок Борис Романов приводил французов в неописуемый восторг. А когда в «Князе Игоре» стареющий, но все еще безмерно великий Шаляпин исполнял в одном спектакле две партии — Галицкого и Кончака,— у многих русских в зале стояли в глазах слезы. «Вот что мы можем показать иностранцам, которые считают за милость, что приняли нас в своей стране!» Да, все это было прекрасно!

На сцене Театра Елисейских полей умирает Борис — Шаляпин, и я слышу, как известный французский критик говорит с влажными от волнения глазами соседу: «Это действительно совершенство!» И еще был русский триумф, когда на этой же сцене умирал лебедь — Анна Павлова. Или когда на эстраде огромного концертного зала Плейель появлялся высокий худой человек, медленно, чуть ли не флегматично садился у рояля и в воцарившейся тишине, вдруг преобразившись лицом, со сдвинутыми бровями, опускал руки на клавиши. «Рахманинову ура!»— как-то закричал по-русски восторженный соотечественник, и французы в зале поддержали этот возглас.

Я сказал французским радиослушателям, что из балетных студий, основанных в Париже знаменитыми русскими балеринами Кшесинской, Преображенской, Егоровой, Трефиловой, вышли не только прославившиеся за рубежом русские танцовщицы Баранова, Туманова, Рябушинская, танцовщики Юскевич, Еглевский, но, в сущности, и весь современный французский балет, так что русская хореография сторицей отплатила сейчас за все то, чем некогда была обязана хореографии французской. Мало того, что во Франции был создан русский балет, выступавший затем в Англии и в Италии, в

Америке и в Австралии, но и список танцоров и танцовщиц парижской Большой оперы запестрел именами русских юношей и девушек. А балетмейстером оперы, первым ее танцовщиком и гордостью стал в те годы Сергей Лифарь, русский, дягилевский любимец (как и подвизавшиеся в США Мясин и Баланчин), который танцевал в паре с Семеновой, когда она гастролировала в Париже. Прыжок Лифаря знатоки сравнивали с «полетом» самого Нижинского, тоже оказавшегося на чужбине. И так утвердилось тогда сияние русской хореографии, что желающие скорее прославиться танцовщицы — француженки, англичанки, американки, в подавляющем большинстве ученицы русских эмигрантских балетных школ,— часто выступали, да и выступают сейчас, под русскими псевдонимами.

Напомнил я еще парижанам о спектаклях балиевской «Летучей мыши», перекочевавшей затем в Нью-Йорк. Ведь и Никита Балиев был одно время парижской знаменитостью. Ставил русские и французские стилизованные номера по точному образцу тех, что имели столь громкий успех в предреволюционной Москве. При этом по-прежнему выступал как конферансье. Говорил Балиев по-французски не очень грамотно и с сильным акцентом. Между тем французы очень нетерпимы к дурному французскому языку. Балиев вышел из положения весьма оригинально: иностранный акцент и лингвистические ошибки он еще усугубил, доведя свою французскую речь до чистейшего гротеска. Получился «новый жанр», на что «весь Париж» особенно падок. А когда извлек из своей выдумки максимум, переправился через океан и с не меньшим успехом потешал американцев столь же шутовской английской речью.

Я назвал еще очень многих русских музыкантов, артистов, художников, подвизавшихся в Париже.

Указал на роль во французском кино двадцатых годов Волкова, Протазанова, Мозжухина, Наталии Лысенко, Туржанского и других кинорежиссеров и артистов. Напомнил об огромном престиже и значении С. П. Дягилева, о блестящем вкладе Питоевых во французское театральное искусство.

Отметил, что чуть ли не все гримеры парижских театров — русские и что французы признают в этом деле абсолютное превосходство наших соотечественников.

Да и в других областях культуры мне было нетрудно украсить свое сообщение любопытными фактами, показательными примерами. Вот некоторые из них.

Автомобильная фирма Ситроена поручила иллюстрировать свою нашумевшую африканскую экспедицию русскому художнику Яковлеву. Острые яковлевские зарисовки Черной Африки были событием в художественной жизни Франции.

Русские художники Сутин и Терешкович стали одними из самых выдающихся представителей парижской школы живописи.

Раскопки, произведенные на Ближнем Востоке русским археологом профессором М. И. Ростовцевым, дали огромный научный материал и принесли ему мировую известность.

Едва ли не первым во Франции знатоком искусства индокитайского народа кхмеров, выдающимся исследователем памятников древней кхмерской архитектуры считался в тридцатых годах русский археолог В. В. Голубев.

При знаменитом Пастеровском институте работали в те же годы один из крупнейших в мире микробиологов почвы С. Н. Виноградский, ученик Мечникова профессор С. И. Метальников и еще несколько выдающихся русских ученых-эмигрантов.

Сын знаменитого живописца актер Г. В. Серов прославился во французском кино.

Гордость Франции, огромный пассажирский пароход «Нормандия», быстрее всех перерезавший океан и завоевавший премию «Голубой бант», возбуждал гордость и русских эмигрантов: профиль его был сконструирован русскими инженерами — парижанами Юркевичем и Петровым, дизеля строились по проекту профессора Аршаулова, а винты — по системе Хоркевича.

Тогдашний чемпион мира по шахматам был французским гражданином, но звали его Алехиным, а когда этому «французу» пришлось защищать свое звание против чемпиона Германии, им не понадобилось переводчика, так как «немца» звали Боголюбовым.

Наконец, я похвастался Нобелевской премией Бунина, первого русского писателя, получившего эту награду, и сообщил французам, что молодой французский писатель Анри Труайя, удостоившийся знаменитой пре-

мии Гонкуров,— выходец из России, армянин-эмигрант, подлинная фамилия которого Тарасов.

После моего сообщения по радио я получил много писем от эмигрантов с благодарностью за то, что я «поднял их дух», «утер нос французам», «разъяснил иностранцам, на что способны русские». Мне казалось, что я действительно послужил русскому делу. В плане эмигрантском это, возможно, было в какой-то степени верно. Но я не сознавал тогда, что всякий эмигрантский патриотизм — лишь кривое зеркало подлинной национальной гордости.

Эмигранты хвалились Шаляпиным и Рахманиновым, Алехиным и конструкторами «Нормандии». И это позволяло им еще больше уходить в прошлое, в пустые мечты, еще больше отдаляться от настоящей России.

Да, конечно, Россию покинули не только помещики и фабриканты, не только белые офицеры, воевавшие против Красной Армии. Многие покинули свою страну просто потому, что привыкли к определенному укладу, выросли в определенных понятиях. Среди таких были и выдающиеся люди. Они остались выдающимися и в эмиграции, но жизнь их чаще всего оказалась надломленной.

Недаром Бунин писал еще в двадцатых годах:

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать прости родному дому!

И вот, оказавшись на чужбине, этот большой русский писатель в творчестве своем все же обращался к родному дому, как к единственному подлинному источнику вдохновения, хоть и не желал принять его новое бытие.

С другой стороны, талантливость русской натуры пробивалась в эмигрантской «смене». Эта талантливость оставалась русской по своему размаху, по нутру, но, чтобы выйти на широкую дорогу, одаренные личности все чаще приспособлялись к чуждой среде, творили на чужой лад. Эмигрантская молодежь осталась в душе русской наполовину, а то и денационализировалась

совсем. Без родины не было ведь у нас, сотен тысяч русских людей, оторванных от своего корня, другой альтернативы, как жить прошлым или чужим.

Мне как-то довелось обедать у русского парижского адвоката, богатого дельца, находившегося в свойстве с Шаляпиным. Был сам Шаляпин, была М. Ф. Кшесинская с мужем Андреем Владимировичем, был Сергей Лифарь. Обед прошел оживленно благодаря Лифарю. Он говорил без умолку о своих планах, о том, как интересно обучать французских танцовщиц, возрождать во Франции искусство хореографии. Говорил как человек честолюбивый, упоенный своим успехом. Ему было тогда лет тридцать с небольшим, талант его созрел за границей, он брал от жизни то, что она давала ему сама, брал жадно и напористо. Шутил на тему, что приходится подлаживаться под вкусы публики, но видно было, что это не очень его огорчает. М. Ф. Кшесинская смотрела на Лифаря с материнским умилением: он олицетворял для нее преемственность русской хореографии, а быть может, и еще шире — преемственность русского дарования. Шаляпин молчал и, казалось не слушал Лифаря.

Я знал, что Шаляпин живет в роскошной квартире, что он очень богат, но слышал, что ему хотелось бы стать еще богаче, что он вообще многим недоволен, а особенно тем, что стареет, слышал, что характер его становится все тяжелее. Он сидел напротив Андрея Владимировича и без всякой связи с общим разговором время от времени не то брюзгливо, не то игриво ему подмигивал. Что общего было между ними? Разве то, что этот человек, вышедший из толщи народа, который создал на сцене, быть может, самый потрясающий образ царя, и другой, в жилах которого текла кровь многих царей, оба покинули родину, оба доживали свой век совсем не так, как могли бы себе вообразить в былые годы. Путь Андрея Владимировича был закономерен. А шаляпинский путь?

«Неужели,— недоумевал я,— он так и не скажет ничего интересного? Неужели от этого обеда с Шаляпиным запомнятся только его все еще величавые черты да скучающий взгляд усталого титана?»

— Эх, Лифарь, Лифарь,— произнес вдруг Шаляпин, когда тот с особенным оживлением говорил о художе-

ственном чутье парижской театральной публики.— Не знаете вы, что такое настоящая публика. Не правда ли, он не знает, а?

Он щелкнул пальцами и подмигнул на этот раз не Андрею Владимировичу, а Кшесинской.

— Эх, эх, эх,— добавил еще Шаляпин и вдруг посмотрел на Лифаря холодно, с явным высокомерием.

Вот и все. Но мне показалось, что он на миг приоткрыл в этих словах свою душу, полную скорби о чем-то утраченном.

«Какое счастье для нас, что мы жили в эпоху, когда работал и творил этот гениальный художник!»

Так после смерти Шаляпина писал в одном из зарубежных изданий другой замечательный русский художник, которому тоже было суждено окончить свои дни на чужбине: Александр Тихонович Гречанинов.

— Какое горе!— воскликнула Сесиль Сорель, вероятно самая замечательная французская актриса того времени, узнав о смерти Шаляпина.— Это был последний гений, который оставался на нашей земле.

Я слышал и видел Шаляпина, и потому я знаю, что за последние десятилетия не было подобного ему гения в искусстве. И гений этот, общечеловеческий по своему значению, был чисто русским по своим истокам и самой своей сущности, одним из прекраснейших воплощений русской народной души.

Был ли он счастлив на чужбине? Нет, не был, и в этом драма всего последнего периода его жизни.

Парижская квартира Шаляпина была не только роскошной, но и замечательной по качеству украшавших ее произведений искусства: там были и картины старинных мастеров, и портреты хозяина работы Серова, Коровина, Кустодиева (по словам близких, он особенно любил кустодиевский за русский дух и размах), и прекрасные шпалеры, ковры, бронза, фарфор.

В этой квартире Шаляпин принимал широко, по-русски.

И в последние годы жил, не жалея своих сил.

Пел для друзей так, что у тех буквально захватывало дух от восторга. Иногда импровизировал, создавал поразительные образы, на миг рождаемые в ходе разговора, но всегда запоминающиеся слушателям. А иногда

погружался в более низменную стихию: часами «резался» в белотт, довольно ординарную французскую карточную игру, причем очень сердился, выходил даже из себя, как только начинал проигрывать.

Пил много, несмотря на запрещения врачей, как умеют пить во Франции: благодушествуя, но не пьянея.

Пил украдкой от жены, от дочерей. Гостиную его украшали большие стенные часы. Он любил эти часы, говорил, что они очень хрупкие, сам заводил и никому не доверял ключа. Оставшись наедине с приятелем, он иногда открывал их: внутри стояла дюжина бутылок.

Но и в своей квартире, в одном из чудеснейших кварталов Парижа, ему чего-то очень важно постоянно недоставало.

Вот свидетельство одного из его близких друзей (оно было опубликовано за рубежом после смерти Шаляпина):

«Мы с ним много ездили в поисках дачи и по Франции и за границу. Он все искал себе имение, чтобы «было похоже на Россию». Россию он любил страстно, все время тосковал о ней. «Я не понимаю,—говорил он,— почему я, русский артист, русский человек, должен жить и петь здесь, на чужой стороне. Ведь как бы тонок француз ни был, он до конца меня никогда не поймет. Да и там, в России, понимала и ценила меня по-настоящему галерка. Там была моя настоящая публика. Для нее я и пел. А здесь галерки нет».

Шаляпин, Рахманинов... Оба покинули родину уже на пороге старости. Впитав национальные соки, их великое дарование жило за границей на накопленный в отчизне капитал.

Беседуя в 1934 году с одним американским журналистом, Рахманинов сказал ему: «Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя. У изгнанника, который лишился музыкальных корней, традиций и родной почвы, не остается желания творить, не остается иных утешений, кроме нерушимого безмолвия нетревожных воспоминаний».

В самом деле, Рахманинов сочинял на чужбине гораздо меньше, чем на родине, его поглощала прежде всего исполнительская деятельность: он был общепризнан как первый пианист в мире. Я интервьюировал его в октябре 1929 года. Рахманинов был проездом в Пари-

же (с 1918 года жил каждую зиму в Америке и каждое лето в Европе).

Выписываю из опубликованной за рубежом его беседы со мной.

«В комнате гостиницы, такой же как комнаты всех больших гостиниц Европы и Америки, в углу у рояля, знакомая меломанам всего мира, длинная худая фигура, бритое продолговатое, с крупными чертами лицо. Рахманинов говорит медленно, негромким однообразным голосом. И сразу чувствуешь, что он не любит говорить и что ему, вероятно, наскучили журналисты и вообще все люди, расспрашивающие его...

Длинными худыми пальцами Рахманинов раскрывает портсигар, закуривает и покашливает в дыму.

— 24 декабря,— говорит он,— уезжаю в Америку. Там дам много концертов в десятке городов. А перед тем еду в Голландию, на месяц в Англию, затем проездом через Париж в Германию, Вену, Будапешт, Цюрих...

— Вы что-нибудь сочиняете?

— Ничего не сочиняю. Мне кажется, я потерял способность сочинять. Я устал. Знаете, после семи месяцев сплошных концертов уже не думаешь о творчестве. После такой каторжной работы хочется лишь отдохнуть. Вот и этим летом в Рамбуйе я, можно сказать, занимался считанием ворон в саду. Да еще съездил на три дня в Сен-Жан-де-Люз к Шаляпину. Очень было приятно повидать Федора Ивановича...

— А вы не думаете поехать в Южную Америку?

— Не поеду. Из Нью-Йорка в Аргентину двенадцать дней езды. Мне не по силам уже такое путешествие. Каждый второй год я еду в Калифорнию: четыре с половиной дня нужно путешествовать. Очень это невесело. Вот и в Австралию меня зовут. Там сейчас все больше развивается концертная жизнь. Но меня это не манит — не поеду. Подумайте, мне есть от чего устать. В Европе в эти два месяца я дам тридцать три концерта, а в Америке не менее сорока...

Я заговариваю с Рахманиновым об огромной помощи, оказываемой им нуждающимся русским эмигрантам.

— Зачем же я буду сам об этом рассказывать?— возражает Рахманинов.— Недавно я прочел интервью

с Клемансо. Клемансо сказал на прощание журналисту: а больше всего вы мне доставите удовольствие, если напишете обо мне как можно меньше... Так же хотелось бы заключить и мне».

...Отрывочные мои беседы с Анной Павловой, тоже опубликованные за рубежом.

Май 1928 года. В Париже на Лионском вокзале. Анна Павлова только что прибыла с римским экспрессом.

«— Ваше впечатление о вашем турне по Италии?

— Для меня это было большим событием,— отвечает Анна Павлова.— Я в первый раз танцевала в Италии. Там, на родине танца, сейчас, быть может, самый большой в Европе его упадок. Я выступала в Милане, в Турине, в Генуе, в Венеции, в Болонье и в Риме. Успех был большой. Но подлинного понимания танца я не встретила в Италии. Передо мной были люди, забывшие, что такое балет. Балетной критики совсем нет. Причины упадка? Отсутствие балетмейстеров, постепенное вырождение балета в пантомиму.

— Какие у вас сведения из России?

— Я много получаю оттуда писем. Балет там существует, но трудно судить отсюда о его развитии».

Париж, май 1930 года. На чае в Театре Елисейских полей в честь А. П. Павловой.

Анна Павлова рассказывает про балет «Восточные впечатления», который впервые пойдет в Париже.

«— Мы в Индии создали этот балет по древним индусским танцам и там его впервые поставили. Сначала ходили одни англичане, а потом индусы и фарсийцы пришли смотреть на нас, а на Яве театр был полон туземцами. Из всех стран, которые я видала, самое большое впечатление произвела на меня Индия. И моды, и религия, и искусство Индии меня очаровали. До сих пор для меня наслаждение переноситься мыслью в Индию и наслаждение танцевать индусские танцы».

Париж, январь 1931 года. Но это уже беседа не с ней самой — Анна Павлова скончалась за несколько дней до этого в Гааге,— а с ее импрессарио А. П. Левитовым.

«— Павлова никогда не страдала легкими,— сказал он. Она сгорела как свеча, не думала во время болезни, что умрет... Голландская королева прислала своего личного врача, который до самого конца не отходил от

Анны Павловой. При кончине были кроме врачей: ее муж В. Э. Дандрэ, камеристка Маргарита и я. Последние слова, которые я от нее слышал, были:

«Не забудьте студентов...»

Это она заботилась о спектакле в пользу русских студентов в Брюсселе.

Спектакль нельзя было отменить. Я уговорил труппу поехать в Брюссель. Студенты уже затратились из своей кассы на организацию спектакля, и он состоялся. Председатель студенческого союза сказал прочувствованную речь при закрытом занавесе. В зале была королева. Пианист Рахманинов и виолончелист Курц исполнили при пустой эстраде музыку «Умирающего лебедя». Пустили синий свет, как было, когда выступала Анна Павлова. Это была минута незабываемая. Королева встала, и за ней встал весь зал. После спектакля от имени труппы говорила Кирсанова, разрыдавшаяся в конце своего слова.

Анна Павлова будет похоронена в Лондоне. Она жила там двадцать лет и любила Гольдринское кладбище.

Телеграммы сочувствия были получены со всех концов мира. За один день я их насчитал 207... Немецкий скульптор Ледерер хотел прилететь в Гаагу, чтобы снять маску с Анны Павловой. Мы решили, что этого не надо, ибо маска меняет лицо. Трогательная подробность — русские студенты в Брюсселе учредили стипендию имени Анны Павловой.

Вспоминаю нашу встречу нынешнего Нового года с Анной Павловой. Это было в Каннах; когда пробило двенадцать часов, Анна Павлова вдруг расплакалась. Она сказала: «Мне так тяжело, что я не у себя, в России...»

Мысль о России, тоска по ней, несмотря на триумфы, на мировую славу, и подчас, среди вечных скитаний, мучительный интерес к новой России.

В конце 1927 года С. П. Дягилев показал в Париже (уже не в первый раз) балет «Стальной скок». В наиболее косной части эмиграции спектакль вызвал немалое раздражение.

Дягилев говорил мне:

— В эмигрантской печати меня бранили за эту постановку, а иностранцы хвалили. Меня упрекали, что она проникнута советским духом, предсказывали ей

верный провал. Но, к счастью, это не оправдалось. В Лондоне герцог Конаутский давал сигнал аплодисментам. Послушайте, ведь я хотел изобразить современную Россию, которая живет, дышит, имеет собственную физиономию. Не мог же я ее представить в дореволюционном духе? Я сам не был в Советской России, но, мне кажется, Прокофьев и Якулов нашли к ней правильный подход. В «Стальном скоке» появляются милиционеры. Не мог же я их нарядить в старую русскую форму! А ведь вы знаете, красноармейская форма — высокая остроконечная шапка и длинная серая шинель с украшениями на груди — это совсем костюм времен князя Игоря, да, русский исторический костюм... «Стальной скок» идет сейчас уже не в том виде, как в первый раз в Париже. Первая часть — деревня — заново поставлена Мясиным. Он ее очень упростил. Прежде контраст между деревенской жизнью и фабричной не был особенно выявлен...

В июле 1929 года, находясь в Париже перед отъездом в Америку, после четырех лет, проведенных в Азии, Н. К. Рерих рассказывал мне с волнением:

— Мы видали там местности неисследованные, людей, с которыми не говорили еще белые, имели счастье узнать предания и верования, о которых еще никто, быть может, не слышал в Европе... В Трансгималаях, в местности Даринг, что значит — длинный камень, живет обособленный, не знающий почти европейцев народ. Неожиданное и таинственное видение России: женщины носят кокошники, унизанные бусами, раковинами, жемчугами... Никто еще не исследовал, откуда пришло это племя, кто эти люди. Мы хотели снять женщин в кокошниках, но они пугались, бежали прочь, падали в ужасе на землю.

Лицо Рериха казалось матовым при свете электричества; он говорил, и слегка шевелилась его белая бородка. Плотный, подвижной, русский каждым словом своим, мыслями, улыбкой, но в глазах его, живых и смеющихся, чуть раскосых, в широких скулах проглядывал след азиатской крови.

Ида Рубинштейн... Помню ее в ноябре 1928 года, когда она только что образовала свою балетную труппу. Беседа происходила в ее парижском особняке. Как только она появилась на пороге, я испытал то же, что, вероятно, испытывал каждый при встрече с ней: передо

мной было словно видение из какого-то спектакля. Ида Рубинштейн казалась как бы немыслимой «просто в жизни»: малейшее ее движение, всякое слово, улыбка были плодом древнего искусства мимов. В муслиновом белом тюрбане, закутанная в облегающие ее соболя, она сидела затем на диване среди больших розовых подушек. Я задавал ей вопросы, она отвечала мне то по-французски, то по-русски.

— Теперь мне много приходится говорить с русскими,— поведала она,— ведь вся моя труппа состоит почти из одних русских, но последние годы я начинала бояться, что разучусь говорить по-русски. Но ведь своего родного языка нельзя забыть, не правда ли? Напишите, что я рада служением русскому искусству послужить моей родине.

Игорь Стравинский не имел принципиальных возражений против поездки в Советский Союз. В феврале 1928 года он так ответил на мой вопрос:

— Пока не еду... Мне делали оттуда ряд предложений, но я разобран на несколько лет... А то бы поехал...

В октябре 1928 года, беседуя со мной перед отъездом в Америку, А. Т. Гречанинов сказал:

— Я счастлив посетить Соединенные Штаты. Вы знаете, я по природе страстный бродяга. А я еще никогда не был в Америке... Но непременно напишите, что я переживаю сейчас особо радостные дни. Ведь сейчас исполняется тридцатилетие основания Московского Художественного театра. Я так много работал для этого театра. Так с ним связан!

«Шахматный король»— так звали А. А. Алехина за границей и так он сам себя называл — выехал из России еще молодым. Он воспитывался в училище правоведения, вырос в старорежимном кругу. Любил подчеркивать, что он хорошего дворянского рода, упорно настаивал, чтобы фамилию его произносили без точек на «е». Когда, например, кто-нибудь спрашивал по телефону, можно ли поговорить с А. А. Алёхиным, он неизменно отвечал: «Нет такого, есть Алехин». По прибытии во Францию натурализовался, то есть стал французским гражданином. Многим русским это показалось обидным и непонятным. Зачем? Ведь и без фран-

цузского паспорта «шахматному королю» можно было бы беспрепятственно разъезжать по всем странам.

С Алехиным я встречался довольно часто — мы были даже на «ты»; от него самого или от общих друзей я слышал многое, дающее ключ к пониманию его поступков.

В беседе для печати он заявлял мне:

— По всему миру разнесли, будто целью моей жизни было победить Капабланку. Но шахматы не имеют для меня столь подавляющего значения. Конечно, я хотел победить Капабланку: много лет готовился к матчу с ним. Но при чем тут «цель жизни»?

Дело в том, что Алехин считал себя не только первым в мире шахматистом, на что он имел все права, но и вообще человеком громадного, всеобъемлющего ума, которому, естественно, подобает возвышаться над прочими смертными. «Такой человек, как я», «при моих данных» и т. д. часто вырывалось у него. Достигнув всемирной шахматной славы еще юношей, Алехин уверовал в свою звезду. Революция разрушила тот мир, где он выдвинулся. Перебравшись во Францию, задумал сделать там государственную карьеру, стать каким-то дипломатическим «спецом», закулисно вершить международные дела. Это было достаточно наивно: для французов он оставался иностранцем, недавно принявшим французское гражданство, и редко кому из влиятельных лиц импонировал по той простой причине, что шахматами мало увлекаются во Франции. В самой Франции «шахматный король» никакой особой славой не пользовался и проживал как рядовой обыватель, которому нет доступа в «весь Париж». Алехин томился, завидовал, вызывал у близких даже беспокойство частыми ссылками на... Наполеона, которому, мол, не в пример «некоторым», сами события подготовили путь к славе. Одно время подумывал перебраться в США. Затем что-то оборвалось в нем, и он стал запивать. В пьяном угаре проиграл «шахматную корону» Эйве, затем, взяв себя в руки, вновь отвоевал ее, но запил снова...

Коренастый, с короткой шеей, Алехин производил впечатление сильного, волевого человека. Он умел говорить умно, с весом, но в речи его всегда проскальзывало невольное раздражение. Да, несомненно, что-то в его судьбе постоянно раздражало его. Вдохновлялся по-

настоящему, когда говорил о шахматах, причем, если собеседник был иностранец, всегда подчеркивал, что самая высокая шахматная культура в Советском Союзе. И опять раздражался. «Вот я с вами толкую о шахматах, а ведь вы в этом ни черта не смыслите»,— ясно говорил его взгляд.

Алехин был, конечно, человеком больших страстей, но чужбина, сознание, что он не у себя, что только в том же «родном доме», о котором тосковал Бунин, его могли бы оценить по-настоящему, и в то же время какое-то малодушие, мешавшее ему решительно признать ошибочность своей разлуки с родиной,— все это надломило его, лишило внутренней опоры.

Я довольно часто встречался с Алехиным, бывал у него в доме, играл с ним и порой выигрывал... в бридж. Характерно, что Алехин хотел (впрочем, тщетно) достигнуть в бридже самого высокого класса.

По-настоящему Алехин царил в Париже лишь в белом, обвитом растениями павильоне, где в саду Пале-Рояль помещался шахматный клуб. Это был главный шахматный центр французской столицы, там постоянно слышалась русская речь и тон задавали кроме Алехина — О. Бернштейн, С. Тартаковер, Е. Зноско-Боровский и еще другие эмигранты.

Встречал я Алехина и в парижской русской масонской ложе «Астрея», но скоро масонские «радения» надоели ему, и он нередко превращал и ложу в шахматный клуб, усаживаясь за шахматную доску с гроссмейстером Бернштейном.

И в домашней обстановке и в масонской ложе я наблюдал в Алехине надрыв, неудовлетворенность собой.

Эмигрантский писатель В. Сирин описывает в «Защите Лужина» переживания главного героя романа, уходившего в шахматы от реальности, искавшего в них спасение от всего, что составляет обычную жизнь человека. Сирин пишет, что шахматы были безжалостны, они держали и втягивали его. В этом был ужас, но в этом была и единственная гармония, ибо что есть в мире, кроме шахмат? Туман, неизвестность, небытие... Стройна, отчетлива и богата приключениями была подлинная жизнь, шахматная жизнь, и с гордостью Лужин замечал, как легко ему в этой жизни властвовать, как все в ней слушается его воли и покорно его замыслам».

Но особенно Лужин любил игру вслепую: «...не нужно было иметь дело со зримыми, слышимыми, ощущаемыми фигурами, которые своей вычурной резьбой, деревянной своей вещественностью всегда мешали ему, всегда ему казались грубой, земной оболочкой прелестных незримых шахматных сил; играя вслепую, он ощущал эти разнообразные силы в первоначальной их чистоте, он не видел тогда ни крутой гривы коня, ни лоснящихся головок пешек, но отчетливо чувствовал, что тот или другой воображаемый квадрат занят определенной сосредоточенной силой, так что движение фигуры представлялось ему как разряд, как удар, как молния,— и все шахматное поле трепетало от напряжения, и над этим напряжением он властвовал, тут собирая, там освобождая электрическую силу».

Лужин не знал другой жизни, кроме шахматной. Алехин же был богатой натурой — он хотел взять от жизни как можно больше, во всех областях. Но когда, уже на родине, я перелистывал роман Сирина, мне показалось, что, быть может, Алехин тоже болезненно ощущал, как уже одни шахматы были способны дать ему на чужбине иллюзию действительно полнокровной жизни.

А. И. Куприн — милый, чуткий, такой человечный — тоже искал утешения в вине. Этот замечательный писатель глубоко переживал какую-то тоску, которая грызла его. Я часто видел его и у родителей, с которыми его связывали давнишние отношения, и в «Возрождении», где он постоянно сотрудничал. Он хорошо ко мне относился и не раз участливо давал литературные советы. Все в редакции встречали его с подчеркнутым почтением. Куприн мило разговаривал с каждым, но ни в какие политические дискуссии не вступал. Все больше и больше слабел от вина. Вначале пьянел от двух-трех рюмок водки, под конец от стакана совсем легкого виноградного вина, но пьянел как-то тихо, кротко, окончательно уходя в себя. Помню его на большом банкете, устроенном «Возрождением» по случаю сорокалетия его литературной деятельности. Гукасов и Семенов произносили речи, славя в Куприне знаменитого русского писателя, не пожелавшего сотрудничать с Советами. А. Куприн сидел, согнутый, печальный, и ничего не отвечал.

Все поняли, какая тоска мучила его столько лет, когда под злобное шипение «столпов» эмиграции он наконец решил вернуться на родину, без которой больше не мог жить.

Как и Куприн, Билибин не выдержал изгнания и, тоже вернувшись на родину, поработал на славу советской культуры. Но Константин Коровин умер в Париже. Каждый раз, когда в Третьяковской галерее или в Русском музее я вижу на почётном месте картины Коровина, вспоминаю убогую, вечно неубранную парижскую его квартиру, где такие же вот коровинские картины стояли в углу, под вечным слоем пыли. «Весь Париж» смутно помнил Коровина как декоратора времен дягилевских балетов. Но на парижской бирже картин торговцы-аферисты пренебрегали работами старого чужеземного мастера. Свой век Коровин доживал в постоянной нужде. Редко-редко какой-нибудь русский «меценат» выбрасывал сотню-другую франков, то есть сущий грош, за его картину. Кормился (очень скудно) Коровин от того же «Возрождения». Там печатались его интереснейшие воспоминания. В них Коровин с восторгом уходил в прошлое, описывал своих знаменитых современников, русскую природу, себя самого с удочкой в руках на берегу полноводной русской реки. Писал увлекательно, ярко, но чисто «импрессионистски»— без знаков препинания, не считаясь с синтаксисом, так что долго-долго приходилось его править. Несмотря на напускное молодечество, старый, измученный жизнью, с всклокоченной седой бородой, в полинявшем пальто с нелепым в Париже меховым воротником, бедный Константин Алексеевич всем своим видом напоминал, что он уже только прошлое. Иногда засиживался в редакции, рассказывая как-то отрывочно, скороговоркой, точно толковал сам с собой, о самом разном: о встречах с Львом Толстым или, например, как купцы любили попить шампанское из... чайника. Называл Гукасова «красавцем», но тот не повышал ему построчного гонорара.

Помню, в апреле 1930 года я интервьюировал Коровина в его мастерской. Он только что закончил большое панно «Пушкин и Муза»— в бледных тонах, овеянное романтикой, предназначенное для выставки русских художников в Праге.

Коровин, руки в карманах, смотрел на свое произведение.

— Да, романтика,— говорил он,— хорошая это вещь!

Где я на пир воображенья
Бывало музу призывал...

Вот так-то я и изобразил Пушкина. Барская усадьба с колоннами и деревянные избы на фоне: Россия!

Коровин хитро сверкнул глазами.

— Разве это живопись? Литература, иллюстрация. Вот живопись,— он показал на «Цыганские таборы» и «Парижские улицы» по стенам.— Но ничего все-таки, не правда ли? Ох, хорошо перенестись хотя бы на минутку в пушкинское время! Я написал Пушкина таким, каким знала его бабка моя, Екатерина Ивановна Волкова. Четырнадцатилетней девочкой в тридцатые годы видела она его в Московском дворянском собрании. Как денди лондонский был он одет. В пелеринке подъезжал, с палкой в руках. Малого роста был он, говорила бабка, светлый шатен, заметьте,— светлый, с серыми быстрыми глазами, курчавый. Все смотрел за женой, с кем танцует. Как только входил он, все шептались: «Пушкин...» Малым слышал я это от бабки. Девяносто семи лет умерла она. Долго в семье жили.

Коровин самодовольно поглаживал бороду.

— И долго будем еще жить. Ведь так? Вот дед мой — Коровин — сто одного года умер. Здоровый человек был. Ростом в сажень без полвершка. Я тоже велик, да пониже буду.

Ямщиком был мой дед, чуть ли не вся Рогожская улица в Москве принадлежала ему. Сплошь постоялые дворы. Кареты в них на рессорах, с кухнями, а на столах в квартире ассигнации кипами, бечевками перевязанные...

Два тракта у него было: Москва — Нижний да Москва — Ярославль. Гонял ямщиков дед мой — так это называлось. Хорошие были ямщики, ярославские мужики, из села Буньково, не крепостные, государственные. Кровельщики там все в Ярославской губернии, да каменщики, и нрав у них был другой, чем у крепостных. На кулачные бои сходились. Дома у них железом крыты. Здоровые люди.

Так вот про деда моего. Музыку любил. Сидит, бывало, старик в огромном зале «ампир», пледом ноги покрыты, а наверху на галерее Баха ему играют. Водки не пил никогда, только чай.

А разорился он, как завели железные дороги.

Вот видите, разговорился я про старину! Приятно вспомнить.

В Прагу посылаю еще «Домик Лермонтова». Кавказ, горы, и Лермонтов у домика. Жаль, что уже отослал, показал бы вам. Хоть и не живопись это, но больно уж люблю наших поэтов...»

А вот выписываю из моего архива с небольшими сокращениями коровинский рассказ «Печной горшок», очень, как мне кажется, характерный для его писательской манеры.

«Лето. У крыльца моего дома во Владимирской губернии сижу я под большим зонтиком и пишу красками с натуры рыб — золотых язей... Сзади сидят на траве приятели: крестьянин Василий Иванович Блохин и Павел Рыбак, тоже крестьянин.

На деревянной террасе накрывают стол к обеду.

— В глубоких ямах в Вепреве и дна нет,— говорит Павел.

— Как дна нет? А что же там?

— Просто глыбь. Ну и рыбы!..

— Глядит-ка, к нам гости едут!— перебил Василий.

Я обернулся. В ворота заворачивала лошадь: в тарантасе сидят двое, один очень толстый, с широким красным лицом, другой — худенький, черные глаза смотрят через пенсне испуганно.

Я узнаю гостей. Первый — композитор Юрий Сергеевич М., второй — критик, музыкант Коля Курин. Композитор с трудом вылезает из тарантаса, хохочет, показывая на возчика:

— Замечательный человек этот парень, дай ему стакан водки... Здравствуй, здравствуй!

— Я к тебе на неделю,— говорит Коля Курин.— Устал, знаешь. Так устал, что страсть! Юрия я, брат, не понимаю. Этот возчик — скотина... А ему нравится!

— С приездом,— говорит возчик, проглатывая стакан водки и, улыбаясь, закусывает...

Гости пошли купаться, а я с Василием Ивановичем поставили на стол графины полынной, березовку, рябиновку, окорок своего копчения, маринованные белые грибы, словом — дары земли...

...На террасу вошел Юрий Сергеевич в шелковой рубашке, расшитой красными петушками; широкие синие шаровары и лакированные сапоги... Приятели сели за стол.

— Послушай,— обратился ко мне Юрий,— возчик, с которым мы со станции, замечательная личность. Везет это он, посмотрит на нас и засмеется.

— Скотина,— отрезал Коля.

— Постой... Знаешь, что он сказал нам? «Часто к Коровину,— говорит,— вожу. Ну и каких дураков! Эдаких у нас в деревне нет». Я удивился. Спрашиваю: «В чем дело, любезный?»—«Да как же,— говорит.— На днях тоже двоих вез. Один молодой, здоровый, а другой постарше, махонький. Ну, подъезжаем к деревне, что вот сейчас проехали. Молодой и говорит: «Гляди-ка, сарай-то какой. Красота, ах! Прелесть! Стой»,— говорит мне... Я стал. Ну, вот они ходили кругом сарая. «Вот,— говорят,— хорош, вот красота!» Час ходили. Нравится им очень сарай. Подумай, а ведь это брошенный овин глухой: развалился весь, его на дрова никто не возьмет. Гниль одна. Что за народ чудной, думаю... Ну, дальше поехали. Я им и показываю дом Глушкова. Дом чистый, новый, крашеный. Говорю: «Вот дом хорош!» А они мне: «Чего,— говорят,— в нем хорошего. Трогай!» Вот ведь дурость какая! Эдакие все к Коровину ездят. И чего это? На станции жандарму рассказал. Не верит. «Врешь ты,— говорит.— Таких людей не бывает». Вот я в другой раз к тебе с Николаем ехал. Возчик спросил: «Вы господа, при каком деле находитесь?» Отвечаем: «Мы — музыканты». А возчик как заржет. Я спрашиваю: «Что ты?» А он: «Музыканты,— говорит.— Да нешто это дело? У нас в деревне на гармонии, почитай, все играют».

Юрий хитро улыбнулся, замолчал.

— А то Шурка вез,— подхватил Василий Иванович смеясь.— Он маленько сам с тараканом в голове... Да только и то сказать, по прошлой-то осени вы, Кистин Лексеич, у речки-то лошадь списывали. Помните? Она — Сергеева, угольщика. Ну чего она, опоенная, на

все ноги не ходит; ее живодеру отдать за трешницу, и то напросишься. Ну, к ней телегу вы велели с хворостом поставить и списывал ее Валентин Лександрыч Серов. Пишет, значит, Сергей-угольщик и я сидим, а вы подошли и говорите: «Лошадь-то хороша». «Замечательная»,— отвечает вам Валентин Лександрыч... Ну, Сергей шепчет мне: «Чего это?» А я тихонько Сергею: «Поди, приведи к реке попить мово вороного жеребенка. Пусть поглядят». Сергей привел. Пьет жеребенок у речки да ржет чисто зверь. Я и говорю: «Валентин Лександрыч, вот этого-то коня списать, глядит-ка! А то — что?» А он мне в ответ: «А скоро ли он его уведет?..» Не нравится, значит... Не знал я, что и думать. Без обиды говорю. Вот и скажи, пожалуйста, эдакую картинку кому глядеть охота?

— Ее, Василий Иванович, фабрикант Третьяков купил. Три тысячи дал.

— Да что ты? Неужто? Батюшки! Это что ж такое?— удивился Василий.

— «Печной горшок тебе дороже»,— громко и обиженно продекламировал Коля Курин в пространство.

Юрий Сергеевич раскатисто хохотал.

— «А мрамор сей ведь бог»,— не мог успокоиться Коля.

Крестьяне улыбаясь смотрели на него вопросительно, с изумлением.

— На какой это ты горшок серчаешь, Николай Петрович?— спросил Павел Рыбак.

— Да, верно, верно! Ну-ка объясни попробуй, на какой горшок! Объясни,— хохоча приставал Юрий Сергеевич.

— Что ж это такое! Черти что! Ты-то чего смеешься?— обратился Коля Курин и ко мне.

— Не знаю,— ответил я.— Прости, Николай. Смешно. Невероятно! К чему ты это «мрамор»? И все так сердито...

Коля встал.

— Вы же Пушкина не понимаете!— закричал он, грозя пальцем.

В это время на стол принесли леща с кашей.

— Посмотри, какой лещ в сметане,— радовался Юрий Сергеевич.— Да что ты, Николай... Как же это с рыбой вишневку? Совсем спятил... А еще Пушкиным

пугаешь. Нет, брат, Пушкин ценил леща в сметане и трюфеля, и Аполлона... А ты наливку с лещом. Противно смотреть.

— Неважно,— огрызнулся Коля.

— Как неважно,— сказал строго Юрий Сергеевич.— Неважно! Не ценить даров жизни неважно? Тогда зачем и жить? Неважно — вино, красота, музыка, картина, любовь, лето, небо, вот этот рыбак, и смех наш, и Пушкин?! Нет, я начинаю думать, что именно ты в Пушкине ни бельмеса не понимаешь.

— Это вот правильно,— сказал Василий Иванович.— Это вот верно... В Пушкине-то я был, у Карла Ивановича, который пуговицей торгует. Он тоже по охоте мастак... Ну, вот и дача у него в Пушкине. Эх! Хороша. Всё в финтифлюшках, желтым крашена. Заметь — и бочка тоже, скамейка, все крашено. А в саду стеклянные шары, голубые. Вот блестят! И журафь из горла фонтан пущает. Вот списать-то. Вот это картина!

— Вы не про то, Василий Иванович... вы про дачу в Пушкине говорите, а мы про сочинителя Пушкина, которому памятник в Москве стоит,— старался объяснить Юрий Сергеевич.

— И это тоже знаем... Я в Москве лоток с сельдей разносчиком год носил. От Громова торговал... Так на Тверской у Пушкина отдыхал завсегда... Он теперь и зимой без шапки стоит, а ране в шапке был. А царь, значит, и ехал. Народ весь без шапок, он один в шапке. Ну срамота. Чего еще? Вот ему шапку-то сняли. Вот оно что, Пушкина-то я тоже знаю во как!»

Старая темная Россия! А новой Коровин не знал и не понимал. Но все думы и чувства Константина Алексеевича были обращены к родной земле. За несколько месяцев до кончины он писал:

«Все чаще я вспоминаю Россию — вспоминаю не о трудах, огорчениях, неприятностях... а все только о хорошем».

Жил он, как я уже сказал, в нужде, глубокой эмигрантской нужде, так что даже не мог позволить себе самой небольшой поездки, отдыха на лоне природы, в которую всю жизнь был так страстно влюблен. За две недели до его смерти друзья предложили Коровину проехаться за город на автомобиле.

«Я все жил безвыездно в Париже и дальше Сен-Клу

никогда не был,— писал об этом Коровин.— Мы помчались по ровной дороге. Кругом поля, и на них были разбросаны снопы скошенного овса.

Что же это такое,— подумал я. И вправду точно в России, березовый лес, наш березовый лес, такие же канавки, трава, голубые колокольчики, срубленные дрова так же сложены, сосны. Такой же вид, как когда я ехал к себе в деревню со станции Итларь, Ярославской железной дороги. И мне казалось, что вот-вот покажется возвышенность, где был сад мой и деревенский дом.

Когда выехали из леса, показались дальние леса за большими лугами, такие же, какие были за моим домом. И розовая дрема около еловой заросли — такая же, как была около моего сада...»

А кроме русской природы, он любил живопись, тоже страстно, с упоением. Пристально следил за всеми новейшими исканиями французских художников, порой увлекался «чистым искусством», но всегда требовал от искусства если не сюжета, то внутреннего содержания — глубокого и прекрасного. Как-то он говорил мне:

— Много вижу на выставках интересного, оригинального. Но чего-то главного нет и нет. И вот спрашиваю: не тупик ли впереди? Ведь искусство живописи имеет одну цель — восхищение красотой. Нет выше наслаждения, чем созерцание природы. Земля ведь рай — и жизнь тайна, прекрасная тайна, художник должен прославлять жизнь: он тот же поэт. Так мне еще Саврасов говорил.

Константин Алексеевич Коровин прожил долго, хоть и меньше, чем рассчитывал. Он скончался 11 сентября 1939 года в больнице парижского пригорода Бульонь — Бийанкур, куда его доставили накануне, после случившегося с ним удара. Умер, не приходя в сознание. Ему было семьдесят девять лет.

Бунин тоже одно время сотрудничал в «Возрождении»», затем перешел в «Последние новости», к Милюкову, который ему чуть-чуть больше платил. Я мало виделся с ним, но мне кажется, что этим большим мастером владела гордыня, однако более ровного свойства, а следовательно, и более утешительная, чем алехинская. Поэтому он и был часто надменен по отношению к людям, да-

же к истории, раз история складывалась сложнее, чем ему хотелось.

Но в этом отношении еще характернее был Владислав Ходасевич. Этот поэт и исследователь Пушкина, работы которого хорошо известны пушкинистам, автор превосходной монографии о Державине, был уверен, при этом крепко, безапелляционно, что он последний представитель подлинно пушкинской поэтической традиции.

Ходасевич был литературным критиком «Возрождения». Он жаловал меня своим вниманием, и я любил беседовать с ним, так как ум и знания его были очень обширны. Но меня, как и всех его знавших, удивляла его желчная самоуверенность, болезненное преклонение перед собственным «я». Этот щуплый раздражительный человек с исхудалым желто-серым лицом жил горделивой мыслью, что он последний большой русский поэт. Вспоминал родоначальника русской поэзии Ломоносова в таких действительно прекрасных стихах:

Из памяти изгрызли годы,
За что и кто в Хотине пал,
Но первый звук хотинской оды
Нам первым криком жизни стал.
В тот день на холмы снеговые
Камена русская взошла
И дивный голос свой впервые
Далеким сестрам подала.
С тех пор, в разнообразьи строгом,
Как оный славный Водопад,
По четырем его порогам
Стихи российские кипят.

И вот Ходасевич считал, что без него русская поэзия умерла бы и всего этого не было бы...

Как-то он объяснял мне, кого мы должны считать самым выдающимся человеком: «Что выше всего? Поэзия. Какая самая замечательная поэзия наших времен? Русская. А кто сейчас самый большой русский поэт? Я. Вывод сделайте сами». Хотя он и говорил это с улыбкой, но не шутил.

Умер Ходасевич незадолго до войны. Он был типичным приверженцем «искусства для искусства». В отличие от Бунина и Куприна, от Шаляпина и Алехина, он тоски не испытывал, так как жил фикциями, не сознавая, что индивидуализм, который он проповедовал, обедняет, сковывает его поэтические возможности. «В собственном

соку» ему было хорошо, потому что он не знал подлинного простора.

Широкие круги эмиграции мало слышали о Владиславе Ходасевиче. Зато очень гордились Мережковским, потому что он проник к Муссолини и к югославскому королю Александру, писал о египетских фараонах объемистые книги, одобрявшиеся иностранной критикой, и бодро предвещал торжество «светлых сил» над антихристом, адом, сатаной.

Под «светлыми силами» Мережковский подразумевал любых интервентов, готовых вторгнуться на советскую территорию. Вместе со своей женой Зинаидой Гиппиус, некогда царившей в декадентских кружках Петербурга, он и проповедовал интервенцию на философско-эстетических вечерах «У зеленой лампы».

— Как будет ужасно,— кричал он, потрясая своей выхоленной козлиной бородкой,— если вновь, как в польскую войну 1920 года, кто-то в эмиграции проявит постыдную мягкотелость и не пойдет вместе с теми, которые всей своей силой нагрянут на советскую власть! Мы должны помнить, кто наш враг! Надо пожертвовать временными интересами России. Мы победим, верьте, победим! Ибо небо на нашей стороне!

Расфранченный крохотный Мережковский бил себя в грудь, закатывал глаза и, хотя картавил чисто по-петербургски, видимо, старался походить на пифию в пророческом трансе.

Он тоже не знал тоски по отчизне. Он знал другое: ненависть к своему народу и старался разжечь ее в эмиграции.

Семьдесят книжек эмигрантского толстого журнала «Современные записки» составляют основное литературное наследие тех представителей русской культуры, которые после Октября покинули родину. В этих книжках немало выдающихся литературных произведений (ведь печатались в них Бунин, Куприн, Ходасевич). Эмигрантский читатель находил в них вместе с упорным непониманием новой России щемящую грусть о потерянном родном доме.

Годам разлуки с родным Петербургом, где, как все мы считали тогда, проблистал напоследок «серебряный

век русской культуры», Георгий Адамович посвящал в этом журнале такие стихи:

Тысяча пройдет — не повторится,
Не вернется это никогда.
На земле была одна столица,
Все другое — просто города.

Ходасевич и соперник его, литературный критик «Последних новостей» Георгий Адамович были поэтами и литературоведами еще в России. Вокруг обоих группировались эмигрантская поэтическая молодежь. Почти вся эмигрантская поэзия была окрашена тоской, сознанием безысходности, пессимизмом.

Некоторые из эмигрантских писателей вернулись теперь на родину: А. Ладинский, умерший в 1961 году в Москве, успел написать на родине три интересных романа; И. Голенищев-Кутузов, который преподает в МГУ; О. Софиев, работающий в Алма-Ате.

Ирина Кнорринг на родину не вернулась: скончалась в Париже в 1943 году. Вернулись (после войны) отец, муж и сын ее. Вот что писала в 1933 году эта молодая эмигрантская поэтесса:

Россия! Печальное слово,
Потерянное навсегда
В скитаньях напрасно суровых,
В пустых и ненужных годах.
Туда никогда не поеду,
А жить без нее не могу.
И снова настойчивым бредом
Сверлит в разъяренном мозгу:
Зачем меня девочкой глупой
От страшной родимой земли,
От голода, тюрем и трупов
В двадцатом году увезли!

Эмигрантская литература либо переставала быть эмигрантской, либо уходила в любование прошлым, в стилизацию или абстракции. В отрыве от родины могли удержаться (при этом не всегда) на уровне, достойном великой русской литературы, лишь писатели, выехавшие из России уже крупными мастерами.

В частном письме (опубликованном в Советском Союзе) Бунин дал, пожалуй, самую меткую характеристику некоторых «китов» эмигрантского литературного мира: равнодушный ко всему на свете Адамович, на все

на свете кисло взирающий Ходасевич, всему на свете едко улыбающийся внутренне Алданов![1]

Что и говорить, трудно было ожидать большого творческого подъема при таких настроениях!

Но, не в силах создать настоящей, полнокровной литературы, эмигрантщина породила целую армию графоманов. Был среди них один (Виктор Колосовский), на трудовые гроши издававший в Болгарии, голодая и истощаясь, свои рифмованные произведения, которые из года в год посылал в редакции всех эмигрантских журналов и газет. Запомнились такие строки:

...Я писать стихи умею,
И очень я уверен в том:
Вскорах мой выйдет том.

И никто им не занялся, никто не образумил его, не уговорил бросить это дело, а Ходасевич, тот даже приходил в восторг: «Пусть пишет, так не придумаешь... Ведь это же своего рода совершенство! Почти как у капитана Лебядкина из «Бесов».

Но главный контингент графоманов составляли авторы всевозможных лубочных антисоветских произведений, которые своим учителем признавали бывшего донского атамана, пресловутого генерала Краснова.

До своего переезда в Берлин Краснов долго жил во Франции, под Парижем, в небольшом имении, им приобретенном. Денег у него было достаточно. Дело в том, что в эмиграции этот вояка стал писателем. Состряпал добрый десяток романов бульварно-антисоветского жанра, из которых самый известный «От двуглавого орла до красного знамени» был даже переведен на несколько иностранных языков. В литературном отношении эти романы были настолько низкокачественны, что даже в эмигрантских органах печати, близких по духу к Краснову, о них не помещалось рецензии: ругать не хотели, а хвалить прямо-таки не было возможности. Это приводило Краснова в бешенство, и он заявлял, что против него действует «жидо-масонский» заговор молчания. В Гитлере признал вождя, который избавит мир и его, Краснова от большевиков и завладевших эмигрантскими изданиями «жидо масонов».

---

[1] См. «Русская литература», 1961 г., № 4, стр. 156.

Краснов был тем более озлоблен презрением эмигрантской критики, что романы его благодаря своей специфической бойкости действительно пользовались известным успехом у публики с дурным вкусом и старорежимными наклонностями. Так, по свидетельству русской эмигрантки, работавшей в одном из берлинских издательств, которое командировало ее к бывшему германскому императору, кажется для корректуры каких-то его воспоминаний, Вильгельм II каждый вечер громко читал жене и домочадцам главу-другую красновского романа...

Но тем временем в эмигрантских библиотеках зачитывались до дыр такие произведения, как Тихий Дон», «Хождение по мукам» или еще «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».

Идущее с родины живое слово будоражило эмигрантскую трясину.

ГЛАВА 7

ГОРЕ И ТРАГИЧЕСКАЯ НЕЛЕПОСТЬ

Таковы были «верхи» эмиграции, такова была эмиграция, в которой я вращался много лет. Но ведь существовал и другой эмигрантский слой, который мы называли «низами», потому что в него входило много простых людей, разделяющих интересы французов — своих товарищей по труду, и любящих свою родину не свысока, не с желанием переделать ее на свой лад, а как любят мать, с которой невыносима разлука. Среди этих людей еще задолго до войны созрели настроения, которые породили создание «Союза возвращения на родину», «Союза оборонцев»— то есть эмигрантов, готовых защищать СССР, а то и заставляли рабочего или шофера такси, в прошлом белого офицера, ехать в Испанию, чтобы там сражаться на стороне республиканцев. Об этих людях речь впереди. Нет, я не мыслил тогда, что у меня с ними общая дорога!

Даже зрелые годы не изменили моего сознания. Я выехал из России, не зная своего народа, и потому родина ограничивалась для меня «нашим миром». Во Франции я долго не знал французского народа; сытый, довольный буржуа мне вовсе не нравился, порой даже раздражал своим безапелляционным бахвальством, но меня

роднили с ним склонность к тому же жизненному укладу да, пожалуй, подсознательно, еще его и моя обособленность от народа. Я вращался среди французов, которые не замечали простых людей своей страны, и среди русских, которые считали себя неизмеримо выше простых людей в эмиграции. Но эмигрантское горе, горе самых обездоленных из нас, мне все же приходилось наблюдать.

В годы экономического кризиса многие тысячи русских оказались в Париже без работы. К делу помощи наиболее нуждающимся имела ближайшее отношение моя мать, организовавшая кроме общежития для стариков даровую столовую на несколько сот человек.

Среди эмигрантов-просителей была особая категория, действительно вступившая в какой-то круг Дантова ада, категория «отверженных», как их справедливо называли в ту пору.

Вот среди нищих людей, толпящихся в столовой, стоит такой «отверженный». Даже здесь он выделяется постоянной тревогой во взгляде. Положение его ужасающее и, главное, совершенно безнадежное. Позади уже несколько лет тюрьмы, впереди опять тюрьма: он сейчас живет нелегально, ночует где попало, чаще всего под мостом, и страшится каждого полицейского.

За что все это? Этот человек совершил самый незначительный проступок. Нашумел у стойки, выпив лишнего, побил посуду или же — такие случаи были особенно часты,— участвуя с товарищами по работе, французами, в какой-нибудь демонстрации против алчного хозяина, не сразу покорился схватившему его за шиворот полицейскому да от горечи обмолвился по его адресу, крепким словцом. А то был попросту задержан за... бродяжничество, которое считается установленным при отсутствии местожительства и какой-то, пусть минимальной, денежной наличности. Вот и всё. За такие дела исправительный суд обычно приговаривал «нарушителя» условно. Но тут-то и начиналось самое страшное. Всякий иностранец, даже условно приговоренный судом, автоматически подлежит высылке в другую страну. Для бельгийца, для итальянца, работавшего во Франции, высылка была крупной неприятностью; для русского эмигранта — Дантовым адом. У русского эмигранта — особый паспорт; он не имеет подданства. С этим паспортом вообще было не очень легко переехать из одной страны в другую. Вы-

сланного же не примет ни одна страна. Приказа о высылке он не выполнял, потому что не мог выполнить. Тогда двое жандармов отводили такого эмигранта к ближайшей границе — бельгийской, если он «провинился» в Париже,— и, взяв ружья на изготовку, приказывали ему: «Беги!» Тот бежал. Но через несколько минут его хватали бельгийские пограничники. В Бельгии его судили за незаконный переход границы. А затем двое бельгийских жандармов опять приводили его к ближайшей, французской границе, опять брали ружья на изготовку и опять приказывали ему: «Беги!» Во Франции судили его опять за незаконный переход границы. Приговаривали уже не условно, а по-настоящему к нескольким месяцам тюремного заключения. После тюрьмы — новый приказ о высылке. Зная, что его ожидает в Бельгии (а то же самое ожидало его в любой другой стране), порвавший со своей родиной человек переходил на нелегальное положение. Обычно его скоро обнаруживали и опять судили за... неподчинение приказу о высылке! Судили раз, другой, третий, и каждый раз срок тюремного заключения в приговоре увеличивался.

Жандармы с винтовками, полицейские с дубинками, судьи в красных мантиях, величаво восседающие под Марианной-республикой в фригийском колпаке, отлично знали, что перед ними ни в чем неповинный человек. Но этот человек нищ и жалок. Ни один банк, ни одно акционерное общество не заинтересованы в его судьбе: как же такого человека не «подтолкнуть?» Я помню, как один из этих людей, уже пожилой, плакал как ребенок, беседуя с моей матерью. «Объясните же им,— говорил он,— что это бесчеловечно!..»

Приговоры французских судов приводили к страшным трагедиям: люди сходили с ума, кончали самоубийством, но эти приговоры выносились из года в год...

Вот выписка из моих заметок конца 1934 года, в которых упоминаются некоторые из таких дел:

«Василий Белокуров. Офицер русской армии. Во французском Иностранном легионе произведен в младшие лейтенанты. В приказе по армии французским командованием отмечалась его большая храбрость. В 1930 году приговорен к трем месяцам тюремного заключения за драку. Отсидел положенный срок. Приказ о высылке. Выехал в Германию без визы. Германской полицией пре-

провожден обратно к французской границе. Приговорен исправительным судом к двум месяцам тюремного заключения за неисполнение приказа о высылке. Еще раз приговорен к трем месяцам по той же причине. Ныне в тюрьме Сантэ.

Л. Б. Четыре года службы в Иностранном легионе. Уволен вследствие ранений и увечий. Инвалидность: 75 процентов. Был выслан в 1928 году за драку в нетрезвом виде. Три раза переходил границу и три раза был возвращен. Сидел четыре раза в тюрьме. Высылка до сих пор не отменена, несмотря на то, что с отличием сражался под французским знаменем.

Рабочий. Приехал с рабочим контрактом. Тоже осужден за драку. Четыре раза переходил границу Италии и три раза Швейцарии: всякий раз неудачно. Шесть раз был приговорен за невыезд.

Бывший товарищ прокурора. Выслан за бродяжничество. Не мог выехать. В тюрьме.

Штабс-капитан русской армии. Два с половиной года тому назад был приговорен за бродяжничество. (Следует отметить, что до экономического кризиса бродяжничества среди русских не наблюдалось.) С тех пор сидел шесть раз в тюрьме, каждый раз за невыезд из Франции. Считался в свое время хорошим офицером, долго работал на заводе Рено. После первого приговора старался кое-как выкарабкаться. После новой отсидки запил. Ныне — алкоголик. Есть случай, когда русский был приговорен тринадцать раз за нарушение приказа о высылке.

В официальных ответах на ходатайства эмигрантских организаций по таким делам почти всегда объявляется, что «по мотивам общего характера ходатайство не может быть удовлетворено». Легко себе представить, в каких тяжелых условиях оказывается человек, который постоянно находится под угрозой тюрьмы, причем эта перспектива грозит ему до самой смерти.

В двух случаях русские, оказавшиеся в таком положении, лишились рассудка: Седых Иван и Сучев Михаил, оба больные манией преследования в тяжкой форме, содержатся в доме для умалишенных в Воклюз. А еще один русский, Сидоренко Виктор, после двух тюремных заключений и последовавшего третьего отказа в отмене высылки — застрелился 29 апреля 1934 года».

. . . .

К эмигрантским «низам» мы причисляли простых людей, всех тех в трудовой эмиграции, кто определял свое социальное положение не по признаку прошлого, а настоящего. Деникинский поручик из какой-нибудь скромной полубуржуазной, полумещанской семьи, дравшийся за «белую идею», но воспитанный как разночинец, попав во Францию на завод, часто терял связь с эмигрантскими организациями, становился простым человеком, простым рабочим и постепенно привыкал к своему новому социальному положению. Случалось, он денационализировался, уходил во французскую среду,— впрочем, уходил лишь наполовину и в конце концов становился и по языку и по навыкам полурусским, полуфранцузом. Но бывало и так, что он оставался вполне русским, гордился своей страной и, не понимая ее нового пути, все же мечтал о возвращении на родину, решительно не интересуясь спорами между «Возрождением» и «Последними новостями». Такой эмигрант посещал русские рабочие ресторанчики в «русских» кварталах-городках в Париже и под Парижем, искал дружбы с такими же, как он, простыми русскими тружениками, маялся, тосковал и считал свое пребывание на чужбине временным и нелепым. Мы причисляли его к «низам», потому что в эмиграции сохранились нетронутыми, до жути реальными при всей своей очевидной беспочвенности былые социальные перегородки, и такой эмигрант оказывался психологически чужд старому миру, как «имперскому», дворянско-бюрократическому, так и буржуазно-интеллигентскому.

Но едва ли не основную массу «низов» составляла другая категория эмигрантов, которую «верхи» знали совсем мало и с которой почти не общались.

Белогвардейский поручик, ставший на чужбине простым человеком, все же являлся политическим эмигрантом, покинувшим родину из-за нежелания признать советскую власть. А то были люди, попавшие в эмиграцию полусознательно или даже вовсе не сознательно: казаки из белой Донской армии да врангелевские солдаты, сражавшиеся по мобилизации и эвакуировавшиеся из Крыма вместе со своими частями; наконец, застрявшие во Франции солдаты русского экспедиционного корпуса, действовавшего на Западном фронте в первую мировую войну.

Встретить их можно было во многих местах: на шахтах Лотарингии, на текстильных фабриках севера Франции, на фермах юга, на парижских заводах, в Бельфоре, Гренобле, Рубе, Крезо, Южине, Клермон-Ферране да в самых глухих французских деревнях. Люди из эмигрантской верхушки, возглавлявшие всевозможные центры, землячества, объединения, интересовались их судьбой не в большей степени, чем некогда в качестве помещиков, заводчиков и генералов они интересовались на родине судьбой рабочих и крестьян. Крупные эмигрантские благотворительные организации, орудовавшие в Белграде, на заре эмиграции при поддержке друга и почитателя старой России короля Александра, открыто придерживались принципа оказания помощи в первую очередь и даже исключительно лицам, которых революция разорила или лишила прежнего общественного положения. А в Париже и в двадцатых, и в тридцатых, и в сороковых годах можно было сплошь и рядом услышать такие суждения: «Что о нем беспокоиться! Был в России батраком — батрачит и во Франции. Он не деклассирован, как мы». Эмигрантские «верхи» ведь всегда любили смаковать «особенный», «ни с чем не сравнимый» характер своей судьбы.

Многие простые люди попали во Францию следующим образом.

В годы экономического подъема, когда Франция нуждалась в рабочей силе, кое-кто из руководителей казачьих организаций в Париже да из белых генералов на Балканах, где осела большая часть врангелевской армии, занялся вербовкой русских для французских шахт и рудников. Дело это рекламировалось широко. Генералы и казачьи вожаки наладили в балканских странах заключение контрактов с французскими предпринимателями. Так тысячи русских перебрались из болгарских и югославских рудников во французские рудники. Только приехав во Францию, они выяснили, что оплата для них установлена самая низкая. Работать пришлось в крайне тяжелых условиях, жить в дрянных бараках. На питание не хватало денег, зато... бойко работала лавка, где продукты отпускались в кредит. К концу контракта оказывалось, что задолженность рабочего превышает его заработок. Приходилось подписывать новый контракт... А затем разразился экономический кризис, началась безра-

ботица, и прежде всего оказались безработными русские эмигранты. Тут-то обрушилось на них горе — горе простого человека на чужбине, которому трудно даже выхлопотать себе пособие по безработице. А кругом люди, говорящие на чужом языке, непонимающие русского человека, его характера, привычек. Нет, на Балканах, где и язык ближе и народ тоже славянский, все же было лучше. «Отверженные»— вечные тюремные сидельцы — принадлежали в большинстве к этой категории эмигрантов. Многие из них прокляли белых генералов и казачьих вожаков, переправивших их во Францию, когда узнали доподлинно, что эти лица получали от французских предпринимателей по тысяче франков за душу, то есть за дешевого, выносливого рабочего, закабаленного при их посредничестве. Но вот что примечательно: простые русские люди проявили во Франции исключительную моральную устойчивость: процент преступности, точнее — судебных приговоров по уголовным делам (не считая приговоров за «невыполнение» приказа о высылке) падал на их долю самый ничтожный.

Под Монтаржи у казаков был свой хутор, и вели они там неплохое хозяйство. Но многие казаки батрачили в самых тяжелых условиях и там и в других местах. Один из них, еще молодой и красивый парень, как-то приехал в Париж, зашел в «Возрождение» и разговорился со мной. Оказалось, что он стал батраком после того, как потерял работу на заводе. Работа была нелегкая, оплата низкая, но местом своим он дорожил, так как ему приглянулась дочь хозяина. Смущаясь и запинаясь, он обратился ко мне с просьбой составить для него по-французски любовное письмо. «Нехорошо там жить,— говорил он мне.— Не то что девушки, коровы и те ни слова не понимают по-русски. Никак с ними не сладишь!» Письмо я написал, причем он настаивал, чтобы такие выражения, как «голуба», «мое золото», были переведены на французский дословно. Вышло, в общем, малопонятно, но достаточно пылко. Через несколько лет я снова встретил его. Он постарел, отяжелел. Однако выглядел еще молодцом, со своими лихо закрученными усами и французской кепкой, по-казацки заломленной набекрень. Сообщил, что женился на дочери фермера; тот вскоре умер, и теперь фермером стал он сам. Но жизнь по-прежнему не удовлетворяла его: не ладил с женой. «Эксплуата-

торша,— говорил он,— точь-в-точь как ее отец. И кого эксплуатирует? Таких же казаков, как я, которых я устроил на работу. Черства, скаредна, каждый сантим помнит и готова сантим за сантимом вытянуть из самой кожи у рабочего человека. Ссоримся часто. Почему? Потому, что я со своими казаками держусь на равной ноге. «Ты ведь хозяин,— говорит,— а они батраки!» Скверная жизнь!»

Да, русские люди во Франции познали всю тяжесть эксплуатации, нравственно усугубленной еще тем, что работодатели относились к ним вдвойне свысока: как к рабочим и как к иностранцам из самой беззащитной категории бесподданных.

Разбросанные по французским заводам и деревням, эти люди тяготились своей судьбой, сознавая ее трагическую нелепость. Один из них простодушно писал в «Возрождение» о своей тоске. Я запомнил в его письме такие строки:

«Вы все толкуете о какой-то исторической миссии эмиграции. А я вот не понимаю, зачем мне надо маяться здесь. Кому это нужно?»

Такие настроения ярко проявились впоследствии, когда возможность возвращения на родину стала для эмигрантов реальной.

ГЛАВА 8.

ПО ВОЛЕ НЕФТЯНОГО МАГНАТА

В «Возрождении» работало немало способных литераторов, но в политической своей части «Возрождение» было скучной, бездарной газетой, так как дело, которому оно служило, было затхлым, давно обескровленным и проигранным. В результате, хоть большинство эмигрантов и стояло ближе к «Возрождению», у милюковских «Последних новостей», по форме более серьезно писавших о советской действительности и из коммерческих соображений, отводивших полномера «занимательной» информации, читателей было больше; «Возрождение» было делом убыточным, и так долго (пятнадцать лет) газета могла продержаться только благодаря одному человеку: Гукасову Абраму Осиповичу.

Этот человек относился ко мне с симпатией, давая мне возможность сохранять в «Возрождении» кажущуюся независимость, то есть не настаивать в каждом политическом очерке на неизбежности падения большевиков. Относился же он ко мне с симпатией, потому что считал меня журналистом «французской школы», значит, способным хоть немного развеять возрожденческую скуку, которую сам же он насаждал с кропотливой настойчивостью.

Гукасовская симпатия сыграла известную роль в моей жизни. В самой редакции она ставила меня в привилегированное положение по отношению к большинству других сотрудников. Я был на виду в газете, и это — вначале по молодости, а затем по привычке — доставляло мне удовольствие. Создавая иллюзию независимости, гукасовская симпатия прикрепляла меня к «Возрождению». Это было дурное ее следствие. Но, как увидит читатель,. гукасовская же симпатия в конце концов помогла мне встать на правильный путь. Впрочем, это произошло уже, так сказать, от обратного.

Какой же человек этот Гукасов, и поныне здравствующий в Париже?

До революции братья Гукасовы (так они называли себя, хотя их настоящая армянская фамилия — Гукасьян) занимали особо видное место среди магнатов бакинской нефти. Из них Гукасов Абрам считался наименее способным дельцом. Но получилось так, что в то время как у старшего брата Павла главные владения и капиталы были в России, где он и делал карьеру и даже был избран в Государственный совет, у Абрама, сравнительно менее богатого и который всегда Павлу завидовал, плавали в далеких краях наливные суда, основной капитал находился в Англии, да еще были в Румынии нефтяные источники. После революции все другие Гукасовы оказались рядовыми эмигрантами, а Абрам по-прежнему богачом, да еще каким!

Резкими чертами лица, точеной бородкой и осанистой фигурой этот крепкий еще в те годы старик напоминал высеченного из камня ассирийского царя. Да и взгляд у него был какой-то каменный, неподвижный. Жил на авеню Фош, роскошнейшей из всех улиц Парижа, совершенно один, в пышно обставленной, огромной квартире, где почти никого не принимал и которой вообще мало

пользовался, так как проводил все время в конторе или у дамы сердца. Никому решительно не помогал и был жестоко ненавидим всеми своими обедневшими родственниками. Едва ли не главным интересом этого нелюдимого, замкнутого человека была созданная им газета — он видел в ней трамплин для своего триумфального возвращения в Россию.

Печать была его слабостью. Все утро Гукасов читал газеты. Такое само по себе солидное времяпрепровождение, как известно, толкнуло гоголевского сумасшедшего на мысль, что он испанский король. Деньги у Гукасова были в Англии, и потому читал он исключительно английские газеты, при этом консервативные. Это ежедневное занятие убеждало его в том, что он непременно и, вероятно, скоро водворится на Кавказе в качестве нефтяного вице-короля, представляющего интересы какого-нибудь Детердинга. Из своей конторы он поднимался в редакцию, находившуюся этажом выше, с целым ворохом вырезок (сам работал ножницами).

— Глядите,— заявлял он, дымя сигарой,— вот здесь прямо написано, что пятилетка провалилась вконец. А тут — что на Украине ожидается повальный голод. Это особенно хорошо! Отметьте же все это, господа, чтобы поняли наконец иностранцы, как мы правильно оцениваем обстановку в нашей стране.

Вывалив на редакторский стол свои вырезки, Гукасов обычно присовокуплял:

— А теперь, господа, примемся за Милюкова. Докажем иностранцам, что он просто дурак, который не понимает русской действительности и, значит, ничем пригодиться им не может. На эту тему мне нужны стишки, фельетон и солидная передовая.

Впрочем, должен сказать, что с Милюковым Гукасов боролся из рук вон плохо. Дело в том, что богатство он получил по наследству, сам же был дельцом мелкотравчатым, которым владела всего одна страсть: жадность. «Возрождение» приносило ему в день тысячу франков убытка — сумма в то время внушительная, хотя для него лично и не очень существенная. Этот убыток буквально бесил его. Но ему никогда не приходило в голову, что, пожертвовав на первых порах еще большей суммой, он мог бы переманить лучших милюковских сотрудников. Вместо этого он из года в год платил все меньше своим,

так что многие из них (например, Бунин, Тэффи) перешли к Милюкову. Следует, однако, отметить, что в своих разговорах с ними он проявлял своеобразную «заботливость».

Так, у полуслепого поэта Горянского, вечно голодного, вечно оборванного он осведомлялся не раз:

— Видно, мало кушаете? Опять похудели, батенька.

— Да, мало, Абрам Осипович,— отвечал тот.— Разве на то, что у вас зарабатываешь, можно накормить себя и детей?

— Мясо вряд ли каждый день потребляете?

— Где уж там, Абрам Осипович!

— Сочувствую вам, батенька, искренне сочувствую.

Ну совсем как гоголевский герой Иван Иванович Перерепенко в разговоре с миргородскими нищими...

Но Гукасов шел дальше, так как обычно заканчивал беседу нравоучением:

— Все мы должны нести жертвы. Посчитали, сколько я трачу во имя родины? Вот и вы старайтесь для родной нашей матери довольствоваться скудным своим заработком.

А иногда еще присовокуплял:

— Да у вас, батенька, и выхода нет другого. Вы уж так Милюкова в своих стихах изругали, что он все равно вас к себе в газету не возьмет.

Узнав как-то, что сотрудники «Возрождения» прозвали его «Сократом» (из-за очередного сокращения гонораров), он пришел в бурный гнев и, раскричавшись, в беседе с насмерть перепуганным редактором Семеновым наговорил немало лишнего.

— Да поймите же,— поведал он (чуть ли не с пеной у рта, как рассказывал потом Семенов),— что я каждый день трачу на вашу братию столько же, сколько на свою любовницу. Да, да на свою любовницу! Шутка ли сказать! Кажется, имею право на уважение.

Я работал в «Возрождении» с конца 1926 года, когда редактором был еще Струве. Редактор и издатель друг друга терпеть не могли, потому что каждый хотел распоряжаться в газете полновластно. Еще более сгорбленный, чем в те времена, когда я его видел в Софии, но такой же нарочито важный, к себе непомерно почтительный, Струве грузно усаживался за редакторский стол, неистовой своей бородой покрывая все, что лежало в не-

посредственной к нему близости, и принимался за передовую. «Опять поспорю с Лениным»,— говорил он, поблескивая глазами. Но его передовые были отменно длинны и, хотя авторитетны по тону, крайне бесцветны по содержанию. Никакого спора у Петра Бернгардовича Струве не получалось. Он славил консерватизм с важностью действительного тайного советника, укорял мимоходом Витте или Столыпина за какой-нибудь промах да бранил назидательно все того же Милюкова или Керенского. Во всей газете Струве интересовался только своей передовой. Гукасов же больше полагался на выдержки из английских газет. Память о прошлом убеждала бывшего редактора «Освобождения», что он и за редакторским столом «Возрождения»— очень внушительная фигура. Но, восстав против размера какой-то передовой Струве, Гукасов потребовал сначала авторского сокращения, а затем и полного подчинения себе редактора на том основании, что у бывшего марксиста Струве в прошлом лишь «внушительные ошибки», а у него, Гукасова, в настоящем — внушительный капитал. Объявив Гукасова аферистом и торгашом, Струве вместе с группой своих почитателей и учеников распрощался с «Возрождением» навеки.

На место Струве Гукасов назначил редактором Семенова. Это был человек мелкий, малоодаренный, но не лишенный известной ловкости. Он ладил с Гукасовым, хоть и считал его вульгарным торгашом, но линию проводил собственную, в надежде выдвинуться на первый план. Как и Гукасов, Семенов метил высоко; только Гукасова прельщали деньги, а Семенова — министерский портфель. Вся деятельность Семенова в «Возрождении» и вокруг «Возрождения» была направлена к тому, чтобы «в момент падения большевиков» сыграть руководящую роль в формировании «всероссийского правительства».

До революции Семенов был кадетом, учителем гимназии в Тифлисе, где и редактировал какую-то газету. Заметной роли он не играл, но считался специалистом по французским делам, так как прожил во Франции юношеские годы. Поэтому Врангель и послал его в Париж для каких-то оккультных переговоров с окружением премьер-министра Мильерана. Из этого ничего не вышло, так как дни белого Крыма были уже сочтены. Одна-

ко Семенову очень пришлась по вкусу международная антисоветская возня. Он близко сошелся с антикоммунистической лигой Обера и с тех пор уже не переставал ратовать за поход против СССР. Не берусь судить, как случилось, что именно в его голове откристаллизовался и закостенел самый сугубый, никаких компромиссов не допускающий антикоммунизм.

Рассуждал Семенов так:

— Представьте себе, что вы наскандалили в ресторане — с дракой, битьем посуды и прочими бесчинствами. Вам придется посидеть в участке, уплатить штраф, пенять только на самого себя. Так и Россия! И участок и штраф — все это ей полагается за революцию. Как трезвые политики, помиримся с этим в расчете на иностранную интервенцию.

Или:

— Поймите, освободить Россию может только война. Кто бы ни нанес удар — немцы, японцы или англо-французы, все равно. Но немцы, пожалуй, всего вернее... Поймите опять же: чтобы укрепить свою власть, Гитлеру надо повести немцев в легкий победоносный поход. Значит, свергнуть советскую власть ему предназначено самой судьбой. Вот она — высшая слава без особенных жертв! Гитлер, как трезвый политик, конечно, не пожелает чрезмерного унижения России. Мало ли что он там написал в «Майн кампф»!..

Наслушавшись семеновских поучений, язвительный от природы Ходасевич как-то сказал, выходя из редакторского кабинета:

— Беда с этим человеком! Логика железная, а точка отправления дурацкая.

В эмиграции Семенов не пользовался особым авторитетом. Он мало кому импонировал, писал скучно, ораторским даром не обладал, больше мямлил и притом назойливо. Но ничто его не обескураживало. Деятельность его была очень широкой и, так сказать, эклектической,— проследить ее интересно, ибо в ней, как в фокусе, нашел свое отражение боевой эмигрантский «активизм» предвоенной поры.

...Вот Семенов пригласил к себе Бажанова. Этот щуплый человечек, всегда одетый в серое, с каким-то серым лицом, в котором запоминаются только холодные, испытующие глаза, малоразговорчивый, напускающий на се-

бя таинственность, да и в самом деле таинственный,— фигура достаточно любопытная. В конце двадцатых годов нелегально пробрался из Советского Союза в Персию, где, как уверяют, его ждал уже английский самолет. Объявил, что был личным секретарем Сталина, и опытным, бойким пером написал о Сталине объемистую книгу «воспоминаний», которая долго служила главным источником для всевозможных «исследований» на тему о «тайнах Кремля». У Бажанова многопудовый самодельный архив с подробнейшей картотекой: «всесторонние справки» о каждом, кто входит или входил в руководящие органы советской власти. Это его специальность снабжает сведениями иностранную печать и, как говорят, иностранные разведки. К эмиграции в целом относится свысока: только люди «советской формации», как он сам, могут, по его мнению, действительно пригодиться в международной антикоммунистической акции...

Московские процессы конца тридцатых годов окрыляют одинаковыми надеждами все эмигрантские «центры» от эсеров до монархистов. «Это крах режима,— вещает Семенов,— еще немного, и большевики уничтожат друг друга без остатка». Бажанов более осторожен в выводах, к тому же он не хочет делиться всеми плодами своих изысканий. Но после долгих расспросов Семенову все же удается выведать у него кое-что пригодное для его собственных умозаключений: кто, мол, «под угрозой», кто пока что «твердо стоит на ногах», кто «в блоке» с кем и против кого. Радостно покопавшись в ворохе бажановских «сенсаций», Семенов спешит к французским знакомым или на публичном собрании, где терпеливо дожидается возможности отвести в угол какого-нибудь третьестепенного парламентария, чтобы сугубо конфиденциально сообщить ему самую последнюю информацию «о том, что творится в Кремле». Так ведь создается репутация хорошо осведомленного человека...

...После Бажанова — Гегечкори, который был министром иностранных дел грузинского меньшевистского правительства и все не может утешиться, что больше не занимает этого поста. Внешностью Гегечкори вовсе не отвечает ходячему буржуазному представлению о социалисте. Это типичный хлыщ, жуир, уже пожилой, но молодцеватый, которому благосклонно улыбаются на Елисейских полях «профессионалки любви» самого высокого

полета. Семенов одобрительно говорит, что от социализма остались у него лишь солидные связи с окружением Леона Блюма. У Гегечкори не только богатый вид, он и в самом деле богат, но об источнике своих доходов умалчивает. Надменен, честолюбив и решителен: ждет не дождется, когда снова пробьет его час. Семенов считает его очень интересным и крайне полезным для «общего дела» человеком. Гегечкори весь в антисоветских хлопотах. Едет в Лондон, а оттуда в Берлин, и всюду у него конспиративные совещания, «полезнейшие разговоры». Возвращаясь от него, Семенов сообщает под секретом, что Гегечкори только что съездил в Варшаву. Но особенно восхищает Семенова, что из Польши Гегечкори удалось связаться с... Анкарой через тех же пилсудчиков, которые устанавливают теснейшие отношения с турецкой разведкой. «Да, ценнейшая личность,— говорит Семенов,— он как-то связан со всеми разведками; но, впрочем, ни с одной из них окончательно,— а это ведь тоже мастерство»!

...С благословения Гукасова Семенов готовит статью против Деникина — вежливую, но в меру своих полемических дарований иронически-назидательную В очередном своем публичном докладе о международных делах Деникин обрушился на тех, кто (как Семенов) проповедует, что стоит только гитлеровским дивизиям хлынуть через советскую границу, как Красная Армия обязательно побежит. «А может, не побежит!»— патетически выкрикнул вдруг Деникин, срывая дружные аплодисменты значительной части аудитории, в которой эти слова пробуждали национальную гордость, столь упорно ущемлявшуюся семеновыми. «Нет, не побежит,— продолжал Деникин.— Храбро отстоит русскую землю, а затем повернет штыки против большевиков!»

Семенова тревожат больше всего аплодисменты, наградившие Деникина: «Мутит только, с толку сбивает молодежь. Во-первых, совершенно нереальная концепция, а во-вторых,— тут Семенов проявляет известную проницательность — Деникин попросту льет воду на мельницу своих покровителей. Как и в 1919 году, ждет спасения от бывших союзников. Выражаясь советской терминологией, делает ставку на другой империализм! Но Англия да Америка далеко... Когда еще соберутся! А немцы рядом, хоть сейчас готовы в бой. В этом все дело!».

...Семенов крепко не любит младороссов: потому что они хотят сочетать царя с Советами, «пригладить» революцию, короче говоря,— все же считаются с революцией, как с реальным фактом.

Семенов же — реставратор в полном смысле этого слова. Революция для него лишняя страница русской истории, которую можно вырвать без остатка. «Столкновение двух миров неизбежно,— говорит он,— и нам, эмигрантам, суждено сыграть первейшую роль. Пусть все будет иначе, чем при большевиках,— вот лозунг завтрашнего дня! Знаете, что ожидает Россию после войны? Разгул капитализма. Полный безудержный разгул!»

Семенов очень любит так называемых «нацмальчиков». Это небольшая, но крайне активная организация, именуемая «Национально-трудовым союзом нового поколения». В сущности, мальчиков там нет: образовали ее вполне зрелые мужи, но расставшиеся со своей молодостью уже в эмиграции. Это смена, но смена стареющая, за которой ничто не следует: настоящей эмигрантской молодежи ближе интересы их французских сверстников.

Предвоенные годы. «Нацмальчики» собираются на квартире уже упоминавшегося мной Столыпина, который живет комфортабельно на средства богатой жены-француженки и связан с архибуржуазными французскими кругами. Эта организация представляет собой попытку продлить на одно поколение те вожделения и дух, с которыми в годы гражданской войны шли юнкера под знамена Деникина и Колчака. Некогда, на заре эмиграции, столыпинские единомышленники стреляли в полпредов. Теперь, накануне второй мировой войны, «нацмальчики» уже не прибегают к индивидуальному террору, они готовятся к «решающим массовым выступлениям». Октябрьская революция представляется им порождением каких-то коварных сил, абсолютно чуждых традициям российских кадетских корпусов и офицерских собраний, где подвизались герои купринского «Поединка». «Нацмальчики» никогда не заглядывают в книги советских писателей, в которых многие эмигранты мучительно ищут ответа на неразрешимые в эмиграции вопросы. Что происходит «там?» Как живут, о чем мечтают, к чему стремятся русские люди по ту сторону рокового рубежа? По-

добных вопросов не существует для «нацмальчиков», все для них ясно и просто: «там» — «советчина».

Семенову любо с ними. Это его подлинные ученики, о которых он говорит с умилением: «Вот представители национальной России».

Я знал большинство их лидеров, хоть и не коротко. Серость их мышления полностью отражалась в их писаниях и речах. Ни малейшего проблеска живой мысли, одна лишь вконец разжеванная и давно выплюнутая историей белогвардейская жвачка! Встречи с такими людьми уже тогда рождали во мне убеждение, что ценность всей эмигрантской акции равна в историческом плане нулю. Но только грозные события последующих лет поставили передо мной во всей ясности уже неотвратимый вопрос: а если так, то где же правильный путь?

...Семенов в особенно хорошем настроении. Через возрожденческого репортера Алексеева, который тесно связан с мелкими осведомителями французской полиции, он узнал, будто один из милюковских журналистов где-то когда-то разговаривал с сотрудником советского торгпредства. Надо поручить тому же Алексееву (он пишет немного лучше старорежимного дворника, но в редакции никто, кроме него, не берется за эти дела) лишний раз «намекнуть» в газете, что Милюков окружен платными агентами большевиков.

Семенов вообще любит доносы, «разоблачения» и особенно конспирацию. Совершает поездки в Рим, где встречается с какими-то фашистскими руководителями второго или третьего ранга, и, вернувшись, взволнованно сообщает, что мудрый дуче, гениальнейший Муссолини «с полным пониманием» отнесся к эмигрантским планам «возрождения национальной России». Но при этом Семенов подчеркивает, что все это тайна, которую он откроет только в нужный момент...

Сам по себе Семенов был далеко не самой примечательной личностью в «Возрождении». Некоторые гукасовские сотрудники отличались достаточной оригинальностью. О них следует рассказать.

Вот, например, Ольденбург. Это сын известного ученого, министра Временного правительства, который, приняв новый строй, остался в России, где и продолжал до смерти свою научную деятельность.

Его сын нового строя не принял. Ольденбург-младший был внешне весьма неряшливым человеком, многим он казался несколько придурковатым. Посмеивались над его рассеянностью, над тем, что он никогда не причесывался, не следил за ногтями, стригся раз в полгода, часами пощипывал бороду и по поводу каждого политического события громко спрашивал, ни к кому определенно не обращаясь: «Интересно бы знать, как отнесутся к этому большевики?» В нем было немало ребяческого, и он мог долго смеяться над каким-нибудь юмористическим рисунком в детском журнале. Одна шаловливая машинистка незаметно прикалывала сзади к его пиджаку разноцветные ленточки, и он так и ходил по редакции, обдумывая очередную статью. Никогда не сердился, а лишь как-то беспомощно улыбался, когда явно шутили над ним. А между тем это был человек интересный, даже одаренный, хоть и однобокий. Спросите его, например, какое правительство было в таком-то году в Аргентине или же как Бисмарк отзывался в интимном кругу о Горчакове. Он тотчас ответит ясно, обстоятельно и еще добавит какие-нибудь характерные подробности. В области международных отношений он был настоящей живой энциклопедией. В час-другой мог написать передовую по любому внешнеполитическому вопросу, всегда начиненную историческими справками, живую, часто даже увлекательную по форме, но неизменно оканчивающуюся примерно так: «А это и на руку большевикам» или напротив: «Большевикам это не придется по вкусу».

Такими писаниями и ограничивалась его политическая деятельность.

Не приняв нового строя, Ольденбург-младший оказался за границей, где жизнь его сложилась невесело: обремененный большой семьей, он зарабатывал у Гукасова сущие гроши. Умер Ольденбург в самом начале войны. В последние годы жизни он был занят «капитальным исследованием», заказанным ему «Союзом ревнителей памяти императора Николая II», силясь «раз и навсегда доказать», что Николай II был проницательным и искусным правителем, что Распутин никакой роли не играл, что не было вообще никаких «темных сил» и что Россия при Николае II твердо вступила на путь благоденствия, да помешали разные смутьяны, проложившие дорогу революции.

Дочь его Зоя родилась за границей, выросла во Франции и стала француженкой не только по паспорту, но и по культуре, тем самым избавившись от густой паутины отцовского влияния. Это не просто рядовая француженка русского происхождения, а известная французская писательница, удостоившаяся за свои романы, в которых она воспевала Францию средних веков, одной из крупнейших французских литературных премий.

Кстати, и Семенов оставил после себя не одних «нацмальчиков». Вырастил он и собственного юнца, но в постоянных хлопотах о «возрождении России» так и не удосужился научить его русскому языку — и тот тоже стал французом. Однако сын Семенова сделал совсем иную карьеру: поступил в политическую полицию, дослужился до комиссара, а после освобождения Франции попал на каторгу, как сообщник оккупантов, расправлявшийся в фашистских застенках с французскими патриотами.

Очень характерной фигурой был П. Муратов. Недавно в московском букинистическом магазине я перелистывал его книгу «Образы Италии», о которой так много людей дореволюционного поколения сохранило пленительное воспоминание: как плавно, умно и изящно писал этот человек о красотах Фьезоле или Перуджии!.. Он был знатоком искусства, древнерусского, в частности, и византийского, и верил в какой-то идеал эстетской «утонченной цивилизации», к которому — он искренне этим гордился — может приобщиться и Россия, раз музыкальность и геометричность рублевского письма вошли в историю европейской культуры как последний живой отзвук великой эллинской живописи. Ему удобно жилось и удобно мыслилось до революции: рано достигнутое признание, выставки, галереи, по которым он проходил, раскланиваясь, как равный, со знаменитостями, статьи для толстых журналов, укрепившаяся уверенность, что и он вносит вклад в дело «окончательной европеизации» культурной верхушки русского общества... Когда же рухнуло старое здание, ветхости которого он упорно не замечал, что-то затуманилось в уме этого человека, он оказался неспособным по-новому передумать смысл происходящего, а потому возненавидел революцию мстительно и безапелляционно. Увлечение искусством постепенно отошло у него на второй план, и новым этапом его деятель-

ности явились писания политические, в которых он разбирал и экономику и стратегию, поясняя в частных беседах, что полководческое искусство и умение управлять людьми — такие же проявления космического божественного духа, как живопись или зодчество.

Я знал его пятидесятилетним, напыщенным и очень самоуверенным человеком (постоянно поднимавшим голову, чтобы скрыть низенький рост). Мысли свои он высказывал с охотой и исчерпывающей полнотой.

— Революция,— заявлял он,— это проявление исконного русского варварства, новая пугачевщина, тот самый русский бунт, который Пушкин признал бессмысленным и беспощадным. Во имя России мы должны содействовать искоренению этого варварства. Любой ценой! Все лучше — даже расчленение России. У России тот же путь, что и у Европы, или никакого пути. Вся история России была борьбой культурных верхов с нашей проклятой татарской наследственностью. А как рухнула плотина, ими воздвигнутая, сбылись страшные блоковские слова: да, к Западу мы действительно обернулись своею азиатской рожей. Во имя России будем же благодарны всякому, кто по этой роже ударит. Россия болеет дурной болезнью, и болезнь эта страшно заразительна. Вам не нравится Гитлер? Тоже, скажете, варвар? Но Гитлер — противоядие. Тем хуже для нас, что в роковые годы мы могли выдвинуть только бездарностей, вроде Керенского или Деникина, и тем хуже для французов и англичан, что вовремя не сумели расправиться с большевизмом. Я бы сказал так: сейчас единственное спасение в Гитлере. Спасение для всей Европы!

В общем, он говорил то же, что Семенов, но с большим весом и писал на эти темы так же плавно и изящно, как некогда о Венерах Боттичелли или Джорджоне.

Помню, как он доказывал мне, что в Советской России (это было в середине тридцатых годов) не может быть никакого подъема, энтузиазма, никакого служения отечеству.

— Вот вам кажется, что возрождается армия с настоящими воинскими традициями,— говорил он,— что в этой армии какой-то дух, идеал. Вы не знаете советской действительности. Сидит себе там этакий комбриг с ромбами и думает про себя: «Ага, армию стали сла-

вить,— значит, можно похлопотать о лишней комнате или о дополнительном пайке». Вот и всё! И этот комбриг — олицетворение всего советского, то есть среднего советского человека во всем его унижении, во всей его материальной и духовной нищете.

Муратов писал в «Возрождении» каждый день, статьи его так и были озаглавлены: «Каждый день». Откликался на все события с точки зрения «спасения европейской цивилизации» и сравнительно очень недурно у Гукасова зарабатывал. Но не скрывал, что работа эта не удовлетворяет его, что стремится к более «конкретной» деятельности. Стал реже приходить в редакцию и вскоре, никому не сообщив, зачем и на какие деньги, уехал в Японию, тогда воевавшую с Китаем. На Японию эмигрантские активисты возлагали не меньше упования, чем на гитлеровскую Германию. Вернулся оттуда очень довольный, внешне оперившийся, а затем, бросив совсем журналистику, перебрался в Лондон, опять-таки никому не сказав, ни с какой целью, ни на какие деньги он там собирался жить. Надвигалась вторая мировая война; легко было заключить, что каким-то иностранным кругам понадобились конфиденциальные рефераты этого «эксперта по советским делам», умевшего красиво, выпукло, а главное, внушительно излагать даже те проблемы, о которых имел поверхностное представление. Во всяком случае, Гукасов и Семенов стали о нем говорить с особым почтением, как о человеке, заручившемся покровителями для выполнения «очень нужного дела».

Кроме здесь упомянутых работали в «Возрождении» Иван Шмелев, автор замечательной повести «Человек из ресторана», Илья Сургучев, автор «Осенних скрипок», пьесы, которая некогда шла чуть ли не во всех российских театрах, Борис Зайцев, всегда остроумная Тэффи, фельетонисты Александр Яблоновский, Амфитеатров, бывший редактор «Аполлона» Сергей Маковский, балетоман Плещев и другие, немало написавшие и хорошего и дурного на своем веку. Но в этой главе я выбираю лишь наиболее характерных, таких, которые с особой полнотой отражали идеологию гукасовского печатного органа.

Рожденная эмигрантским бытием, идеология эта сочетала официально проповедуемый лозунг «Во имя России!» да порой еще самый кичливый шовинизм («Все

равно, рано или поздно, всех шапками закидаем!») с неверием в Россию, с неверием в русский народ, с признанием за ним какого-то «греха», который он должен искупить, чтобы обрести равноправие с другими народами.

Один из идеологов «Возрождения», граф Александр Салтиков, глухой старик с умом отточенным и циничным, прямо заявлял (в частных беседах еще откровеннее, чем в писаниях), что только чужеземная прививка способна двинуть вперед Россию, что империя была создана выходцами из других стран, преимущественно из Германии, что Брюсы, Минихи, Остерманы были лучшими проводниками российской великодержавности, что сам Иван Грозный, подвыпивши, кичился не чисто русским происхождением.

Эта идеология рождала у некоторых пессимизм. Так, одно время сотрудничавший в «Возрождении» публицист Вейдле, тоже возводивший в культ понятие «европейской христианской цивилизации», приходил к выводу, что настала эра некоей третьей России, в корне отличной от первой, то есть допетровской Руси, и от второй, начинающейся с Петра,— России дворянской культуры. Третья Россия, говорил он, обрела, быть может, новую силу, но в плане культуры эта третья Россия — шаг назад, и с этим, увы, ничего не поделаешь.

Были в «Возрождении» и исключения. Рощин, например, который еще до меня вернулся на родину и в 1956 году скончался в Москве. Был Иван Лукаш, умерший до 22 июня 1941 года.

Лукаш родился в Петербурге и был сыном швейцара Академии художеств. Близость к памятникам культуры, к хранилищу классического искусства с детства наложила на него свою печать. Величие имперской столицы озарило его, и ему захотелось, чтобы вся Российская держава была столь же гармоничной и ясной, как фасады петербургских дворцов. Он сотворил себе идеал просвещенной и великой империи, объединяющей под знаменем Державина и Пушкина, Петра и Екатерины многие культуры и народы. В русском XVIII веке видел он зачатки этого «светлого царства». Монархия Александра III и Николая II, псевдонародничество и непримиримое православие представлялись ему попранием лучших имперских традиций. Поэтому молодым вольноопределя-

ющимся Преображенского полка он радостно приветствовал Февральскую революцию. Но Октябрь показался ему хаосом, ниспровергающим в бездну все, что он лелеял и что вдохновляло его.

Писать он начал совсем молодым, еще в России, и многие предсказывали ему тогда большую будущность. Но в эмиграции его дарование уже не могло найти живительной почвы. Коренастый и круглолицый, чисто русской внешности человек, Иван Лукаш тоже уходил от действительности, от современной России, в мир призраков, но искренне, любовно тосковал по родине и, чтобы тоску эту заглушить, погружался в поэтизацию прошлого. Он не принял революции, но муратовской ненависти к революции в нем не было. Он любил писать о веселой царице Елизавете, о суворовских гренадерах, о баталиях и пирах той поры, когда прорубившая в Европу окно молодая Россия впервые изумила и испугала высокомерный западный мир. Писания его были стилизацией, но не жеманноутонченной, как у художников «Мира искусств», а крепкой, даже нарочито грубоватой по тону, стремившейся передать героику русского крепостного мужика в пудре и треуголке, переходившего Чертов мост или штурмовавшего Измаил. И все же это было только стилизацией: чего-то непосредственного, действительно заветного не хватало в творчестве Лукаша.

ГЛАВА 9.

ВЫСТРЕЛ ГОРГУЛОВА

Шестого мая 1932 года французский журналист, репортер «Возрождения» при парижской префектуре полиции, сообщил по телефону, что президент республики убит. Это произошло на торжественном открытии книжной выставки. Стрелял «какой-то иностранец», он арестован, и личность его сейчас устанавливается в ближайшем полицейском комиссариате.

Я был тогда парламентским корреспондентом газеты и ведал вопросами, связанными с французской политикой. Через десять минут после этого звонка я уже подъезжал к комиссариату.

У входа встретил знакомого редактора большой французской газеты.

— Вот как!— сказал он, здороваясь со мной.— Наших президентов решили убивать!..

Я взглянул на него в недоумении, но он ничего не добавил и поспешил к своей машине.

«Куп-филь»— специальный журналистский пропуск — открывает в Париже двери чуть ли не всех официальных учреждений. Я пошел вслед за другими журналистами и оказался в битком набитой комнате. Протиснулся и прямо перед собой увидел лицо, которое в то же мгновение врезалось мне в память на всю жизнь. Круглое, ноздреватое, в крови и в подтеках.

Что-то в этом лице мне показалось знакомым, странно привычным. Я никогда прежде не видел его, но я знал т а к и е лица. В первую секунду я ощутил это еще смутно, но в следующую уже услышал голос человека с этим лицом. Он выговаривал французские слова с трудом. Однако я понял его сразу, и меня ужаснула мысль, что, вероятно, я один могу здесь так легко его понять. Да, в этой толпе французских журналистов и полицейских он был единственным моим соотечественником, таким же русским эмигрантом, как я!

Изуродованное русское лицо, русский выговор... А в глазах, едва видных из-под отеков,— мелькающая быстрыми вспышками глупая, безумная, жуткая гордость.

Крепко избитый при аресте, еще в угаре только что совершенного им злодеяния, Павел Горгулов высказывал свое политическое кредо, найдя наконец аудиторию, жадно ловящую каждое его слово.

Он стрелял в президента Поля Думера не из личной вражды. Своим поступком хотел разбудить совесть мира, стрелял, чтобы протестовать против сношений Франции с Советами. Стрелял из ненависти к большевикам, во имя России.

Все это он то выкрикивал, то бормотал, обводя нас мутным взглядом. Выше ростом державших его полицейских, он стоял передо мной словно какое-то чудовище, грозно и неумолимо наседающее на всех нас, слушающих его в оцепенении.

— Это ужасно! Ужасно!— говорил я, спускаясь по лестнице, приятелю — французскому журналисту.

И тот сразу понял, что именно ужасало меня больше всего.

В этот майский вечер в русском Париже царило смятение. Ожидали самого худшего: разгрома русских ма-

газинов и ресторанов, избиения русских эмигрантов на заводах, взрывов негодования против всех нас.

Ничего этого не произошло. Кровавое горгуловское вмешательство во французские внутренние дела возмущало и самых убежденных противников малопопулярного президента. Однако французский рабочий понимал, что Иван Петров или Петр Иванов, с которыми он каждый день встречается у станка, неповинны в убийстве Думера.

Но моральная ответственность «верхов» эмиграции за выстрел Горгулова была несомненной. Этот выстрел лишь доводил до абсурда, до сумасбродства совершенно определенную политическую идеологию: «Большевизм — величайшее зло, и всякий, кто поддерживает сношения с большевиками,— их сообщник». Не только «Возрождение», но и Керенский за десять дней до этого славили Штерна, стрелявшего в Москве в германского дипломата фон Твардовского, и объявляли его поступок пламенным протестом во имя России.

Когда я вернулся в «Возрождение», там уже знали, что в президента стрелял русский эмигрант. Телефонистка плакала, машинистки дрожали от страха. Я быстро вошел в редакторский кабинет, где вокруг Гукасова и Семенова собрались главные сотрудники. Меня ждали с нетерпением.

— Ну что? Как? Что он говорит?— послышалось со всех сторон.

Мой рассказ произвел потрясающее впечатление. Все долго молчали в полной растерянности. Гукасов побледнел, Семенов раскрыл рот и так и не нашелся что сказать. Лишь Ольденбург остался невозмутим. Теребя бородку, он первый заговорил своим тоненьким голосом:

— Интересно бы знать, как к этому отнесутся большевики.

— Что значит «как отнесутся?» Да это они всё устроили! Чтобы посеять смуту и спровоцировать французов против нас! Горгулов — большевистский агент!

Это произнес звучным басом, апоплексически покраснев, видный возрожденческий журналист, которого я еще не упоминал, Н. Чебышев, бывший прокурор Московской судебной палаты и ближайший сотрудник Врангеля.

Из всех возрожденцев этот грузный, осанистый человек, был, пожалуй, самым пылким приверженцем «белой идеи». Гукасов и Семенов любили толковать о «конъюнктуре». Чебышев же был цельной натурой и потому откровенно гордился тем, что рассуждает, как юнкер в 1918 году.

Способный, даже талантливый (в особенности как оратор), но непримиримый ко всему, что шло вразрез с его умонастроением, он считался самодуром, при этом самого бурного темперамента. Рассказывали, что он в бытность московским прокурором, поспорив у себя на званом обеде с неким деятелем юстиции, запустил в него жареной индейкой. Я стал возражать Чебышеву. Сказал, что после того, как я видел и слышал Горгулова, у меня не могло быть сомнений в его искренности.

Чебышев покраснел еще больше, скомкал газету, швырнул ее на пол и, повысив голос, прочел мне нравоучение, обвиняя меня в недопустимой наивности, извиняемой только тем, что я не успел ознакомиться со всеми «чекистскими вывертами».

Заключение вынес Гукасов, все еще бледный от пережитого волнения, но которого слова Чебышева несколько ободрили:

— Да, будет очень эффектно, если нам удастся доказать, что он действительно большевик!

Во всех странах мира «верхи» эмиграции — от монархистов до эсеров — провозгласили Штерна героем и с тем же единодушием отреклись от Горгулова.

Мысль Чебышева, вероятно, покажется читателю бредом маньяка. Убийца вопит о своей ненависти к новому строю в России, этой ненавистью пытается оправдать совершенное им преступление, а Чебышев на это с хитрой улыбкой: «Враки! Перед вами самый настоящий большевик».

Чебышеву страшно узнать себя в Горгулове. А потому на его бред он отвечает тоже бредом. Но ни тому, ни другому не выйти из порочного круга. Бред у них одинаковый: эмигрантский, порожденный ненавистью и собственным унижением.

Все так! Однако в этот же день та же мысль, что и Чебышеву, Гукасову и Семенову, пришла еще нескольким лицам, которые высказали ее на весь мир.

То не были эмигранты, потерявшие родину. Униже-

ния они не познали. Память о корниловской «белой идее» и Добровольческой армии никак не волновала их, а к последним представителям этой армии они относились с высокомерием, как к побежденным. Они не бедствовали, как Чебышев, на гукасовских хлебах, а кормились от воротил, для которых сам Гукасов был мелкой сошкой, давно занимали высокие посты и пользовались репутацией, очень способных, ловких и цепких политических дельцов.

Примерно в то же время, что и в «Возрождении», состоялось еще одно совещание, посвященное Горгулову. В нем участвовали премьер-министр Франции Андрэ Тардье, министр юстиции Поль Рейно, префект полиции Кьяп и еще некоторые сановники буржуазной республики. Министра труда Пьера Лаваля не было среди них, но с ним, конечно, советовались, так как он в те годы чередовался на посту премьера со своим единомышленником Тардье и был вторым лицом в его кабинете. Согласно сообщению министерства внутренних дел, это совещание установило, что Горгулов не состоял в связи с русскими эмигрантскими кругами и являлся... агентом Коминтерна.

Чебышев ликовал, хвалясь своей проницательностью. Гукасов потирал руки от удовольствия. «Возрождение» могло обвинить в совершенном злодеянии большевиков, ссылаясь на официальный французский источник.

Чем же объясняется такое правительственное сообщение, которое, как стало известно в кулуарах парламента, было составлено самим премьер-министром, пояснившим при этом своим коллегам по кабинету, что сведения о принадлежности Горгулова к «агентуре Коминтерна» получены им от префекта полиции Кьяпа?

Андрэ Тардье был любопытной, в известном смысле даже эффектной фигурой. Такие крупные деятели, как Клемансо, Пуанкаре, Бриан, считали его своим самым одаренным сотрудником, восходящей звездой первой величины. Помню его выступление в Сенате в качестве министра земледелия. Тардье только что был назначен на этот пост и никогда до того (так часто бывает во Франции) не имел прямого касательства к сельскому хозяйству. Говорил он чуть ли не два часа о зерне, о картофеле, и, хотя доклад его был сугубо техническим, сенаторы, публика, журналисты (я в том числе) прямо заслушивались. Любой вопрос он умел излагать с блес-

ком, как бы жонглируя своим мастерством. Но кроме «блеска и многогранности» деятельность Тардье была отмечена темными биржевыми махинациями. А в общем этот политик с очень длинными зубами (в буквальном смысле и в переносном — поэтому карикатуристы часто его изображали акулой), последовательный и закоренелый реакционер, желавший разрыва с советским правительством, был прежде всего именно жонглером, своего рода политическим фокусником, не останавливающимся ни перед какими «подтасовками». Он, например (я не раз слышал это в кулуарах палаты), не гнушался платными услугами мускулистых парней крайне мрачного вида, обязанность которых состояла в том, чтобы подходить к нему во время предвыборных собраний и со зловещими угрозами и самыми страшными ругательствами подставлять кулак к его лицу: выборщики могли при этом любоваться олимпийским спокойствием, которое сохранял Тардье в «минуту опасности».

В период, о котором идет речь, положение Тардье сильно колебалось. Своими диктаторскими замашками, покрикиванием с трибуны на депутатов он вызвал недовольство даже единомышленников; французские буржуазные парламентарии очень не любят, чтобы с ними публично обращались, как с мальчишками. Но главное — страна левела. В мае 1932 года происходили выборы новой палаты. Первый тур принес несомненный успех «левому картелю». В окончательном исходе выборов как будто не приходилось сомневаться. Но за два дня до второго тура прогремели выстрелы Горгулова — как нельзя более кстати для Тардье и для главного его помощника по борьбе с коммунизмом, пронырливого и на все готового Кьяпа. Настолько кстати, что уже тогда ставился вопрос: не было ли горгуловское преступление организовано французской тайной полицией? Горгулов стрелял «во имя России», но услуг он оказывал французской и международной реакции, точно так же, как по мере своих сил старались помочь ей эмигрантские активисты вроде Чебышева и за ним стоявшего Гукасова. Но план Тардье и Кьяпа не удался: страна не поверила сообщению министерства внутренних дел. Второй тур голосования подтвердил результаты первого. Выстрелы Горгулова не помогли Тардье ни удержаться у власти, ни вызвать разрыв франко-советских отношений.

Тут, однако, произошел небольшой и довольно комический эпизод, о котором я расскажу по личным воспоминаниям.

Покидая Елисейский дворец (резиденцию французских президентов), куда он приходил поклониться праху Поля Думера, бывший президент республики Мильеран сделал журналистам заявление, которое было передано так, будто он доподлинно знает, что Горгулов — агент Коминтерна.

Новое ликование Чебышева, в котором вовсю разыгрался прокурорский задор. Гукасов высказывает надежду, что «после этого» газета уже не будет приносить убытков. Но что в точности знает Мильеран? Еду к бывшему президенту.

Некогда прогремевший на весь мир социалистический лидер, затем первый социалист, вошедший в буржуазный кабинет, где его коллегой оказался палач коммунаров генерал Галифе, адвокат с миллионными гонорарами, после первой мировой войны премьер-министр, признавший власть Врангеля, наконец, президент, ярый враг коммунизма, Мильеран отошел после своей вынужденной отставки в 1924 году на второй план. Он был сенатором, но политической роли не играл, лишь изредка выступая публично, преимущественно с антисоветскими заявлениями.

Я не знал его лично, но не сомневался, что он примет представителя «Возрождения».

Доступ к бывшему главе государства не был обставлен никаким этикетом. Этот богатейший человек снимал буржуазную квартиру средней руки (он был, по-видимому, скуповат). Лакей во фраке провел меня в гостиную, куда менее пышную, чем у других знаменитых адвокатов. Не прошло и минуты, как ко мне вышел сам хозяин.

Согнутый, уже очень старый, но крепкий, коренастый, с живым взглядом из-под густых нависших бровей и с щетинистыми белыми волосами, зачесанными под гребенку. В общем, тот самый Мильеран, облик которого тогда еще был известен чуть ли не каждому жителю Франции.

Я был уже достаточно поражен той рекордной поспешностью, с какой он меня принял. Но удивление мое возросло, когда я ясно прочел на его лице самое непосредственное, прямо-таки жадное любопытство.

— Ах, как я рад вашему посещению!— были первые его слова.— Скажите же мне скорей, кто такой этот Горгулов?

— Я как раз к вам пришел, господин президент, чтобы узнать об этом,— отвечал я.— Судя по вашему заявлению, вам известно, что Горгулов — агент Коминтерна. Нам очень хотелось бы услышать от вас об этом подробнее.

Мильеран развел руками.

— Я никогда не делал таких заявлений,— пояснил он, сильно разочарованный.— Опять газеты всё перепутали! Я просто повторил сообщение министерства внутренних дел, а больше я ничего не знаю...

Затем он усадил меня рядом с собой на диван и стал долго расспрашивать об убийце своего преемника. Разочарование его росло по мере того, как я говорил ему, что мы никакими сведениями о принадлежности Горгулова к Коминтерну не располагаем.

Итак, надежда на Мильерана не оправдалась. Вскоре пришло к власти правительство Эррио. Продиктованное Тардье сообщение было признано следственными органами абсолютно голословным и вошло в историю этих лет как чисто пропагандистский предвыборный маневр. Даже правая французская печать не настаивала, что Горгулов —«агент Коминтерна». Молчало на эту тему и «Возрождение». Но Чебышев, поддерживаемый Гукасовым и Семеновым, продолжал упорствовать: «Я докажу это, умру, но докажу».

Горгулова судили три дня. Я сохранил об этом процессе тягостное воспоминание. В торжественной обстановке, перед судьями в красных мантиях, обращаясь к присяжным, которые слушали его с выпученными от изумления глазами, Горгулов заявлял, что своим выстрелом хотел спасти Россию и Европу от большевиков. Все время пытался произнести речь, перед каждой своей тирадой обводил зал блуждающим взглядом и глухо взывал: «Франция, слушай меня!» Говорил монотонным голосом, иногда нараспев. То размахивая руками, то как бы ослабевал и съеживался.

Квадратное, огромное лицо, воспаленные глаза, длинные огромные руки, какой-то мгновениями неистовый пафос... В своей бредовой мелодекламации он был одновременно отвратителен и жалок.

Но ужаснее всего было сознание, что жизненный путь этого человека являлся во многом типичным для некоторых эмигрантов.

...Казак из Лабинской, сын кулака, врангелевец. В Праге окончил медицинский факультет, но как иностранец не получил разрешения на практику. Перебрался во Францию. В парижском пригороде тайно лечил русских от венерических болезней. Обуреваемый тщеславием, окунулся в эмигрантскую политику. Сначала объявлял себя социалистом, затем фашистом особой масти: «зеленым». Образовал из нескольких человек «всероссийскую народную крестьянскую партию» с такой эмблемой: сосна, две косы и череп. Сотрудничал в очередном эмигрантском листке под названием «Набат». Но вождем его не признали, и выступления его встречались насмешками. Вообразил себя поэтом, однако и стихи его не имели успеха. Стал впадать в ипохондрию и в письме к Куприну объявлял себя всего-навсего «одиноким одичавшим скифом». Из Франции его в конце концов выслали за нелегальную медицинскую практику. Это его возмутило. На суде при обсуждении вопроса о его вменяемости было указано, что он болел сифилисом. В ответ Горгулов закричал: «Я не только сифилитик, но и хороший специалист по сифилису». Из Парижа перебрался в Монако и там сразу же проиграл в рулетку все привезенные деньги. Писал одному из своих друзей, что в нем осталось только одно чувство — жажда мести. Жажда мести большевикам, из-за которых он вынужден влачить жалкое существование на чужбине, жажда мести всему заграничному миру, где ему нет хода. Жажда мести и мания величия от сознания собственного унижения. Желание прославиться любой ценой, «всех наказать». Помышляет убить полпреда Довгалевского, затем намечает жертвой английского короля, наконец, останавливается на Думере. С этой целью нелегально возвращается в Париж. Беспрепятственно (каким образом, это так и осталось невыясненным) проникает на выставку, куда должен прибыть президент. Стреляет несколько раз в упор. А затем сцена в комиссариате: «Я это сделал во имя России».

После свершившегося у него нашли тетрадь с такой надписью: «Доктор Павел Горгулов, глава русских фашистов, убивший президента Французской республики».

А на суде заявлял, что он не фашист, а — верный приверженец... Керенского.

Стихи он писал такие:

Лесись лесье!
Дичись зверье!
Преклонись людье!

В моем архиве сохранился едва ли не уникальный экземпляр брошюры Горгулова с уставом и программой партии «зеленых». Все в этой зеленой книжице подробно разработано. Россией правит Зеленая Диктаторская Тройка. Первый член Зеленой Диктаторской Тройки: Зеленый Диктатор крестьянин-партизан Павел Горгулов. Члены второй и третий еще не намечены, но уже установлено, как следует титуловать каждого. Зеленого Диктатора: «Гражданин Диктатор!», второго члена и третьего члена: «Гражданин Поддиктатор!» Столь же точно для всех частей Зеленой Диктаторской Гвардии установлена форма с указанием, кому носить высокие сапоги со шпорами, кому «боярские шапочки», кому какие лампасы и аксельбанты.

Горгулова защищал знаменитый адвокат Жеро. Он доказывал, что убийца невменяем. Вызванные им три профессора-психиатра, три светила науки, подтвердили невменяемость в один голос. Но три других профессора, тоже светила науки, вызванные прокурором, заявили так же категорически, что Горгулов вполне вменяем.

Что было делать присяжным?

Прокурор привел такой довод: он, представитель обвинения, «защитник интересов общества», назначил экспертов без предвзятой мысли — если бы они признали Горгулова сумасшедшим, он прекратил бы дело. Обществу незачем карать умалишенного, а сумасшествие было бы для всех самым простым объяснением этого преступления. Другое дело защитник: он мог (да это и был его долг) вызвать в суд лишь тех экспертов, которые подтверждали версию невменяемости.

Суд вынес смертный приговор.

Этот трагический процесс не обошелся без анекдота. Французским психиатрам пришлось иметь дело с русским, и вот один из них, известнейший ученый, профессор Жениль-Перен, решил действовать согласно уже

упомянутому здесь, испытанному методу «Маленького Ларусса», так чтобы получилось просто и ясно!

Выписываю из моего отчета о процессе:

«Адвокат Жеро (обращаясь к профессору): В вашем докладе вы сказали, что если бы Горгулов был бретонцем или нормандцем, вы быть может, допустили бы, что он ненормален, но что к нему нужно относиться иначе, так как он кавказец. И вы пишете в докладе, что Кавказ — страна мифов. Я вас спрашиваю, какие же особенности кавказской психологии? Что такое вообще Кавказ?

Профессор Жениль-Перен: Кавказ — страна легенд!

Адвокат Жеро: А вы знаете эти легенды?

Профессор Жениль-Перен: Их много...

Адвокат Жеро: Так я вам скажу, что Горгулов не кавказец.

Председатель: Но ведь станица Лабинская на Кавказе...

Адвокат Жеро: Горгулов — сын казаков, русский. Если его считать кавказцем, то нужно было бы считать марокканцем ребенка, родившегося у французского офицера в Марокко».

Профессор не настаивает: пусть будет русский. Но в таком случае опять-таки нельзя к нему подходить как к французу. Странности Горгулова объясняются, по его мнению, не мотивами патологическими, а этническими.

«Профессор Жениль-Перен: По вопросу о вменяемости Горгулова в деле имеется письмо доктора Львова. Я очень уважаю доктора Львова. Мы все, эксперты, назначенные следователем, прекрасно знаем его. Так вот что нам пришло на ум, когда мы видели и слушали Горгулова, говорившего с нами монотонным голосом, опустив глаза. Ведь точно таким же голосом говорит и точно так же опускает глаза сам доктор Львов. А между тем доктор Львов ведь не сумасшедший. Он — русский. Как у всех русских, у него другой интеллект, чем у нас...»

Впрочем, надо сказать, что личности вроде Горгулова (а он был вовсе не единственным в своем роде в эмиграции) как будто оправдывали довольно распространенное во французском буржуазном кругу странное представление о русских...

Слушая адвоката Жеро, я вспоминал другого его подзащитного, тоже маньяка, которого французская реакция использовала некогда для страшного злодеяния.

В начале двадцатых годов я познакомился в Данциге, у рулеточного стола, с французом. Это был человек молодой, довольно приятной, хоть и маловыразительной наружности, который производил какое-то странное впечатление. Просиживал очень долго в казино, играл по маленькой, крайне расчетливо, был малообщителен и угрюм. Среди немецкой толпы он, видимо, обрадовался мне, как человеку, с которым можно объясняться на родном языке. Впрочем, был скуп на слова, крутил усики и преимущественно высказывал соображения весьма банального свойства — о том, например, как мало шансов, чтобы шарик остановился несколько раз подряд на том же номере. Я собирался переехать в Париж и расспрашивал его о Франции Он отвечал неохотно и неопределенно. А когда я заговорил о минувшей войне, он снова пустился в рассуждения о теории вероятности в применении к рулетке.

Как-то, после недельного знакомства, за рюмкой коньяку, он стал рассказывать о себе, рассказывать вяло, скучающим тоном, очевидно решив, что мне, как «жертве социалистической революции», это рассказывать безопасно.

Сказал, что он Виллен — убийца Жореса. Всю войну просидел в тюрьме, так как его решили судить, когда «утихнут страсти». Суд признал его не вполне вменяемым и выпустил из тюрьмы. Вот он и поехал за границу проветриться...

Я несколько раз встречал его впоследствии в Париже. Он занимался какими-то мелкими делами, был, кажется, страховым агентом, а может быть, торговым представителем. Помогали ему родственники, но главным образом монархическая организация «Аксион Франсэз». Говорил, что хочет жениться, но никак не может подыскать невесту с приличным приданым — именно с приличным, не больше: о крупном ему нечего и мечтать. В общем, это был типичный средний буржуа.

Как-то он мне сказал:

— Не люблю парижских пригородов. Всюду — проспект или улица Жореса!..

Виллен погиб в испанской гражданской войне. Не знаю, почему (может быть, чтобы не проходить по улицам с таким названием) перебрался на один из испанских островов и там занимался рыбной ловлей. В бою, в котором, кажется, сам не участвовал, пал случайно под пулями красных.

Горгулову отрубили голову. Я не был на казни. Смотреть на это страшное зрелище пошел Чебышев. Он все еще рассчитывал, что Горгулов объявит себя в последнюю минуту большевиком. После казни явился в редакцию совершенно потрясенный.

— Это кошмар!— говорил он.— Под ножом гильотины Горгулов кричал, что убил во имя России из ненависти к большевикам.

Что-то надорвалось в Чебышеве. Несколько дней он ходил сам не свой. Затем успокоился и придумал новый вариант: Горгулов, мол, был бессознательным агентом большевиков.

ГЛАВА 10

В ЕДИНОМ ЛАГЕРЕ

Нудная и беспощадная эмигрантская грызня... Порождением этой грызни да страшной безысходности на чужбине были и казацкий сын Павел Горгулов, и светлейший князь Михаил Горчаков, внук канцлера, вероятно и ныне мечтающий обуздать всех инакомыслящих в эмиграции. Я знал его хорошо, бывал в его доме, и мы полушутливо, полусерьезно ругали друг друга не раз. Этот Горчаков, мужчина истерически бурного темперамента, хронически пребывал в состоянии нервной экзальтации. Он не читал ни одной советской газеты, ни одной книги, изданной в СССР, крепко уверив себя в том, что русский народ жаждет возвращения Романовых. Главными врагами Горчаков считал «жидо-масонов»: они организовали революции — Февральскую и Октябрьскую, они заставили иностранные правительства признать СССР, они руководят в эмиграции всеми группами, органами печати, объединениями, которые стоят за «проклятую демократию», то есть за Милюкова, Керенского, против монархистов. К «жидо-масонам» он

причислял и архиереев, не отрекшихся публично от Московской патриархии, и бывшего царского премьера графа Коковцова просто потому, что тот был не склонен упрощать все политические вопросы до его, горчаковского, уровня, и младороссов, потому что они читали советские газеты, и самого «царя Кирилла», который соглашался править вместе с какими-то «совдепами», и «Возрождение», в котором, кстати, было действительно много масонов.

Я предвижу, что советский читатель будет несколько удивлен моими упоминаниями о масонстве. Но дело в том, что орден «вольных каменщиков» (я состоял в нем несколько лет) действительно получил в эмиграции широкое распространение. Тут сыграли роль и культ старины — торжественный церемониал давал иллюзию, позволяющую забыть хоть на миг убожество всего эмигрантского существования, и возможность вообразить во время масонских радений, что ты на равной ноге с хозяевами: французскими парламентариями, журналистами, чиновниками.

В контакте с антисемитскими иностранными организациями, под высшим руководством пресловутого Маркова-второго, старого думского хулигана, недурно устроившегося в Берлине при каком-то отделе антисоветской пропаганды, Горчаков издавал в Париже монархический журнальчик «Двуглавый орел», где отводил целые страницы печатанию списков русских масонов, в которых видел изменников и предателей. Он ничем не гнушался для пополнения своей информации: подкупал прислугу лиц, подозреваемых им в масонстве, с тем чтобы получить какой-нибудь выкраденный документ, а когда узнавал об очередном масонском собрании, сам отправлялся туда и часами, даже в проливной дождь, выстаивал перед входом с записной книжкой в руке. Раз при этом произошел такой обмен репликами. Увидя выходившего из масонского помещения князя Вяземского, Горчаков крикнул ему:

— Позор! Рюриковичи — масоны!

На что Вяземский ответил:

— Нет, позор, что рюриковичи — шпионы!

Горчаков всюду шумел, скандалил, стыдил инакомыслящих. Его ругали, гнали, кто-то вызвал светлейшего князя на дуэль, кто-то попросту надавал ему пин-

ков. В общем, мало кто к нему относился серьезно. Однако это не выводило Горчакова из себя, он был маньяком, но маньяком комическим, а не трагическим, как Горгулов.

На другом полюсе парижской эмиграции стоял в ту пору тоже маньяк: желтый, длиннолицый, с отвислым носом и короткими, прямо стоящими волосами. Появлялся раз в месяц на публичных собраниях, которые он устраивал, чтобы доставить себе удовольствие поговорить (с выкриками, обильной жестикуляцией, ерошением волос) перед какой бы то ни было аудиторией. То был Керенский. Он вопил, что в Советском Союзе голод, что народ, великий русский народ, жаждет избавления от большевиков, жаждет возвращения «февральских свобод». Топал ногами, проклинал советскую власть и столь же яростно тех монархистов, корниловцев, которые в свое время помешали ему «довести благополучно страну до Учредительного собрания». После него слово брали два главных его сторонника, эсеровские начетчики Самсон Соловейчик и Марк Вишняк, которые говорили то же, что их шеф, но в тоне более «деловом», ссылаясь преимущественно на самокритику в советской печати да на какую-то информацию, полученную «негласным путем».

Горчаков и Керенский на фоне горгуловской тени!.. Эти два человека публично обливали друг друга помоями. Но вот как-то одно из своих выступлений Керенский посвятил историческому экскурсу: почему ему, Керенскому, не удалось спасти, то есть переправить вовремя за границу, отрекшегося царя. Керенский винил Ллойд-Джорджа, сначала пригласившего Николая II в Англию, а затем под влиянием общественного мнения переставшего «настаивать» на этом приглашении. О самом же Николае II (кстати, тоже похвалившем Керенского в своем дневнике) Керенский отозвался уважительно.

Выступление бывшего «премьера на час» умилило Горчакова. Писатель Алданов решил этим воспользоваться. Этот весьма обходительный в личных отношениях человек кокетничал тем, что умеет относиться ко всем взглядам терпимо и смаковать людей и события, как гурман, любящий особо пряные, пикантные кушанья.

И вот Алданов (по происхождению — еврей, его на-

стоящая фамилия Ландау) позвал к себе на обед ярого погромщика Горчакова, Керенского, еще какого-то эсера и гитлеровского поклонника Муратова из «Возрождения». Вторая мировая была уже не за горами. Горчаков и Муратов уповали на эсэсовцев и самураев, Керенский же и его эсеры — на «западные демократии».

Но на этом обеде они пришли к одному знаменателю, объявив, что спор между старым миром и коммунизмом будет решаться железом и кровью, и, как бы ни развивалась будущая война, в результате ее советский строй рухнет непременно. Выпили за скорейшее исполнение столь радужного прогноза, а затем долго перешучивались на тему о том, как приятно, вдоволь поругавшись публично, найти за вкусным обедом общий язык.

А вот еще эпизод.

В русском масонстве в Париже была ложа «Северная звезда», где всем заправляли бывшие члены временного правительства Авксентьев и Переверзев, оба незаурядные ораторы, ратовавшие на масонских и иных собраниях за «установление в России демократических свобод». Это были тот самый эсер Авксентьев, который в качестве министра внутренних дел пытался расправиться в 1917 году с большевиками, и тот самый министр юстиции Переверзев, который распорядился в июльские дни о привлечении Ленина к суду. Оба они стояли на позиции милюковских «Последних новостей» и с «Возрождением» были, так сказать, на ножах. Но эмигрантская грызня одно, а реальная политика другое: лишь только явился повод для действий на более широкой арене, эмигрантские консерваторы и правые социалисты выступали единым фронтом. Произошло это так.

После третьего своего премьерства (в 1932 году) Эдуард Эррио вторично съездил в Советский Союз. Вернувшись оттуда, он в ряде публичных выступлений рассказал об успехах советского строительства, о России, обретающей новые силы, и указывал, что новая Россия — естественный союзник Франции.

Такие речи Эррио совсем не устраивали лидеров антикоммунистического лагеря.

Во французском парламенте всегда были превосходные ораторы. Красноречие, умение без подготовки, эффектно ответить на неожиданно поставленный каверзный вопрос, умение так красиво защитить свою точку

зрения, чтобы даже противники слушали с удовольствием,— все это качества, необходимые для «большой парламентской игры». Действительно, слушать, например, Аристида Бриана считалось отменным удовольствием. Сирена! Скрипка! С модуляциями, с хватающими за душу аккордами! На выступления Бриана отправлялись как на концерт знаменитого артиста. И зал и трибуны Бурбонского дворца были набиты до отказа. Всюду только и слышалось: «Сегодня большой день, сейчас будет говорит Бриан». И буржуазные делегаты внимали ему с благоговением. Противники не только не прерывали его, а сами спешили ему аплодировать, если только бриановская речь не затрагивала остро принципиальных вопросов. Но странно: я не помню, чтобы в кулуарах Бурбонского дворца предстоящее выступление Бриана вызывало какие-либо особые надежды или опасения. И в самом деле, послушав Бриана, депутаты голосовали совершенно так, как если бы он вовсе не говорил. Его ораторское искусство было в своем роде искусством для искусства. Согбенный, седовласый маэстро спускался с трибуны под гром аплодисментов. Он был доволен, и все были довольны, между тем как соотношение сил в парламенте не менялось после его речи ни на йоту. И то же можно сказать о многих тенорах французского парламента. Но никак нельзя сказать об Эррио.

Сколько раз, когда решалась судьба очередного кабинета или парламенту приходилось высказаться по вопросу действительной важности, слышал я в кулуарах: «Рано подсчитывать голоса, ведь будет говорить Эррио!..»

Какой-нибудь десяток-другой депутатов часто определяли во французском парламенте исход голосования. И вот я помню, как пафос Эррио порой склонял в нужную ему сторону такой десяток прожженных политиков. Достижение поистине поразительное в парламенте третьей Французской республики, где соперничество буржуазных фракций отражало конфликты между различными группами капиталистов, как правило, отнюдь не руководящихся эмоциональными порывами. В этом отношении я не помню ни одного французского парламентария, который мог бы сравниться с Эдуардом Эррио.

В чем же заключался секрет его дара? Если речь

Бриана в стенограмме теряла почти все и в ней важно было не что сказано, а как сказано, то лучшие выступления Эррио всегда содержали простые, ясные и сильные истины, которым он своим голосом, да еще и внутренним горением умел придать максимальное звучание.

И вот почти тридцать лет тому назад, когда уже ковалось оружие для второй мировой войны, прозвучали слова Эррио: «Новая Россия могуча. Я люблю Францию превыше всего, а потому я за дружбу с этой новой Россией».

Воспользовавшись тем, что Эррио не был тогда членом правительства, Гукасов нацелил на него «Возрождение», так сказать, в плане свободной дискуссии, не возбранявшейся законами страны, оказавшей газете приют. Однако какая-то мера была определенно перейдена. На знаменитого французского государственного деятеля со страниц эмигрантского органа посыпалась колкая брань.

Авксентьев и Переверзев тоже пошли в атаку. Ложа «Северная звезда» разослала французским ложам справочку, «доказывающую», что население Советского Союза поголовно пухнет от голода, между тем как Эррио предпочитает об этом не говорить...

Поддержанное французской правой печатью «Возрождение» вышло сухим из воды. Однако ложа «Северная звезда» (как и все русские ложи во Франции, входившая во французское масонство) должна была временно поплатиться... Учитывая, что «дискуссия» вышла за рамки дозволенного, высшее руководство французского масонства признало поступок ложи неуместным и приказало ей «уснуть», то есть до нового распоряжения прекратить активное бытие.

Я был на собрании «Северной звезды», посвященном выполнению этого приказа. В знак траура «братья» перевернули наизнанку свои синие ленты и таким образом оказались в черных лентах с белыми черепами и скрещенными костями. Зрелище было достаточно мрачное. Таким же мрачным голосом Авксентьев и Переверзев произнесли речи о том, что «свобода и демократия» попираются вновь, уже во Франции, в угоду большевикам, но что они, Авксентьев и Переверзев, будут бороться за «великие идеалы» до конца. Затем все, как полагается,

прокричали: «Свобода! Равенство! Братство!» И молча разошлись по домам.

В русском масонстве ритуал выполнялся особенно тщательно и торжественно. В ложах было много бывших офицеров, вносивших в собрания эффектную строевую выправку. Приходившие к нам французские масоны всячески выражали восторг, сожалея о том, что у них этого уже нет.

Текст ритуальных заявлений, возгласов и т. д. был заимствован у старого русского масонства начала прошлого столетия.

При посвящении это выглядит так.

«Брат», приводящий посвящаемого, стучит в дверь не три раза, как полагается, а беспорядочно, с большим шумом.

Досточтимый мастер (председатель ложи) вопрошает со своего места:

— Кто стучится в двери храма обычаем профанов? Кто осмеливается нарушить наши высокие труды?

Ответ:

— Это профан, который ищет быть вольным каменщиком.

Снова вопрос:

— Как дерзнул он такие питать надежды?

Ответ:

— Потому что он свободен и добрых нравов.

— Если подлинно так,— объявляет тогда досточтимый мастер,— введите профана.

И «профан» вводится, согнутый (как выходит новорожденный из чрева матери), в власянице, опоясанный бечевкой, с открытой грудью, завязанными глазами и одной штаниной, поднятой выше колена.

Да, совсем как при посвящении Пьера Безухова...

А затем — холод шпаги, приставленной к груди, и голос досточтимого мастера, предлагающего «профану» «зело ощущать» ее острие. Клятвы, непонятные ритуальные слова, символические «испытания» (посвящаемого куда-то толкают, чем-то дуют ему в лицо). «Малый свет»— с посвящаемого снимается повязка, и в полумраке перед ним —«братья» в масках, в синих лентах с красной каймой, в белых передниках и белых перчатках со шпагами, направленными в лежащего на полу человека в вымазанной красными чернилами рубашке: вот,

мол, что ожидает того, кто откроет тайны ордена! И, наконец, «Большой свет»: «братья» уже без масок, как «брата», приветствуют новопосвященного. А в глазах у него рябит от циркулей, молотков, треугольников со «всевидящим оком» посредине, пятиконечных звезд, причудливых храмов, колонн, начертанных на полотнище, и людей, из которых он знает многих как самых обыкновенных «Иван Ивановичей», «Иван Петровичей» и которых странно ему видеть вдруг в бутафорских регалиях, не сидящих, а восседающих и обращающихся друг к другу торжественным голосом, чтобы на простой вопрос «который час?» получить в ответ: «Полночь наступила, и час настал». А между тем..., всего лишь время обедать! Масонство не играет руководящей политической роли ни во Франции, ни в других капиталистических странах. Но его стройная, замкнутая организация часто используется теми или иными буржуазными кругами и партиями. Русское же масонство в Париже являлось в тридцатых годах как бы синтезом различных эмигрантских течений, попыткой объединить эмиграцию.

Я встречал в ложах людей, различных во всех отношениях. Кроме сотрудников «Возрождения» тут были, например, сотрудники «Последних новостей», с которыми на страницах печати мы обменивались лишь руганью. Здесь же не только величали друг друга «братьями», но и мирно беседовали на масонских «агапах», то есть на обедах с обильными возлияниями, всегда следовавших за ритуальными церемониями. Бывшие гвардейские офицеры часто в ложе переходили на «ты» с самыми типичными представителями «разночинной интеллигенции». Еврей, зубной врач, ходил, обнявшись с графом Шереметьевым или князем Вяземским. Бывший нефтяной магнат Лианзов или «сам» Путилов, бывший владелец путиловских заводов, сохранившие и в эмиграции солидный капитал, подчеркнуто воздавали масонские почести шоферу такси, а в прошлом скромному бухгалтеру, занимавшему в ордене довольно высокое положение. Некогда видный адвокат Слиозберг, талмудист, почитавшийся ученее самых знаменитых раввинов, объединялся с людьми, тесно связанными с православной церковью. Научившиеся в ложе терпимости, эсеры и меньшевики на дружеской ноге общались с монархистами и вместе смеялись над монархистом-изувером

Горчаковым. Решив, что «Общевоинский союз» выдохся, поступали в масонство и белые генералы, не порывая, однако, связей с остатками врангелевской армии.

Была еще и другая сторона дела. Связи парижского русского масонства уходили за океан, к американским «христианским» организациям. Через русскую ложу в Берлине оно имело до прихода Гитлера к власти заручки в различных влиятельных германских кругах. Многие русские масоны достигали самых высоких масонских степеней и в избранных собраниях ордена общались с влиятельными французскими депутатами и чиновниками. Досточтимым мастером английской ложи в Париже был русский эмигрант генерал Половцев, тот самый, который в 1917 году командовал Петроградским военным округом.

Русские масоны обосновались в небольшом особняке с садиком в тихом архибуржуазном квартале Отей. В этом особнячке «братья» находили клубный уют: большую библиотеку, столы для бриджа в комнатах, украшенных старинными русскими масонскими реликвиями, оживленные товарищеские обеды, возможность устраивать разные дела путем знакомства с нужными лицами.

Вспоминаю, как в масонской гостиной, усевшись на диване, беседовали три «брата», самым своим общением напоминая о предках в день Бородина: Голенищев-Кутузов, Бенигсен, Барклай де Толли.

Царил в этом особняке руководитель русского масонства, полновластно распоряжавшийся с высоты председательского креста в собрании русских «верховных князей королевской тайны» (так именуются масоны 32-го градуса), старорежимный вице-консул в Париже Кандауров Леонтий Дмитриевич.

Кандауров умер в середине тридцатых годов. В антибольшевистской акции он играл немалую роль. Несомненно, что он был одарен изворотливым, острым и достаточно циничным умом. Как-то в своем кабинете, увешанном масонскими лентами всех градусов, он поведал мне кое-что о своих взглядах.

— Понимаете ли вы,— спросил он меня,— такую истину: если бы в каждом уездном городе старой России работала масонская ложа, революцию удалось бы предотвратить.

— Почему вы думаете?

— А потому,— отвечал Кандауров,— что во всякой уездной ложе помещики, офицеры, купцы, земские врачи, учителя, то есть дворяне, капиталисты и интеллигенты — одним словом, правые и левые в тогдашнем толковании относились бы друг к другу терпимо, находили бы общий язык, а значит, могли бы образовать общий сплоченный фронт. Против кого? «Против народа!»— скажут большевики.— Кандауров хлопнул себя ладонью по тучному колену и захохотал.— Ну и пусть они говорят, а мы скажем: против революции, то есть против бунтарства, против пугачевщины, против всего, что обрушилось на нас. Вот здесь, в наших ложах, я насаждаю это самое единство, общий язык — в этом наша сила. С большевизмом надо бороться не криком, не огульной критикой, а сплоченностью, сознанием общности интересов. Надо уметь быть гибким. Я пускаю в ложах такую мысль: некоторые социальные завоевания революции можно и признать — это не страшно, но надо при этом сохранить лазейку, при которой мы оставались бы всегда тем, что мы есть. Ну, скажем, примат духовного начала. Борьба с материализмом — это ведь очень широкое понятие, которое можно применять по самым различным поводам. А пока что объединимся. Для этого хороши и храм Соломонов, и стальной свод, и ленты с черепами на изнанке, и наши агапы. Вы видели, как добросовестно какой-нибудь бородатый дядя, адвокат, а то и профессор, стучит в ложе бутафорским молотком? А наши достижения уже сейчас немалы. Масонство стало цементом, связывающим воедино эмигрантские силы. А кроме того, русских высокоградусных масонов знают где следует — там, где творится мировая политика. Это может очень пригодиться, так как рано или поздно судьбы человечества будут вновь решаться в громе орудий.

Но он обманывался, как обманывались иллюзиями и другие политики от масонства. «Цемент» оказывался некрепким. Масонские иллюзии чахли за стеною «храма». Реальная жизнь с ее противоречиями разбивала кандауровскую концепцию...

Отражением этих противоречий, вторгавшихся в плавный, разработанный «верховными князьями» священной тайны церемониал, явился тот факт, что даже в масон-

ство проникала новая струя, окончательно размывавшая пресловутый кандауровский «цемент».

За несколько лет до второй мировой войны в русском масонстве возникла совсем новая по духу ложа «Гамаюн». Большинство «братьев» этой ложи были скромные люди: шоферы такси, мелкие служащие, наборщики или даже простые рабочие. Скромными были они и по положению в самой эмиграции: их имена не упоминались на страницах газет, в эмигрантских организациях они не занимали руководящих постов и принадлежали в большинстве к тому поколению, которое покинуло родину в детском возрасте. Люди старше их жили только прошлым. Совсем же молодые, уже родившиеся в изгнании, если и не полностью офранцузились, то русскими чувствовали себя весьма смутно. Эти же считали себя русскими, только русскими. Но прошлое не довлело над ними. Попав в масонство по различным причинам (кто из любопытства, кто действительно в жажде самосовершенствования), они начали сближаться между собой, выйдя из лож, где состояли, образовали новую. Эта новая ложа была направлена лицом к родине, к России. Члены ее старались понять жизнь родины, ее чаяния, сущность тех процессов, которые в ней произошли. Они следили за всеми советскими изданиями, собирались для обсуждения книжной новинки из Москвы, любили советские песни и в советской печати не зачитывались одной самокритикой. О, конечно, они были еще весьма далеки от перехода на конкретную просоветскую платформу. Однако они отказались не только от всех «профанских» эмигрантских трафаретов, но и от масонского, «кандауровского», ибо искали новых путей, а не стремились, исподволь, под видом какого-то «посвятительства» объединить эмиграцию на старых путях. Они шли дальше кандауровского «признания» социальных завоеваний революции и даже евразийство считали пройденным этапом. Они искали для себя возможности признать самую идею революции, сочетать эту идею со своими сокровенными думами и чаяниями. Очень скоро ложу «Гамаюн» объявили в русском масонстве «просоветской».

Само образование ложи «Гамаюн» и тот характер, который приняла ее работа, отражали очень значительные сдвиги, происходившие тогда в эмиграции.

Испытанием для этих новых настроении явились события в Испании.

ГЛАВА 11

ПЕРЕД РОКОВЫМ ЧАСОМ

Эмиграция ведь потому и была эмиграцией, что не приняла революции.

И вот в Испании вспыхивает длительная война. Эта война воспринимается всюду как событие мирового значения, как борьба двух начал, как схватка между старым миром и новым. Гитлер и Муссолини открыто поддерживают Франко. Германские и итальянские фашистские части отправляются в Испанию; одновременно из разных стран туда же едут добровольцы, чтобы поступить в интернациональные бригады, которые вместе с испанскими демократами борются против фашизма. На страницах печати, на всевозможных собраниях вожаки эмиграции кадят Франко, заявляют, что он продолжает дело Корнилова и Врангеля, что вся русская эмиграция желает ему успеха и готова ему помочь.

Логика на их стороне. Логика, но не факты. Да, русская эмиграция почти целиком детище белых армий. Да, испанские генералы совершают у себя то же дело, которое не удалось русским белым генералам. Но вот русские эмигранты, поклонники Франко, от слов перешедшие к делу, исчисляются единицами. Поехали к Франко казачий генерал Калинин, которому надоело работать в Париже у станка, еще несколько человек, и всё! А число русских эмигрантов, поступивших в интернациональные бригады и в их рядах проливавших свою кровь за демократию, против фашизма, против Франко, против Гитлера и Муссолини,— число таких эмигрантов, некогда покинувших родину как раз потому, что они отказались тогда принять демократию и социализм, достигает *несколько сотен*.

— Черт знает что!— изумлялся Гукасов.— Думаю, думаю и никак не пойму, как это могло получиться. Русские эмигранты, а сражаются за революцию.

Да, сражались за это дело и умирали за него.

Подвиг их ожидает еще своего историографа. Некоторые из этих людей сейчас в Советском Союзе:

Н. Н. Роллер, который работает в Москве (гардемарин старого флота, получивший в интернациональных бригадах звание лейтенанта испанской республиканской армии), товарищи его Д. Г. Смирягин и Г. В. Шибанов (тоже бывшие гардемарины), П. П. Пелехин, А. В. Эйснер, К. В. Хенкин, сражавшиеся против Франко в партизанских отрядах, и другие.

Пал в Испании за демократию бывший царский артиллерийский офицер Глинаевский. Пал геройской смертью русский эмигрант Лидле, работавший в Париже шофером такси и потом занимавший в Интернациональной бригаде должность комиссара. Республиканская Испания почтила его память, выбив золотую медаль и послав ее затем в Париж для передачи через Всеобщую конфедерацию труда его дочери. Вместе с этими людьми пали многие другие, которых я не знал, подвиг которых мне тогда не был понятен и перед чьей памятью я преклоняюсь теперь.

В «Общевоинском союзе» старые генералы буквально рвали на себе волосы.

— Какой стыд! А мы-то столько лет уверяли наших иностранных единомышленников, что можем в любой момент выставить целую армию кадровых офицеров!

Отметим знаменательное явление: уже давно в эмигрантских «низах», то есть среди трудовой эмиграции, начали проявляться настроения, совсем не соответствующие идеологии белых генералов и «Возрождения». Пока эмигрант ощущал себя прежде всего представителем того класса, к которому он принадлежал в России, лишь «временно», в силу обстоятельств, начавшим во Франции трудовую жизнь,— он мыслил не как член своего трудового коллектива, а как бывший участник белого движения и в соответствии с этим ревностно посещал «Союз галлиполийцев» или «Объединение первопоходников». Но вот в 1936 году торжество Народного фронта на выборах всколыхнуло всю Францию. Трудящиеся добились некоторого улучшения своей участи. Русские рабочие во Франции тоже выиграли от этого, но в массе своей все еще оставались в стороне от движения, охватившего их французских товарищей. Работая у станка, бывший корниловский офицер мыслил примерно так: «Очень хорошо, отныне я буду пользоваться оплачиваемым отпуском, социальным страхова-

нием. И очень хорошо, что все это произошло без моего участия в стачках и демонстрациях. Не действовать же мне заодно с пролетариями!» Но он мог так рассуждать лишь потому, что за его кровные интересы боролись другие.

А вот как он поступил, когда жизнь заставила его выбрать между коренной своей идеологией белогвардейца и своими же насущными потребностями трудящегося.

Коллектив наборщиков и типографских рабочих «Возрождения» состоял в большинстве своем из бывших белых офицеров, среди которых были и самые махровые зубры. Рожденное Народным фронтом новое законодательство предоставляло им более высокую зарплату и обязывало работодателя заключить с ними коллективный договор. Ознакомившись с текстом нового закона, Гукасов заявил категорически:

— Я своей пишущей братии плачу по самому низкому тарифу, и она покоряется. Ясное дело: я терплю убытки во имя России, пусть терпят и господа журналисты! Ведь они считают себя не меньшими патриотами, чем я!.. Все это относится и к наборщикам.

Как рассчитывал Гукасов, слова эти немедленно дошли до наборщиков. Однако ожидаемого действия не возымели. Весь персонал типографии, обслуживавший «Возрождение», потребовал от Гукасова коллективного договора по новым ставкам.

Ошеломленный Гукасов велел вызвать к себе для переговоров «самого благонадежного» из наборщиков. Таковым почитался туповатый и угрюмый человек, ярый белогвардеец, единомышленник Горчакова.

На зов Гукасова этот наборщик, однако, не явился, а посланцу заявил:

— Не понимаю, при чем тут всякие идеи... Закон есть закон. Пусть платит больше, вот и все! А коли нет, ну его к лешему!

Гукасов в ответ холодно объявил:

— Ах так! Ни одного сантима больше я тратить не стану. И без того уже понес достаточно жертв для возрождения России. Подчиняюсь закону, но газета из ежедневной станет еженедельной.

Гукасовское решение привело в ужас Семенова.

— Не все еще потеряно,— сказал он Гукасову.— Я переговорю с Рождественским — его «мальчики» все устроят.

Рождественский был тогда одним из вожаков уже упомянутого мной «Национально-трудового союза нового поколения». Собрав членов редакции, Семенов объявил им, что «нацмальчики» по его просьбе и «во имя общего дела», конечно, выделят из своей среды трех-четырех человек, которые, как ему, Семенову, известно, или уже работают где-то наборщиками, или обучаются этому ремеслу и, значит, могут как-то заменить «предателей» из типографии.

Среди сорокалетних «мальчиков» своего союза Рождественский пользовался в то время репутацией расторопного организатора, крепко державшего в руках эту «молодую эмигрантскую смену». Рождественский мечтал: малейший удар извне — советский строй рассыплется как карточный домик и к власти придут те эмигранты, которые, как он, Рождественский, остались до конца верными «белой идее». С Семеновым они в политическом плане жили, так сказать, душа в душу.

Но и вмешательство Рождественского не помогло. На другой день он явился к Семенову и деловито принялся ему объяснять, что члены организации живут на заработок, которым не могут рисковать, и что, следовательно, жертву надлежит принести Гукасову. Но Гукасов на жертву не пошел: «Возрождение» стало выходить раз в неделю. Так в результате победы Народного фронта на выборах во французский парламент руками самих же белых эмигрантов был нанесен серьезный удар «белой идее» в лице самого крупного ее печатного органа.

Однако с первых же лет эмиграции в ее среде появились люди, которые сумели порвать с прошлым, слиться со своим новым классом и жить мечтой о возвращении домой, о родине, не мифической, старого образца, а о реальной родине сегодняшнего дня, которую они старались понять, чтобы послужить ей. Люди эти хлопотали о советском паспорте, образовали «Союз возвращения на родину» и ждали часа, когда их упования сбудутся. Вначале их было мало, но в конце тридцатых годов в одном Париже уже объединилось до четырехсот «возвращенцев», а во всей Франции — более тысячи, причем в их число входило много некогда мобилизованных в бе-

лую армию простых русских людей. Из среды «возвращенцев» и вышло подавляющее число русских эмигрантов — бойцов интернациональных бригад. Поехали в Испанию, чтобы сражаться против международного фашизма, который угрожал их родине. То были самые решительные, самые смелые и раньше всех прозревшие сыны России, волей судьбы оказавшиеся в изгнании. Именно волей судьбы, так как кроме насильно мобилизованных и эвакуированных очень многие из них либо выехали детьми за границу вместе с родителями, либо, участвуя некогда в «белом движении», были тогда в политическом отношении совершенными детьми (юнкера, гардемарины).

В своей решимости они были одинокими в эмигрантской массе. Но многие тревожные для эмигрантских «верхов» настроения распространялись и в широких кругах эмиграции.

— ...Весь день ходил по советскому павильону. Вы ведь знаете, я непримирим к большевикам, но, право, это едва ли не самый интересный павильон на всей Международной выставке. И как все эффектно, нарядно! Скажу вам откровенно, мне было приятно, что французы валом валят туда. И долго так все рассматривают, похваливая. Право, очень уже глупо пишет «Возрождение», что все там показное — блеф. А скульптурная группа над зданием! Юноша и девушка в таком стремительном, победном порыве! Поразительно! Кажется, автор — женщина, Мухина, что ли?

— ...Нет, лучше этого быть ничего не может! Я говорю о Красноармейском ансамбле песни и пляски Александрова. Самое замечательное из всех артистических выступлений по случаю выставки! Весь зал всколыхнуло. А мы, русские, так прямо плакали. Почти, что навзрыд! И теперь, как соберемся вместе, напеваем «Полюшко». Ведь вся Россия в этой песне — и старая и новая! Вся русская слава! Знакомые французы нам говорили в антракте: «Мы понимаем ваши чувства, мы бы на вашем месте тоже гордились».

— ...Нет, нет, самый лучший фильм за всю эту четверть века — «Броненосец «Потемкин», конечно! А самый лучший роман — «Тихий Дон».

Это — тоска по родине.

А вот отъезд Куприна, Билибина. да и еще десятков

других эмигрантов, менее известных, это уже — тяга на родину.

— ...Идут впереди меня по бульвару двое русских. Слышу, один говорит другому: «А я послезавтра обратно, в Москву!» Значит, советские... Вы знаете, мне вдруг так завидно стало, ну прямо до отчаяния, до боли!

Но тяга на родину не могла развиться потому, что густая сеть эмигрантских организаций, все равно «правых» или «левых», всасывала в свою орбиту рядового эмигранта. Этот рядовой эмигрант верил далеко не всему, что писали «Возрождение» и «Последние новости», но кое-чему все же верил и потому не смел порвать с эмигрантскими «авторитетами», а когда порывал, то чаще всего уходил лишь в обывательщину. Однако и у него бывали проблески смутного патриотического сознания.

— ...А здорово наши всыпали японцам у Хасана! Слава богу, отомстили за Мукден!

— Э... ничего мы не знаем, что творится на родине. А там, может, великая сила народилась.

В общем, два течения ясно обозначились в эмиграции накануне второй мировой войны. Первое находило, пожалуй, наиболее точное выражение в словах уже упомянутого мной профессора, генерала Головина, человека способного, написавшего неплохие книги о старой русской армии, но не в меру самоуверенного и без особых оснований почитавшего себя искушеннейшим политиком.

Публично и в частных беседах Головин говорил так:

«Советская Россия слаба — это аксиома. А другая аксиома: гитлеровская Германия — могучая, несокрушимая сила. Трезвый политик должен сделать соответствующий вывод из этих аксиом.

Вот с грохотом падает водопад. Челн дикаря, возмечтавшего побороть стихию, низвергается с потоком и разбивается в щепки о скалы. А другой дикарь, оставшийся на берегу, в ужасе припадает к земле и поклоняется водопаду, как божеству. Но цивилизованный человек поступает иначе. Он знает, что противиться стихии не в его силах. И он присматривается к ней, расценивает все ее возможности и в конце концов извлекает из нее для своей пользы электрическую энергию.

Не будем же подобны дикарям, когда Гитлер пойдет

на Советскую Россию. Постараемся обратить в конце концов на пользу России его неизбежную победу».

Другое течение получило конкретную форму еще в 1935 году. Возникший осенью этого года «Союз оборонцев» был ответом наиболее сознательной части эмиграции на агрессивные замыслы японского милитаризма и гитлеровского фашизма. «Надо быть с Россией. Надо познать родину, изучать советскую жизнь. Надо верить в новую Россию»— таковы были лозунги «оборонцев» вначале собиравшихся по нескольку человек друг у друга, в том числе и у А. Н. Михеева, специалиста парфюмерной промышленности. Тогда он входил в техническое руководство знаменитой фирмы Коти, а теперь работает в Киеве.

В «Союз оборонцев» вступили главным образом люди из трудовой эмиграции или люди, сложными путями пришедшие к оборончеству, в том числе фигуры, примечательные по своему прошлому, по происхождению, например А. А. Колчак, племянник адмирала, генерал Махров, бывший одно время начальником штаба Врангеля в Крыму. Постепенно организация расширилась. Ее ежемесячный орган «Голос Отечества» рассылался по 1200 адресам. Открытые собрания «оборонцев» в том самом большом зале «Лас Каз», где обычно выступал Керенский, становились все многолюднее — там разгорались жаркие прения с инакомыслящими, а в своем помещении —«Доме оборонцев»— члены организации собирались для докладов о пятилетке, о советском строительстве. Как за «Союзом возвращения на родину», так и за «Союзом оборонцев» зорко следила (гласно и негласно) французская политическая полиция, и списки тех, по кому намечался удар, были, очевидно, уже давно готовы.

По существу, оборонческую позицию занимали накануне войны многие лица, в союз не входившие, даже из тех, что принадлежали к эмигрантским «верхам». Так, разойдясь в этом отношении с убийцей Распутина, Юсуповым, его главный сообщник, внук Александра II, великий князь Дмитрий Павлович, всюду заявлял (даже в иностранной печати), что в случае войны русская эмиграция должна быть на стороне родины. «Уж мы-то, Романовы, достаточно пострадали от революции,— добавлял он,— так что меня никак нельзя заподозрить в предвзятой симпатии к большевикам...»

По инициативе «главы» младороссов А. Л. Казем-Бека, все более отходившего к тому времени от монархических позиций (впоследствии он окончательно порвал с эмиграцией и несколько лет тому назад вернулся на родину), устраивались периодические обеды, получившие название «обедов параллельных столов», так как участники их собирались в отдельном зале какого-нибудь ресторана за параллельно расставленными столами, что символизировало параллелизм подлинно патриотических настроений в остальном очень различных эмигрантских деятелей и групп. Обеды эти имели ярко оборонческий характер и проходили под лозунгом «Советская власть защищает исторические интересы России. Все за родину, каких бы взглядов мы ни придерживались!» Среди участников были, например, адмирал Вердеревский, бывший морской министр Временного правительства, умерший в Париже после войны советским гражданином; профессор Д. М. Одинец, историк, преподававший в Парижском русском народном университете и умерший несколько лет тому назад в Казани, где тоже преподавал в университете; И. А. Кривошеин, сын упомянутого мной царского министра, видный французский инженер-электрик, ныне работающий в Москве; бывший эсер Бунаков-Фундаминский, погибший несколько лет спустя в гитлеровском лагере смерти; К. К. Грюнвальд, автор исторических трудов о России на французском языке, ныне советский гражданин.

После мюнхенского антисоветского сговора у того же Бунакова-Фундаминского на квартире стал собираться «литературный кружок», имевший на самом деле определенно русский антифашистский, патриотический характер. В нем, между прочим, принимали участие некоторые лица, которым впоследствии было суждено сыграть крупную роль в борьбе против фашистских оккупантов.

ГЛАВА 12
КАЛЕЙДОСКОП

Сдвиги, происходившие в тридцатых годах в эмиграции, были прямым отражением общей международной обстановки.

Надвигалась вторая мировая война. На Советский

Союз со всех сторон нацеливались захватчики. Это рождало во многих рядовых эмигрантах тревогу за родину.

С другой стороны, вздорность всех утверждений вожаков эмиграции о «провале пятилеток», о слабости новой России становилась все очевиднее. Экономические успехи Советского Союза были несомненны. Роль его возрастала на международной арене.

Наконец, сам буржуазный мир, в котором мы жили, все более обнаруживал свои внутренние язвы.

Патриотические настроения среди эмиграции, общавшейся с этим миром, зрели от злобности, которую он проявлял к новой России, от его необоснованного высокомерия и в то же время от сознания, что в борьбе с готовящейся гитлеровской агрессией новой России придется рассчитывать только на свои силы.

В 1930 году со мной вступили в переговоры довольно влиятельные представители польских правящих кругов. Сущность переговоров сводилась к следующему.

«Польская общественность» приветствовала бы появление в русской эмигрантской печати и во французской, за подписью русского (это особенно подчеркивалось), «объективных, правдивых очерков», о современной Польше. С этим делом обращаются именно ко мне, потому что знают меня как публициста «широких взглядов», к тому же жившего в Польше, где его родители «занимали видное положение и пользовались всеобщим уважением».

Мне до сих пор неясно, по каким причинам органы диктатуры Пилсудского сочли в ту пору полезным пойти при моем посредничестве на какое-то сближение с русской эмиграцией. Надо думать, что ими руководили соображения «хитрые» и сложные. Как бы то ни было, такая поездка меня интересовала, и я на нее тем охотнее согласился, что ведь от меня ожидали всего лишь... «правдивости и объективности».

Поездка получилась в самом деле интересная. В Варшаве директор канцелярии премьер-министра водил меня по привислинскому саду резиденции своего принципала, которая некогда была резиденцией моего отца. Виленский воевода Рачкевич, в прошлом министр внутренних дел, а впоследствии эмигрантский «президент» в Лондоне, игриво объявлял, знакомя меня со своими сотрудниками: «Господа, это сын одного из моих предшественников...» Все, кто знал русский язык, предупреди-

тельно говорили со мной по-русски, а когда я сам заговаривал по-польски, официальные лица восхищались моей «способностью к языкам», хотя я и владею польским весьма посредственно. Угощали меня старкой, старинными медами, бархатно-розовым раковым супом, едва вылупившимися цыплятами в тесте и прочими польскими деликатесами. Возили куда хочу и решительно ни в чем меня не стесняли.

Вернувшись, я написал серию очерков, которые вышли затем отдельным изданием. Писания мои очень не понравились министрам, воеводам и епископам, принимавшим меня в Польше, и, как мне стало известно, лицам, устроившим мою поездку, очень попало за «явно неудачное мероприятие».

Дело в том, что я недостаточно почтительно и слишком откровенно описал механизм польской фашистской диктатуры. Диктатура эта была действительно своеобразна. Вы, например, изъявили желание повидать директора такого-то департамента. Осведомленные лица тотчас же предупреждали, что вам гораздо интереснее поговорить не с самим директором, а с таким-то начальником отделения: директор — фигура чисто декоративная, а начальник отделения видится регулярно с таким-то полковником, который в свою очередь видится регулярно с маршалом, то есть с Пилсудским. Так как большинство лиц, вхожих к самому Пилсудскому, состояло из полковников, некогда служивших в его легионах, то и тогдашняя польская правительственная система получила название «правления полковников». Полковники были разных рангов, в зависимости не от занимаемой должности, а от своей близости к Пилсудскому, который формально тоже не был первым лицом в государстве, не президентом и даже не всегда премьером, а чаще всего лишь военным министром. Особенностью всей этой системы были ее неоформленность и оккультный характер. По-видимому, у «полковников» не хватило пороху на утверждение официальной фашистской власти. Формально существовали и оппозиция и свобода печати. Лидеры этой оппозиции, представители разных буржуазных партий, с которыми «полковники» не пожелали делить выгоды власти, в беседах со мной не стесняясь ругали самого Пилсудского и его сотрудников дурными словами. Но всей Варшаве были известны

пресловутые «маршальские слова» (так обозначались ругательства, к которым любил прибегать польский диктатор): «Я скорее могу заставить себя питаться навозом, чем сотрудничать с партиями, правившими Польшей до меня». Когда в оппозиционных газетах правящую группу слишком резко критиковали, журналисты-оппозиционеры либо совсем исчезали, либо увозились какими-то лицами за город и там избивались ими до полусмерти. В общем, Польшей правил тогда какой-то орден, вроде масонского, со своей строгой иерархией и тайными собраниями. Вся программа этого ордена выражалась одним словом —«санация», то есть оздоровление, что в действительности означало самый жестокий произвол во внутренней политике, нещадное преследование демократических элементов, угнетение национальных меньшинств, а во внешней — бахвальство («Побьем всех — и немцев и большевиков!»), блеф, беспечность, самодовольство, которые и привели к тому, что в 1939 году Польша могла противопоставить гитлеровским полчищам армию без танков, без авиации, без намека на современную технику, но зато с лихими кавалеристами, такими же усачами, как Пилсудский!

Что же касается до отношения этой правящей клики к Советскому Союзу, то ее представители в один голос заявляли мне:

— Мы лучше всех в Европе знаем СССР. Советская Армия никуда не годится. Мы можем разгромить ее в любой момент. Вы, русские эмигранты, должны быть вместе с нами, так как мы — самая реальная сила, противостоящая большевизму.

Так, в частности, говорил мне полковник Коц, один из самых высокоразрядных полковников, после крушения Польши Пилсудского занявший руководящий пост в лондонском «польском правительстве».

Так вот тот факт, что я обрисовал характер польской правительственной системы, был признан лицами, меня приглашавшими, очень неуместным поступком. Напускная великодержавость «полковничьей» Польши таила в себе сугубый провинциализм с заискивающей оглядкой на Вашингтон, Лондон и Париж: «Как бы там нас не осудили и не сделали нам выговора!» Вероятно, по этой же причине я навлек на себя крайнее неудовольствие «полковников» разных степеней тем, что рассказал об

ужасающем угнетении белорусского и украинского населения в их государстве, представлявшем собой новую тюрьму народов. А особенно негодовал на меня некогда хорошо известный среди петербургских декадентов мистик и «либерал» Д. Философов, друг Мережковского и Зинаиды Гиппиус, поступивший к «полковникам» на службу в качестве главного редактора варшавской газеты на русском языке, полностью субсидируемой правительством Пилсудского, в которой с лакейской угодливостью восхвалял ясновельможное польское начальство. Кстати отмечу, что сами поляки относились к Философову с нескрываемым презрением, а некоторые из тех, которые снабжали его казенными деньгами, даже не подавали ему руки.

Поездка в польские восточные воеводства навсегда останется у меня в памяти. Рано утром поезд остановился на станции, откуда я решил проехать по волынским местечкам. В мыслях у меня еще были «полковники», их кичливые заявления да пышные варшавские министерства, где подобострастно повторялись очередные «маршальские слова». И вдруг, выйдя из вагона, я увидел море ржи и нищих босых мужиков на перроне, жадно ищущих глазами, кому бы понести чемодан. Со щемящей остротой я в тот же миг ощутил себя на своей земле, среди своего народа. И сознание того, что эти родные мне по крови хилые бородатые мужики, очевидно, принимали меня за поляка, то есть за начальство, за пана, который может накричать на них, а то и прибить безнаказанно, вдруг взорвало и оскорбило меня. Я обратился к ним по-русски, спрашивая, где найти подводу, и на лицах их прочел радость, недоумение и инстинктивный испуг. А затем через убогие деревни, от ухаба к ухабу, я долго ехал по равнине, где со всех сторон поле сходилось с голубым небом. И, глядя на эту русскую ширь, я слушал возницу, который доверчиво говорил на полурусском, полуукранском языке о горестях своего народа, томящегося под панской пятой. Каждый раз, как мы проезжали мимо хорошего жилища, он кнутом показывал на него, добавляя со вздохом: «Это осадника дом. Здесь живет, проклятый! Хуже, чем с собакой, обращается с русским человеком». «Осадниками» называли польских колонистов-кулаков, наделенных «полковниками» землей за счет волынских крестьян.

Вот о нуждах этих крестьян, по-прежнему неграмотных, батрачащих за гроши, которых хотели ополячить теми же жестокими и бездарными методами, которыми царское правительство некогда тщилось русифицировать польское население, я и рассказал в своих очерках.

А для меня лично самым волнующим воспоминанием осталось следующее.

Я стою с польским офицером у колючей проволоки. Впереди — полотно железной дороги, арка с пятиконечной звездой, за аркой строение и люди в военной форме у крыльца. Минуя проволоку, мы делаем несколько шагов по полотну, и я жадно вглядываюсь в их лица.

Польский офицер говорит мне с улыбкой:

— Дальше идти рискованно. Это советская территория.

Я все смотрю на эту арку, на этих людей. Ветер оттуда доносит звуки гармошки. И я думаю о том, что телеграфные столбы, исчезающие там, где-то за лесом, так же тянутся дальше на сотни, тысячи километров среди русских лесов и полей. Мне хочется стоять здесь и стоять, глядеть вперед да слушать эту дальнюю музыку. Так проходит минута, две, и вдруг у меня захватывает дыхание, и я ясно ощущаю на миг всю безысходность, всю трагическую фальшь моего положения. И так это невыносимо, что, скрывая волнение, я быстро говорю офицеру с белым одноглавым орлом на конфедератке:

— Пора возвращаться! Спасибо за вашу любезность, капитан.

В том же 1930 году одна французская газета послала меня в Берлин корреспондентом на выборы в рейхстаг. То были пресловутые выборы, на которых национал-социалисты собрали 6,4 миллиона голосов, что впервые дало им в рейхстаге внушительное представительство. Во всех странах мира этот неожиданный по своим размерам успех был воспринят как мрачное предзнаменование. Именно вслед за этими выборами угроза новой войны явственно нависла над Европой.

После уютного, самодовольного, беспечного, живущего только настоящей минутой буржуазного Парижа Берлин произвел на меня впечатление бурлящего котла. Я помнил Берлин моих студенческих годов, только

что оправившийся от испытаний войны, стремившийся подражать Парижу в удовольствиях, но и в этом какой-то болезненный, отмеченный «комплексом приниженности». В то время немецкий бюргер почитал начальником каждого офицера Антанты, победившей его страну и еще оккупировавшей часть ее территории. Теперь этот Берлин распирало от жажды реванша и власти. В новом обличье национал-социализма германский милитаризм сулил этому бюргеру мировую гегемонию и благоденствие за счет других народов.

Я был в памятный вечер выборов в огромном зале, который заняли национал-социалисты, чтобы за кружкой пива отпраздновать ожидавшуюся победу.

Из лиц, сидевших в президиуме, я запомнил Геббельса, возглавлявшего берлинскую организацию нацистов и бывшего здесь главной фигурой, да еще одного — долговязого, остроносого, с явно дегенеративным лицом, в коричневой рубахе со свастикой на рукаве, которого крохотный Геббельс, поднявшись на цыпочки, покровительственно похлопывал по плечу. Это был «августейший» нацист, принц Август-Вильгельм, сын Вильгельма II.

За маленькими столиками тысячи мужчин и женщин пили пиво и поедали груды сосисок. По виду, да и в самом деле, очень многие из них были мелкими бюргерами, лавочниками. В то время одним из демагогических лозунгов Гитлера была борьба с универмагами, разорявшими мелкие торговые предприятия. Лавочники увидели в Гитлере своего спасителя, не подозревая, что огромные суммы, которые он тратил на пропаганду, шли от крупнейших капиталистов...

И вот эта публика пришла сюда с полной уверенностью в победе. Но размеры этой победы были ей еще не известны. По мере поступления данные о голосовании вывешивались на стене, над столом президиума. Несколько часов подряд дано было мне здесь наблюдать нарастание сумрачных и беспощадных страстей.

Вместе с Геббельсом, с дегенеративным принцем и их приспешниками вскипал весь огромный зал. Лавочники сжимали скулы, залпом осушали огромные кружки пива, подняв руку, шумно поздравляли друг друга, по-военному щелкая каблуками.

Недалеко от меня сидели люди в коричневых рубашках, несколько иного типа — нацисты-интеллигенты, поджарые, с острыми чертами лица и холодными глазами, из тех, очевидно, которые проповедовали расизм как новую религию германского владычества. Помню, один из них произнес стих из «Фауста», однако без оттенка иронии, вложенного в него Гёте, а надменно, торжественно: «Немец не терпит французов, но их вина пьет с удовольствием».

Он сказал это после того, как новая многозначная цифра над столом президиума окончательно подтвердила размах гитлеровского торжества, а затем добавил:

— Ведь это целая политическая программа! А теперь у нас имеется для нее и реальная база...

Бюргеры в зале воодушевлялись, по-видимому, теми же чувствами. То и дело слышалось: «К черту Версальский договор!» Гремел старый гимн прусского милитаризма: «Германия превыше всего!» Борьба с универмагами явно отходила на второй план.

На эстраде Геббельс сидел теперь в каком-то оцепенении. Лицо его было бледно, глаза неподвижны. Рядом с ним сын последнего императора ерошил жидкие волосы, судорожно вскидывая голову в сторону огромного красного полотнища, на котором в белом кругу, словно паук, распласталась черная свастика.

. . . .

На другой день я беседовал с одним из лидеров германской социал-демократии, главным редактором газеты «Форверст». Сама редакция с бесчисленными кабинетами и совершенно невероятным множеством сотрудников, по виду напоминавших чиновников, общим стилем своим, атмосферой скорее всего походила на какой-то очень важный департамент. Главный редактор уделил мне полчаса своего времени. Это был крайне приятный в обращении, очевидно очень образованный человек. Но попытка его объяснить мне создавшееся положение явно не удалась, в чем он и сам признался:

— Надо еще многое передумать, взвесить все имеющиеся данные, собрать новые, сопоставить их со старыми, снова взвесить, и тогда уже что-нибудь, быть

может, и станет понятно. А сейчас никакой, решительно никакой ясности еще нет.

Именно с этого разговора во мне зародилось убеждение, что людям со свастикой на рукаве не так трудно будет расправиться с персоналом и руководством подобного рода партийных организаций — департаментов.

Париж, 1931 год. Экономический кризис, бушующий во всем капиталистическом мире, больно задел столицу Франции: в деловой жизни, в торговле застой. Международная обстановка обостряется. Идея реванша торжествует по ту сторону Рейна. В то же время позиции Франции слабеют. Победа, Версальский мир — все это далеко. Глухая борьба между победителями выявила новое соотношение сил: французская великодержавность на ущербе. Французской буржуазии неприятно сознавать свою несостоятельность, ей хочется доказать и себе и другим, что силы ее еще внушительны. А кроме того, нужно принять какие-то меры, чтобы оживить экономическую жизнь, создать какую-то сенсацию, которая привлекла бы к Франции внимание, выделила бы ее среди других стран. И вот в Венсенском лесу, у самых ворот Парижа, открывается грандиозная Колониальная выставка.

Какое богатство красок и образов, какая роскошная панорама!

Вспоминаю, как я в первый раз приехал на эту выставку и увидел над Парижем, над этим лесом с вычищенными дорожками и серебристыми прудами, главную ее достопримечательность: огромный храм Анкор-ват, французскими архитекторами и археологами (кстати, под непосредственным руководством мною уже упомянутого русского ученого Голубева) воспроизведенный из недолговечного материала в натуральную величину и чуть ли не во всех деталях! Ни храмы Индии, ни храмы Борнео, таящиеся в тропических зарослях, не обладают такими колоссальными размерами. Великий памятник древней кхмерской архитектуры, окруженный в Индокитае почти непроходимым лесом, возвышался теперь в двух шагах от метро. Миллионы людей были буквально ошеломлены его красотой. Конусообразные башни, подобные кущам деревьев, над галереями, тер-

расами, над главным святилищем, над лестницами и башнями меньших размеров. Величественность, простор, сложнейшая архитектурная композиция, развертывающаяся с предельной ясностью, с предельной гармонией... Подымаясь по ступеням, вы проникаете в особый мир далекой Юго-Восточной Азии (не Индия и не Китай), обретающий в этом памятнике одно из своих самых законченных воплощений. Вы идете по главной галерее вдоль рельефов, которые тянутся почти на километр. Они изображают сцены из «Рамаяны» — это тысячи и тысячи фигур, никогда не повторяющихся. Проходят перед вами вереницы священных танцовщиц, застывших в медлительном, размеренном танце, мелькают таинственные и манящие улыбки, и всюду, в мельчайших узорах и в огромных башнях, вы различаете единый мотив: тюльпанами вырастающие, теснящиеся, друг над другом возвышающиеся все в том же стройном порядке семиглавые змеи.

А у ног этого светлого храма, от которого веет покоем, древними преданиями и той неповторимой и неувядающей красотой, которая свойственна только самым высоким творениям человеческого духа, простирается пестрый и шумный Индокитай.

Павильоны, в которых представлены все богатства огромного края. Чуть ли не каждый вечер в этом отделении выставки давались спектакли или устраивались блестящие приемы. Маленькие девочки-танцовщицы, изящные и жеманные, в платьях «лунного блеска», воскрешали образы, запечатленные в скульптурах храма Анкор-ват. Суетились прислужники-аннамиты, с юных лет обученные низко кланяться белым и бояться их гнева. Подавались дымящиеся пряные индокитайские блюда и ледяное шампанское. Ярко горели лампионы, и пахло душными тропическими растениями. Атмосфера была совсем «колониальная»; в общем, не хватало только опиума. А среди черных фраков и светлых вечерних туалетов яркими синими, красными или золотыми пятнами мелькали облачения из шелка и парчи принцев индокитайских династий.

Главным комиссаром выставки был знаменитый маршал Лиотэ. Этот высокий, представительный старик долгие годы был повелителем Марокко. Его прозвали «строителем империй», потому что он упрочил

французскую колониальную власть, и славили как самого искусного, твердого и в тоже время дипломатичного проводника французской колониальной политики. Вспоминаю его на одном из приемов на выставке в полной парадной форме, в эполетах и красной ленте Почетного Легиона через плечо, низко, буквально по пояс склонившегося, приветствуя какого-то индокитайского принца. Это должно было обозначать здесь для каждого — вот как Франция уважает местные порядки, традиции и власть. Оба прекрасно играли свою роль: маршал Франции, для которого этот властитель был пешкой, но пешкой, необходимой в сложной и рискованной колониальной игре, и принц, который надеялся, что при таком этикете не зашататься массивному трону аннамского императора в его «Дворце совершенной гармонии» в Гуэ.

Так же-компезно были организованы и североафриканские отделы выставки. И столь же роскошные устраивались в них приемы.

Раскрашенные флаконы с восточными ароматами источали благовония, смуглые руки проворно разливали турецкий кофе парижанам и парижанкам.

— Как хорошо!— умилялся французский буржуа, созерцая с террасы элегантного кафе Северную Африку, тщательно вычищенную, принаряженную и надушенную для его услаждения.— Как прекрасен Восток, наш французский Восток!

Проходя между двумя шеренгами алжирских спаги с саблями наголо, точеные лица которых дышали отвагой, приближенные султана Марокко в белых бурнусах до пят и тунисского бея в мундирах и фесках, паши, предводители племен и просто богачи феодалы дополняли своим медлительным шагом, важным видом и французскими орденами на груди общую картину мира, согласия и прочности, которые, по мысли организаторов выставки, должны были открываться посетителям в Венсенском лесу.

В павильонах Черной Африки французского буржуа опять-таки охватывало умиление. Какие нужные народы! Как хорошо, что французские колонизаторы извлекают из них такую огромную пользу!

В первую мировую войну более полумиллиона солдат из колоний сражались в рядах французской армии.

Кроме того, несколько сот тысяч туземцов были использованы как рабочие. Французский буржуа знал эти цифры: надежда приумножить их в следующий раз буквально пьянила его. Людские и материальные ресурсы колоний способствовали его спокойному сну в годы, предшествовавшие второй мировой войне, и, так как это было ему приятно, он крепко уверил себя в том, что размеры и богатства французской колониальной империи вполне компенсируют упадок французской великодержавности в Европе.

Во времена, о которых я вспоминаю сейчас, французский буржуа не предвидел освежающей бури, уже разрушившей ныне французскую колониальную империю, не предвидел, что уже не «дряхлый» Восток противостанет силам империализма, а — юный и решительный, сверкающий справедливым негодованием. Да и не мог предвидеть, так как ничего не хотел знать, что шло ему «против шерстки».

Приятно думать, что Францию обожают в колониях! А потому полезно прочесть, например, в словаре «Ларусс», что маршал Бюжо проявил себя в Алжире «просвещенным администратором». Но когда один из офицеров армии Бюжо, граф д'Эриссон, сообщает: «Правда, что мы привезли бочку, наполненную ушами, отрубленными у пленных»,— об этом лучше и позабыть.

Это давние дела, но ведь последующие оказались еще ужаснее.

Колониальная выставка жестоко обманула французского буржуа, вернее — он сам пожелал обмануть себя этой выставкой. Ибо даже сам французский буржуазный суд утвердил формулу присяги, которая обязывает говорить не просто какую-то правду — это позволяло бы показывать лишь часть правды, а кроме того, ложь;— но «правду, всю правду, только правду».

И вот против этой формулы и погрешили коренным образом организаторы выставки, то есть те же французские буржуа. Впрочем, французские буржуазные правители грешили и продолжают грешить против нее решительно во всем.

Париж, 1934 год. Чудный летний вечер. На ипподроме Лоншан еще невиданный, грандиозный «праздник элегантности» — главнейшее событие всего сезона. Ночные скачки при электрическом свете, переливающемся серебром по зеленому лугу.

Небо в звездах, «весь Париж» в самых дорогих своих нарядах.

Море света, трепещущее среди окружающей темноты холодным, фосфорным блеском, море цветов, море цилиндров и фраков, море вечерних туалетов, белоснежных, золотистых, муаровых, море женских головок в сверкающих диадемах, море бриллиантов, рубинов и изумрудов на обнаженных плечах банкирских жен и маркиз.

Да, конечно, нигде, в Европе, а подавно в Америке не увидеть такого сочетания баснословной роскоши с изяществом, самым подлинным, которое создается для услаждения денежной знати многовековой парижской кузницей мод.

Не только скачки, но и пиршество: под навесом столы в цветах и блеск хрусталя — обед для самых избранных. Не только пиршество, но и бал: кружатся пары у подножия трибун, оглядываясь то на ложи, где президент республики, послы, министры, американские миллиардеры, английские лорды, индийские магараджи, то на далеко уходящих по кругу, бешено мчащихся лошадей, на которых поставлены миллионы.

И говор именно бальный: легкий, беспечный, не без злословия и с очередными сенсациями.

«Ах, какое восхитительное платье!» — «А вы слышали, у Зизи новый роман!» — «Не верю, мне Андрэ говорил, что такая женщина не может нравиться мужчинам!» — «Вы про Андрэ? Правда, что он нажил целое состояние на последнем крахе?» — «Не он, а брат его, Поль, чья жена в лучших отношениях с министром и который сам проводит все вечера у Мари-Клод».— «Кстати о Мари-Клод... Она недавно ездила в Берлин и познакомилась с Герингом, который преподнес ей колоссальный букет с запиской: «От первого летчика третьего рейха первой красавице Франции».— «Вздор, вздор, вздор! Я никогда не любила вашу Мари-Клод. Ведь такой человек, как Геринг, мог бы найти француженку и поумней и поинтересней!» — «Геринг? А

вы слышали, будто что-то произошло сегодня в Германии? Мне знакомый дипломат только что говорил. Гитлер и Геринг раскрыли какой-то заговор. Масса убитых. И среди них генерал фон Шлейхер, с которым так дружил наш милый Франсуа-Понсе. Но это ловкий человек, он с самим Гитлером душа в душу и, я уверена, удержится в Берлине послом, кого бы там ни убивали!»—«Это главное... Но Гитлер? Вот бы нам такого правителя! Гений! Бедная Франция с ее бесцветными Лебренами да Думерами....»—«Позвольте, дорогая, а Петэн...»

То был последний июньский вечер, вечер страшного дня, когда по ту сторону Рейна, в «стране Нибелунгов», произошли кровавые трагические события. В этот день Гитлер, объявив себя высшим источником правосудия, лично руководил расправой, то есть расстрелом на месте — в кроватях, за утренним завтраком или среди сна, в министерских кабинетах и клубных гостиных — всех, в том числе и самых близких ему персон, которых он заподозрил в недостаточной готовности к полному повиновению.

С этого дня власть Гитлера стала самодержавной, а сам он самодержцем, даже не божьей милостью, как былые монархи, а собственной, гитлеровской, божьей милости равной.

Угроза войны придвинулась еще ближе.

«Да, Петэн.. Я ставлю на Петэна! Он и полковник де ла Рок... Ха-ха-ха, ведь политика — это те же скачки. Но обязательно с препятствиями!» — «Вот Гитлер и перескочил через все! Только бы нам не ссориться с этим человеком. Как ловко ликвидировал коммунизм! Но что поделаешь, когда у нас всем распоряжаются евреи да масоны...»—«А вот и мой муж, он тоже что-то слышал про Гитлера, но сейчас он очень зол, крепко проиграл, поставил на лошадь нашего дорогого барона».—«И вовсе нет! Ведь я сразу поставил на трех... Так-то надо и в политике... А каков Гитлер! Страшные дела, однако всех сокрушил! А в нашем министерстве иностранных дел, конечно, ничего не предвидели. Но в какое интересное время мы живем!.. Прямо замечательно!»

Женева, 1935 год. Первый акт фашистской агрессии совершен. Лига Наций обсуждает жалобу на Италию, вторгшуюся в Эфиопию.

Некогда в Лиге Наций царил Аристид Бриан, царил в том смысле, что все восхищались его красноречием. Так же царил там Поль Бонкур. Много лет подряд французские делегаты произносили в Женеве эффектные речи, награждаемые шумными аплодисментами делегатов других держав. Впрочем, этим дело часто и ограничивалось: англичане не удостаивались подобных оваций, зато слово их сплошь и рядом определяло исход голосования.

Францию представляет в Женеве делегат особого типа. Речи его не потрясают сердец, ораторский стиль достаточно бесцветен, вульгарен; от Бриана, к которому некогда был близок, он унаследовал главным образом дар закулисной интриги, но присовокупил к этому и кое-что свое: недоговоренность, двусмысленность, поиски темных путей. И в этом его сила: во французском парламенте и в Лиге Наций опасаются этого политического деятеля, так как не знают, что кроется за его внешней сговорчивостью, отсутствием резкости, извилистой предприимчивостью,— это Пьер Лаваль.

Во всем облике этого человека есть что-то ординарное, как буржуа полагает, «простонародное», но простым человеком его никак назвать нельзя — это по виду скорее внезапно разбогатевший конский барышник, любящий щегольнуть эксцентричностью, нелепым белым галстуком, например, над которым потешаются и в театриках Монмартра и на междунароных ассамблеях, или фамильярными заявлениями какому-нибудь чопорному иностранному дипломату: «Послушайте, старина, ведь мы с вами всего лишь маклеры!..»

Прямая его противоположность — изящнейший английский министр Антони Иден.

Я наблюдаю, как у двери в зал заседаний каждый из них предлагает другому пройти первым: Лаваль явно порываясь, но все же не решаясь похлопать Идена по плечу, Иден легким поворотом головы, с чуть заметной улыбкой показывая на дверь. Так стоят они друг против друга, а между тем, слегка вразвалку семенит к двери Литвинов: кивок Идену, кивок Лавалю — и,

не задерживаясь между ними, первым входит в зал.

Советская делегация приковывает все мое внимание. Испытываю минутами то же чувство, как на польско-советской границе, когда не мог оторваться от арки с пятиконечной звездой и столбов, уходящих в родную даль. Так хотелось бы поговорить с этими людьми, ну хотя бы с А. М. Коллонтай, чтобы рассказать, как шестнадцатилетним мальчиком шел на ее квартиру, вот так же как сейчас, смутно желая найти общий язык с новой, неведомой мне Россией. Но между нами черта. Вышло так, что я чуть не перешагнул ее на миг.

В то время как я разговаривал в кулуарах с литовским посланником в Париже, мимо нас прошел Потемкин. Мой собеседник поздоровался с ним и вдруг ко мне: «Вы незнакомы?» Но в ту же секунду вспомнил, осекся и поспешил заговорить о другом.

Советская делегация привлекает не только мое, но и всеобщее внимание. И сознание этого мне приятно. Эфиопов жалеет здесь большинство, но жалеет как обреченных. Против Италии будут приняты санкции, но в их эффективность мало кто верит. Темный клубок интриг, где сразу не разберешь, кто за кого, чьи и какие затронуты интересы. Ну, например, польский министр иностранных дел, сухой и длинный как жердь, полковник Бек... В какой-то комиссии обсуждаются данцигские дела. Слушая Бека, можно подумать, что он нанят в качестве адвоката данцигскими нацистами, то есть злейшими врагами Польши. Лаваль говорит в кулуарах: «Если мы озлобим Италию, она бросится в объятия Германии!», но сам он, как и Бек, действует только с оглядкой на Берлин.

Правый французский журналист, поклонник фашистских авантюр, сообщает мне откровенно:

— Беда! Советская делегация занимает сейчас самую ясную и последовательную позицию. Она заявляет, что Советы против агрессии, и все знают, что это действительно так. Писать об этом, конечно, нельзя, но признать приходится. Позиция советской делегации очень сильна. Моральный вес ее все растет. И это чрезвычайно неприятный симптом.

. . . .

Итак, агрессия была развязана.

Съездив по этому случаю в Рим, редактор «Возрождения» Семенов привез оттуда открытки, которыми одарил всех сотрудников газеты. Они изображали высокого курчавого мальчугана в черной фашистской рубашке, удовлетворявшего естественную потребность на разложенное у его ног торжественное постановление Лиги Наций о санкциях против Италии.

ГЛАВА 13

ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ

Около десяти лет я был парламентским корреспондентом и несколько сот раз побывал в Бурбонском дворце, где заседала французская нижняя палата, палата депутатов, переименованная после войны в Национальное собрание.

Середина тридцатых годов...

С трибуны печати зал заседаний кажется человеческим муравейником. Лишь на крайнем левом секторе, на «горе», что под самой этой трибуной, устойчивость и сосредоточенное спокойствие. Правее, куда ни взглянешь, полукругом расходящиеся сиденья кишат ерзающими, суетящимися фигурками. Вот одна встала и снова опустилась на мягкую скамью, другая машет руками, третья семенит к выходу, четвертая только что вошла и хлопает сидящих по плечу, а то и по животу, что здесь означает приветствие. Шум разговоров часто заглушает ораторов, а внутренее непрекращающееся движение создает впечатление чего-то зыбкого и, в общем, мало внушительного.

Под великолепным гобеленом блеклых зеленых и розовых тонов, который воспроизводит знаменитую композицию Рафаэля «Афинская школа», восседает председатель.

Это один из первых сановников республики. Прямо на него указывает с гобелена рафаэлевский Аристотель, а когда он следует в зал заседаний из своих роскошнейших апартаментов, выстраивается караул, бьет барабан и генерал, командующий охраной Бурбонского дворца, салютует ему шпагой.

Со своей вышки, сложного и парадного сооружения, именуемого на интимном парламентском жаргоне «насестом», председатель определяет своей персоной места, занимаемые фракциями. Важно здесь не как сидишь сам по себе, а как сидишь по отношению к этому человеку: такова парламентская традиция. А посему правым, например, восседающим по правую руку председателя, пришлось бы повернуться к нему спиной, если бы они захотели увидеть левых в самом деле налево от себя. Но это, конечно, мелочь, одна из условностей буржуазного парламентаризма, а реальные противоречия можно найти в нем и более существенные.

Внизу, как раз напротив председателя, скамьи членов правительства. Если голосование оказалось неблагоприятным для кабинета, министры, во главе с премьером, хмуро поднимаются с этих скамей и гуськом выходят из зала. Но пройдет несколько дней, и новые министры, из которых очень часто многие входили и в прежний кабинет, сядут на те же скамьи, и все пойдет по-прежнему, то есть будет проводиться все та же архибуржуазная политика.

Но зал заседаний открывает наблюдателю лишь официальную, показную сторону французского парламента. Зал «Потерянных шагов», где в углу стоит бронзовая группа Лаокоона, и зал «Четырех колонн»— преддверье его внутренней, так сказать, интимной жизни. С них, собственно, начинаются кулуары. Достаточно побыть несколько часов в этих залах, чтобы ясно ощутить кто на самом деле люди, которых официально принято называть правителями Франции.

В буржуазных странах есть банкиры и торговцы, есть военные и полицейские и есть политики, точнее — политиканы. Политика для буржуазии — это профессия, тем отличающаяся от прочих, что скрывает свою сущность.

Эта профессия совсем не требует от людей, как будто призванных управлять государством, знания государственной машины, умения руководить той или иной отраслью хозяйства или общественной жизнью страны. На это есть чиновники. «Министры проходят, чиновники остаются»— старая аксиома, на которой покоится французская буржуазная государственная машина. А чиновникам действительно все равно, слу-

жат ли они под начальством радикала, правого или социалиста: в конечном счете, это ничего не меняет.

Вот разразился министерский кризис. В кулуарах Бурбонского дворца непроходимая толпа парламентариев, журналистов и членов партийных комитетов. Много поучительного можно услышать здесь в такие дни.

— Вы знаете,— говорит, например, какой-нибудь парламентарий про своего коллегу,— он человек настойчивый: не теперь, так в другой раз непременно попадет в министры. С тех пор как начался кризис — не выходит из дому! Ждет звонка. А вдруг будущий премьер захочет дать ему портфель? Вот и сидит у себя и своим нетерпением буквально сводит с ума домочадцев.

Депутат, которого вызывает к себе лицо, формирующее кабинет, обычно не имеет понятия, будет ли ему предложено, например, возглавить министерство земледелия, морское или же общественных работ. Как правило, ни для одного из них у него нет соответствующей подготовки. Но опять-таки, как правило, он согласен на любой портфель. Решение же премьера зависит чаще всего от того, не зарится ли на данный портфель другой, еще более напористый и влиятельный парламентарий.

Быть дома, когда может вызвать будущий премьер, быть в кулуарах, когда там подготовляется какая-нибудь чреватая выгодными последствиями махинация,— это политика. Знать, когда надо откровенно голосовать против правительства, а когда выгоднее передать свой голос коллеге, который будет голосовать за доверие, но затем, уже после объявления результатов голосования, «уточнить» с занесением этого в протокол, что на самом деле хотел голосовать против, и, таким образом, высказаться против правительства, фактически не лишив его голоса,— это тоже политика. А главное во всей этой «политике» — защищать интересы финансовых групп, от которых зависишь, говоря неизменно об «общем благе», об «общей пользе» и о «великих идеалах» с таким видом и таким голосом, будто готов отдать за них жизнь. И потому адвокаты с сомнительной репутацией, краснобаи и плуты, всегда занимали во французском парламентском мире первоазрядное положение.

Как-то еще во времена Тардье и Лаваля социалисты обвинили министра Фландена, будущего премьера и будущего петэновского сотрудника, в том, что он свя-

зан с банками и выполняет их волю. Фланден поднялся на трибуну и чуть ли не в двухчасовой речи подробнейшим образом рассказал о финансовых связях и о зависимости от банков и трестов виднейших социалистов во главе с Леоном Блюмом. Произошел шумный скандал, который, естественно, ни к чему не привел, так как это была стычка всего лишь «для галерки»: с глазу на глаз депутаты конкурирующих фракций, конечно, не обвиняют друг друга «в таких пустяках».

В зале «Потерянных шагов», всегда наполненном клубами табачного дыма, и в более интимном зале «Четырех колонн», где много мягких кушеток, депутаты буржуазных фракций чувствуют себя в своем кругу и ведут себя совсем непринужденно. Бывало, здесь Леон Блюм длинными цепкими руками обнимет за талию Пьера Лаваля, против которого только что «яростно» выступал с трибуны, и что-то зашепчет ему, лукаво улыбаясь из-под усов. Под руку, как лучшие друзья, крайний правый и радикал отправятся отсюда в парламентскую «пивнушку». Фракции здесь — не более как подразделения одного и того же соединения. И члены их — все «копэны», однокашники, которые друг с другом на «ты». Да, наконец, разве фракции — понятия, к чему-то обязывающие?.. Вот этот, что был избран как социалист, отсел правее, когда оказалось, что хозяевам выгоднее и ему самому доходнее такое несущественное изменение в секторе профессиональной работы. А тот правый, по тем же причинам, примкнул к радикалам. Избирателей это не касается: выбрали — значит, дали бесконтрольную власть на целых пять лет!

Из всех моих парламентских воспоминаний вот, пожалуй, самое яркое, оставшееся на всю жизнь.

Я стою около небольшого окошка, перед дверью в буфет журналистов. Это окошко, скорее люк, выходит на мост через Сену и на площадь Согласия. Нас много тут, журналистов и депутатов, то и дело прибегающих на минутку из зала заседаний. И каждый из нас протискивается поближе, поднимается на цыпочки, жадно вглядываясь в вечернюю темноту и жадно прислушиваясь. Из этого окошко лучше всего видна площадь. Она вся полна народу, который стеной надвигается на мост, уже вступает на него с гулом и ревом. Вдали —

языки пламени. Это горит подожженный дворец морского министерства. Людская стена все ближе, рев все громче. Около меня толстый депутат-радикал апоплексически краснеет и хватается за голову. Войска, охраняющие парламент, шаг за шагом пятятся на мосту. Люди оборачиваются, видимо ожидая подмоги. В свете фонарей мелькают их сумрачные лица, каски, карабины, ремни.

Я выхожу во двор без пальто, не чувствуя холода от нервного возбуждения. У главного входа, как раз против моста, молоденькие солдаты выстраиваются с ружьями на изготовку. Слышу, как один говорит: «Сейчас прорвутся, тогда все пропало!» На самом мосту какой-то водоворот: бегают офицеры, отдавая приказания, рев толпы то чуть удаляется, то снова прокатывается все ближе, и тогда слышится явственно: «Долой мошенников! Долой воров!» Взад и вперед, засунув руки в карманы, шагает перед палатой префект полиции Бонфуа-Сибур; скулы его судорожно подергиваются, глаза прищурены, шея втянута в плечи.

Это 6 февраля 1934 года. Фашистские лиги штурмуют Бурбонский дворец.

Возвращаюсь в палату. Из зала «Потерянных шагов» устремляются к выходу, тоже, очевидно, чтобы взглянуть на мост, какие-то депутаты с растерянными лицами.

В зале заседаний такой же гул и рев, как на мосту. Председатель социалист Бюиссон без устали потрясает звонком, лицо его багрово и выражает крайнее напряжение. На правительственной скамье различаю широкий затылок Даладье: премьер-министр сидит, опершись на локти и низко опустив голову. Сосед-журналист сообщает мне, что министра внутренних дел Фро только что вызвали из зала: он выбежал, возбужденно размахивая руками. На трибунах для публики разгоряченные лица дам и господ из «всего Парижа». Вижу, как кто-то из них показывает плакат с огромной надписью: «Я не депутат». «Когда ворвется толпа, всюду замелькают такие надписи!— говорит мне тот же сосед-журналист, сотрудничающий в правых газетах и вполне сочувствующий такому обороту событий.— Вы заметили, как перепуганы на левых скамьях? Сегодня французскому парламенту конец!»

Но вот в зал вбегают несколько депутатов: одни устремляются к Даладье и что-то говорят ему наперебой, другие спешат на правый сектор, и вокруг них тотчас образуются возбужденные группы.

Затем правые депутаты Скапини, Анрио, Валла — все будущие вишисты, коллаборационисты — подступают к Даладье, а за ними еще другие из тех же правых фракций, из тех же лиг, которые хотели свергнуть в этот день парламентский строй.

Под непрекращающийся звон председателя они кричат, обращаясь к главе правительства:

— Вы дали приказ стрелять?

— Как вы смели!?

— Убирайтесь вон!

Даладье молчит, все так же опустив голову.

Еще несколько минут перед тем охваченные смятением, радикалы и социалисты устраивают бурную овацию премьеру. На лицах ясно читаешь: «Ура! Мы спасены!»

Открыв буквально в последнюю секунду огонь на мосту, подвижная гвардия остановила толпу, уже почти прорвавшуюся к главному входу. Фашисты бежали. Но вслед за ними ретировался и радикал Даладье. Только могучая контрдемонстрация трудящихся и всеобщая забастовка, охватившая более четырех с половиной миллионов рабочих, предотвратили в последующие дни установление авторитарного режима.

Событиям 6 февраля предшествовало раскрытие грандиозного мошенничества, «героем» которого был некий выходец из России Стависский. Действуя через подставных лиц, Стависский разместил акции Байонского муниципального ломбарда на колоссальную сумму, никак не соответствовавшую реальному значению этого довольно скромного предприятия. При аресте Стависский погиб. «Покончил самоубийством»,— гласило официальное сообщение; «Убит тайной полицей по приказу премьер-министра Шотана, боявшегося разоблачений»,— писали правые газеты.

Дело это было замечательно тем, что оно раскрывало пружины коррупции при парламентском строе, всю ее, так сказать, технологию.

Почему, например, такая-то газета, пытавшаяся коечто сообщить об аферах Стависского, вдруг прикусила

язык? А потому, что предприятие, которое контролировал Ставиский, начало помещать объявления в газете за плату, вскоре составившую основной доход этого органа «свободной демократической мысли».

Почему ряд сотрудников Ставиского были в свое время привлечены к уголовной ответственности, но дела их в суде постоянно откладывались, так что все они могли продолжать свою деятельность? А потому, что защитником их выступал сенатор-радикал Рене Рену, неоднократно занимавший пост министра юстиции. Рене Рену судили затем за сообщничество, но суд его оправдал. В самом деле, формально состава преступления не было в его поступках. В адвокатской мантии, значит в качестве адвоката, он являлся к судье и просил его по таким-то и таким-то причинам отложить слушание дела своего клиента. Никакого давления он при этом не оказывал, ничего не говорил, что выходило бы из рамок его профессиональных адвокатских обязанностей. Но мог ли судья устоять перед человеком, который, когда был министром юстиции, назначил его на этот пост и от которого, когда он снова станет министром, опять будет зависеть его карьера?

Почему липовые акции Байонского ломбарда приобретались рядом предприятий, близко связанных с государственной машиной? А потому, что соответствующие ведомства рекомендовали их приобретение. Почему рекомендовали? А потому, что во главе этих ведомств стояли лица, занимавшие в предприятиях самого Ставиского различные фиктивные должности (например, юрисконсульта), за что и получали огромные оклады, причем обязанности их сводились только к такого рода рекомендациям.

Характерным во всех этих подробностях было именно отсутствие формального состава преступления. Получалось так, что самая власть, ее методы и организация таили в себе состав преступления. Благодаря делу Ставиского это вдруг стало ясно всем. Да, всем!

В этом отношении дело Ставиского ярко напомнило мне распутинщину. Точно так же, как иные сановники империи не стесняясь бранили тогда царя и царицу за потворство «темным силам» и объявляли, что самодержавие сгнило, ныне сановники Третьей республики открыто говорили, что парламентский строй прев-

ратился в помойную яму. При этом, подыскивая прецедент в отечественной истории, они ссылались на знаменитое дело «ожерелья королевы», непосредственно предшествовавшее революции 1789 года, дело, в результате которого оказались забрызганными грязью и королевский скипетр и архипастырский посох.

На выборах 1936 года победил Народный фронт, в котором самой динамической силой были коммунисты. Таков был непосредственный ответ французского народа на коррупцию буржуазного строя, на события 6 февраля.

Но и Народному фронту не суждено было обновить Францию. Французские правящие круги ясно поняли опасность, все свои силы и волю направили на борьбу с ней и в год-другой рассеяли на какое-то время нависшую угрозу.

Март 1939 года. Я говорю знакомому французу из буржуазии:

— Ведь это очень серьезно! Захватив Чехословакию, Гитлер заручился огромным козырем. На чехов как на бойцов во имя Германии ему, конечно, рассчитывать не приходится, но он использует их как рабочую силу, которая позволит отправить на фронт возможно большее число немцев.

— Ничего!— отвечает мой собеседник.— Важно только продержаться нужное время. А затем к нам на помощь подоспеет Англия со своими огромными ресурсами. А Америка? Ведь она не даст нас раздавить?

Этот француз, подполковник запаса, доктор юридических наук — директор крупного предприятия. Но мне кажется, что он рассуждает, как ребенок, который боится, что у него отнимут любимую игрушку. Я возражаю:

— Но как вы продержитесь? Ведь Польша, на которую вы рассчитываете, это не Россия. Немцам не придется отправлять на Восток половину своих сил, как австро-германской коалиции в 1914 году.

— Ничего! Польша продержится. Послушайте, мой дорогой, я к вам лично питаю большую симпатию, да и вообще очень ценю русских... Среди них ведь имеются замечательные артисты! Вот видите этот раскрашенный абажур? Это — творчество вашего соотечественника, не-

сомненно весьма одаренного человека. Но разве вы вояки? Что сделала Россия в 1914 году? Только ввела нас в заблуждение. Право, нам теперь легче будет и проще, так как мы вступаем в войну, не надеясь на ее помощь. А наши солдаты покажут себя снова, как под Верденом! Это вам не русские мужички! Ха-ха-ха! Вы читали, как генерал Вейган — а ведь это наш самый умный военачальник — объявил, что французская армия и по духу, и по технике, и по уровню командного состава находится на совершенно беспримерной высоте? Что вы на это скажете?

Все забыл! Ничего не знает! Ни того, как Франция молила Россию о помощи в критические дни перед Марной, ни того, как Россия, обливаясь кровью, ей помогла, ни того, как французские военачальники благодарили Россию и тогда и в последующие годы войны. Ничего не хочет знать! Потому что ему дорога игрушка; он думает, как сберечь свое добро, а не о том, как подготовиться к войне. А посему лучше всего забавляться игрушкой, то есть отвечать на всякое предупреждение самым простым образом: «Ничего!» «Ах, эти русские с их вечным «ничего»!— так французы издавна шутили над нами, находя в этом термине особенно характерное выражение нашей, мол, исконной «беспечности», нашего «фатализма». Теперь хоть не этим русским словом, а своими французскими, но такого же смысла, они тешат себя в спасительном самоублажении. А оно действительно благотворно для послеобеденного приятного пищеварения.

Но за свой кошель они держатся крепко.

— И наконец, что несет теперь ваша Россия?— продолжает подполковник запаса, доктор юридических наук.— Большевизм! Красная Армия для боя с немцами не годится — значит, нечего и домогаться ее помощи. Нет, нет и нет, никакого соглашения с большевиками!

Ах, как были утешительны разговоры в парижских гостиных предвоенных месяцев!..

—...Коррупция, темные силы, разложение парламентаризма — все это верно. Но ничего! Этим недугом Франция страдает уже полстолетия. Панамский скандал не уступал ведь делу Стависского. И что же? Все-таки выиграли войну. Нашелся Клемансо! У нас всегда в нужную минуту находится крупный человек!

— ...Я только что из министерства иностранных дел. Наш берлинский поверенный в делах де Сент-Ардуен доносит, что Гитлер напуган мощью французской авиации. Это очень симптоматично!

— ...А вы слышали, полковник Бек заверил нашего посла в Варшаве, что Польша не отступит ни на шаг перед немцами. Польская армия — это крупнейшая сила!

В этот предвоенный период я встретился на одном завтраке с тогдашним морским министром Кампенки. Я его немного знал. В качестве адвоката Кампенки выступал в ряде антисоветских процессов. Это был очень известный и ловкий адвокат, славившийся своим красноречием. Несколько шокировало меня в нем следующее. На большом процессе, полемизируя со своим оппонентом, адвокатом-парламентарием, Кампенки с неподдельным пафосом объявил (я сам это слышал): «Вы не только адвокат, но и политик! А меня интересует одно правосудие! Я политикой никогда не занимался и заниматься не буду. Потому что политика мне претит органически». И вот, несмотря на это громогласное и категорическое заявление, Кампенки погрузился затем в самую гущу политики, стал депутатом, виднейшим членом партии радикалов, попал, наконец, в министры.

Вспомнив наши предыдущие встречи, Кампенки сказал мне конфиденциально:

— Если грянет война, русской эмиграции суждено будет сыграть в ней свою роль. Мы смотрим далеко вперед. По Советскому государству будет нанесен удар... Так или иначе !...

Кстати, этот завтрак давался Гукасовым. Среди приглашенных был и великий князь Андрей Владимирович. Кого посадить на главное место? Русского великого князя? Но ведь он неофициальное лицо. А Кампенки — министр страны, оказавшей нам приют. Как же поступить, не обидев ни того, ни другого?

Долго ломали мы с Гукасовым голову над разрешением этой проблемы. И в конце концов нашли выход. Сам хозяин, то есть Гукасов, сел где-то сбоку длинного стола, а Кампенки и Андрей Владимирович — друг против друга, каждый как бы во главе этого стола. Начиная с них, два лакея одновременно подавали им блюда.

После завтрака, однако, вышла заминка. Кому выйти первому из столовой? С чисто французской учтивостью Кампенки буквально заставил Андрея Владимировича пройти перед собой, сказав, что «его ноги отказались бы повиноваться», если бы он, Кампенки, не уступил дороги.

Перед самой войной приезжал в Париж мой приятель с детских лет Борис Пименов. Это был виленский богач и депутат польского сейма. Сын «старообрядческого короля» (так называли его отца в Вильне, где было много старообрядцев, некогда переселившихся туда из России), он владел крупнейшими доходными домами, многими предприятиями и угодьями. В польский сейм Борис Пименов прошел по правительственному списку пилсудчиков, но за отсутствием там других русских фактически представлял в польском парламенте русское меньшинство. Он был близко связан с польскими правящими кругами, которые очень считались с ним как с крупнейшим капиталистом виленского воеводства.

Мы провели вместе вечер в ресторане. Пользуясь давнишней дружбой, я подробно расспрашивал обо всем. Борис Пименов высказал такие соображения:

— Польша, конечно, никогда не согласится на помощь Красной Армии. Я беседовал на эту тему не только с министрами, но и виднейшими представителями польского генерального штаба. Польская армия исключительно сильна. Гораздо сильнее, чем думают в Германии. Я не могу говорить об этом подробнее, так как это военная тайна... Но факт есть факт: в военном отношении Польша во многом уже опередила Германию. И потому, хоть польская армия численно и уступает германской, Польша может продержаться против немцев одна по крайней мере полгода. Да, полгода! Таково глубокое убеждение польского командования. А через полгода Франция и Англия так насядут на немцев, что им будет капут!

Часть третья



ГЛАВА 1.

СТРАННАЯ ВОЙНА

Во вторую мировую войну русские эмигранты, бесподданные, были мобилизованы во французскую армию.

Эта мера, кажется, не имеет прецедентов.

От русских эмигрантов, не участвующих во французской политической жизни, не имеющих права голоса, и, значит, никак не могущих считать себя частью какого-то французского единого целого, связывающего их общностью интересов, потребовали самой большой жертвы, на которую государство может рассчитывать со стороны своих полноправных граждан: жертвы кровью. При этом, обещая мобилизованным русским всякие льготы и уравнение в правах на труд, французские власти отказывались распространять эти льготы на членов их семей.

После соответствующего решения правительства (это было, если не ошибаюсь, примерно за полтора года до войны) русские эмигранты вызывались в полицейские комиссариаты, где с каждого бралась подписка, что в случае мобилизации он не возражает против призыва под французские знамена. О, подписка эта была объявлена вполне добровольной! Хотите — подписывайтесь, хотите — нет! Но неофициально разъяснялось, что не давшие подписки не только будут лишены права на труд, но и высланы из Франции. А так как высланному из Франции «апатриду» некуда было ехать, ибо ни одна страна не впустила бы его на свою территорию — не «подчиняющийся» же приказу о высылке карался тюрьмой,— то и получалось, что отказ от такой «добровольной подписки» означал для эмигранта трагедию, и потому фактически дали свою подпись все...

Хорошо еще, что русские были мобилизованы для участия в войне против фашистской Германии, впоследствии напавшей на Советский Союз.

Немало русских попало таким образом во французскую армию, и попало бы еще больше, старших возрастов (как, например, пишущий эти строки), если бы дольше длилась война. Многие среди них отличились, заслужили французские боевые ордена, многие обагрили своей кровью французскую землю, многие, разделив участь чуть ли не всей французской армии, томились затем годами в германских лагерях для военнопленных.

После освобождения Франции нашлась сердобольная русская женщина, которая посвятила себя розыску останков русских, погибших под французскими знаменами, чтобы свезти их на большое русское кладбище, стихийно возникшее в Сен-Женевьев-де-Буа, под Парижем, возле дома-убежища для престарелых русских эмигрантов.

На этом кладбище, которое открывается маковкой красивой церкви, как уголок старой России среди французского пейзажа, покоятся теперь мои родители и тысячи других русских, много лет томившихся на чужбине, людей часто заблудших, безвестных, а вместе с ними и те, чьи имена так или иначе вошли в нашу историю: Сазонов, русский министр иностранных дел, которому германский посол вручил в 1914 году грозную ноту об объявлении войны; Бурцев, разоблачивший Азефа, а затем в эмиграции работавший сообща с теми, которые некогда нанимали Азефа; Петр Струве, всю жизнь воевавший с Лениным, возможно так и не догадавшись, что только Ленин своими ссылками на него обеспечил его имени своеобразную долговечность; Дмитрий Мережковский, так и не переборовший в себе злобы к новой России; последний корифей русской классической литературы Иван Бунин, почти сорок лет безутешно, буквально страдальчески, тосковавший по покинутой им отчизне; самая славная представительница эмигрантской смены, молодая русская героиня Вика Оболенская, о которой речь впереди.

Русским воинам, павшим в рядах французской армии, воздвигнут здесь прекрасный памятник.

. . . .

Где бы он ни был, русский человек редко тонет в общей массе. И свою самобытность, свою русскую душу любит и умеет он показать, порой осуществляя на чужбине начало того процесса, который на протяжении веков так часто приводил к абсолютной (потому что действительно без остатка) русификации переселившихся к нам иностранцев. Мне рассказывали про французскую часть, шедшую к линии Мажино под марш из «Веселых ребят» (ах, как популярен был этот фильм в эмиграции!), между тем как звонкий русский голос разносил по французским полям советскую песнь, которая «скучать не дает никогда». Или о том, как, собравшись вечером вокруг костра, французские солдаты заставляли своего русского товарища вновь и вновь исполнить «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана».

Но были и такие случаи.

Уже пожилой человек, капитан старой русской армии, получивший после соответствующего (очень строгого) экзамена звание французского младшего лейтенанта, рассказывал мне с горечью, как в дни бегства вейгановской армии он тщетно приказывал французским солдатам создать какое-то заграждение на дороге, где вот-вот должны были промчаться немецкие мотоциклисты. Распознав по акценту, что он не француз, деморализованные солдаты кричали, убегая в лес: «Эти паршивые иностранцы хотят нас заставить сопротивляться!»

Увы, это не анекдот... «Паршивые иностранцы» (салз-этранже) — так нередко выражались особенно грубые полицейские, молодчики из фашистских лиг да обуреваемые брюзжащим обывательским шовинизмом мелкие буржуа, крепко забывая о том, что подавляющее большинство иностранцев, проживающих во Франции, приехали туда после первой мировой войны на основании рабочих контрактов, когда Франция нуждалась в рабочей силе. Но в этих словах убегающих солдат по адресу офицера, призывающего их к исполнению долга, звучало уже нечто иное: бессмысленная, отчаянная ярость людей, которым плюнули в душу. Ибо трагедия 1940 года была действительно плевком в душу обманутого своим правительством, беспощадно брошенного им на убой, а затем на произвол судьбы (страшной судьбы,

диктуемой торжествующим врагом) французского народа.

...Впоследствии французские полицейские чиновники, из тех, которые прислуживали гитлеровской власти, заявляли не раз русским эмигрантам при оформлении документов:

— Ага! Участвовали в войне! Неужели не могли увильнуть? Ведь это же была не ваша война! Что и говорить, нежелательные иностранцы...

. . . .

Однако призывом под знамена не ограничились в эти дни мероприятия французских властей по отношению к русским эмигрантам.

В ночь на 2 сентября 1939 года, одновременно со всеобщей мобилизацией, были произведены массовые аресты так называемых «нежелательных иностранцев». Из русских в эту категорию попали некоторые лица, скомпрометировавшие себя как гитлеровские агенты. Но главный удар был нанесен не по ним. В Париже, Лилле, Гренобле — по всей Франции были арестованы чуть ли не поголовно члены бывшего «Союза возвращения на родину», переименованного к тому времени в «Союз друзей советской родины», члены «Союза оборонцев», то есть русские, открыто занимавшие патриотическую позицию. Обе организации были разгромлены, все их имущество и архивы конфискованы. По подозрению в «большевизанстве» были арестованы многие русские, не входившие ни в какие организации, но восстановившие против себя полицейские власти своими «подозрительными», то есть патриотическими, высказываниями.

Да, в тот момент, когда Франция вступала в схватку с гитлеровской Германией, русские патриоты объявлялись «социально вредным элементом», от которого надлежит избавиться «во имя национальной обороны и общественной безопасности»...

В эту ночь в парижской префектуре полиции творилось нечто неописуемое. Туда свозились со всех концов города задержанные. В огромном зале префектуры стояла непроходимая толпа. В ней вместе с русскими эмигрантами находились коммунисты испанские, поль-

ские, итальянские, немецкие, все вообще иностранцы, в которых власти видели потенциальных противников антинародного политического курса.

Из префектуры задержанных развели по тюрьмам. «Особенно опасные» попали в одиночное заключение. Французская полиция пыталась сфабриковать грандиозное дело о шпионаже, в каковом преступлении были, в частности, обвинены члены «Союза друзей советской родины» и «оборонцы». Однако за полным отсутствием улик военно-полевой суд, разбиравший «дело» заочно, был вынужден прекратить следствие. Заключенных вывели из камер, собрали во дворе и там сообщили им, что они больше не находятся под следствием. Но вслед за тем им объявили «дополнительно», что все они высылаются в административном порядке как «нежелательные иностранцы». Мужчин отправили в лагерь Верне, около Тулузы, женщин — в лагерь Риокрос, в центре страны.

В лагерях томились уже тысячи испанских республиканцев. Многим русским суждено было разделить их участь. Кормили их впроголодь, в лагерях свирепствовали эпидемии, детская смерть (туда отправлялись и беременные женщины) была особенно велика.

Так буржуазная Франция расправилась с теми русскими, которые всей своей психологией, волей к борьбе, непримиримостью к фашистской агрессии были ближе всего к французскому народу.

* * *

Подобная прыть, проявленная французским правительством в деле мобилизации бесподданных и ликвидации «нежелательных элементов» создавала у некоторых впечатление, что оно не останавливается ни перед чем во имя войны и... победы над врагом. Но на самом деле такой прытью была отмечена лишь его внутренняя политика, выразившаяся в роспуске коммунистической партии, аресте и предании суду депутатов-коммунистов. В этом отношении буржуазная Франция, что называется, показала себя. Но в политике внешней, то есть в данном случае в войне, ни о какой прыти говорить не приходилось. Буржуазная Франция, по меткому определению самих же французов, подлинно вступила в «странную войну», и вся активность ее в этой войне вы-

разилась в первую очередь в болтовне: болтовне во имя самоуспокоения, самого сугубого самоуслаждения.

Когда я вспоминаю о периоде от нападения Гитлера на Польшу до нападения его на Францию, мне всегда кажется, что германской агрессии буржуазная Франция решительно ничего не противопоставила, кроме болтовни.

«Мы победим, потому что мы сильнее» — это болтовня печатная. Такая надпись красовалась на расклеенной по городу карте обоих полушарий, где одним цветом были выкрашены Англия и ее владения, Франция и ее владения и Польша, а другим — Германия. Получалось, что Германия какой-то пигмей, которого таким колоссам, как Англия да Франция (с придачей или без придачи кстати уже оккупированной Польши), так же легко раздавить, как обыкновенного клопа. Глядя на эту карту, буржуа-обыватель самоуслаждался: «Вот как хорошо! Можно, значит, не беспокоиться».

«Линия Мажино неприступна!» Это твердили в один голос радио и печать, генералы в обращениях к войскам и генеральши за чашкой чая, министры и актрисы, консьержки (от есть дворничихи) и маклеры, масоны 33-го градуса и епископы, финансисты и штабные писаря, а особенно настойчиво сами мобилизованные, которые, отправляясь на фронт, всячески убеждали себя, что им предстоят какие-то особые, государством оплаченные каникулы в благодатной тени железобетонной твердыни. Впрочем, винить их не следует: в том же крепко убедили себя их командиры, кадровые офицеры, прямо заявлявшие солдатам, что в этой войне доблестным защитникам Франции не придется опасаться за свою жизнь.

Оказалось, что еще жива почтенная мадам Мажино, мать покойного министра (кстати, большого кутилы и игрока), по инициативе которого и была сооружена эта пресловутая «линия». К престарелой даме направились депутации, ее благодарили на все лады и в речах и в печати за то, что она родила такого сына. «Ведь подумайте, благодаря Мажино мы можем быть совершенно спокойны!» Почему? А потому, что волк (сиречь Гитлер) никогда, мол, не осмелится вылезти из своего логовища, раз перед ним этакая махина!

Да, то была действительно странная война! И раз-

говоры были странные: «Нужно думать, думать и думать! Нынешний конфликт совсем особый, а потому разрешится иначе, чем предыдущие войны. Но как? Вот об этом-то и следует думать каждому из нас...» Думать, но не действовать. В самом деле, в плане «раздумья» некоторые из них достигли даже в это беспримерное время весьма примечательных результатов. Например, генерал Гамлен, верховный главнокомандующий, всеми признанный военный авторитет, которого славили на все лады за ясность и проницательность ума. И не напрасно! Этот генерал тоже предавался «раздумьям», которыми в минуты досуга делился со своим окружением, благодаря чему они и дошли до нас. Итак, углубляясь в «раздумья», французский главнокомандующий «видел» духовным оком очень многое: и массовую атаку механизированных дивизий, и массовую бомбардировку с воздуха, обходы, прорывы — короче говоря, маневренную войну, вовсе не похожую на окопное сидение 1914—1918 годов. «Видел», но и только. Если бы и ничего «не видел», действовал бы так же. Так как на практике этот генерал крепко придерживался духа и буквы, самим Петэном одобренных, пресловутых инструкций по руководству в бою крупными соединениями, каковые инструкции сводили к сущим пустякам роль механизированных частей, танков и авиации, опять-таки вполне подверждая неприступность линии Мажино.

Надо полагать, что такие «раздумья» мало приносили радости генералу Гамлену, ибо, чтобы претворить в действие их плоды, требовалось перевернуть вверх дном всю психологию, все установки, все мировоззрение правящего класса Франции, что, очевидно, было ему не под силу.

А потому большинство проповедовавших, что надо «думать, думать и думать», сами думали не о главном (оно могло оказаться слишком страшным), а всего только о том, что помогало забыться, уйти от действительности.

В какие-нибудь две недели хваленая Польша Пилсудского, кстати, только на словах поддержанная Францией и Англией, разлетелась в щепки под ударами гитлеровского сапога. Примечательно, что это событие как-то очень мало вызвало комментариев не только в пе-

чати (где всего нельзя было писать), но и в частных беседах. «Ничего! Это Польша, а мы другое...» Зато когда Красная Армия вступила в Польшу и тем предотвратила захват всей страны немцами, во французском буржуазном мире раздался сплошной стон: «Какой ужас! Несчастная страна! Это возмутительно! Это требует мщения!» Кажется, так просто было понять, что вмешательство Красной Армии невыгодно Германии, а значит, выгодно Франции, которая находится с Германией в войне. Но понять это — означало бы признать самый факт настоящей войны с Германией, что подействовало бы очень неблаготворно на пищеварение французского буржуа. «Это война особая,— говорил он.— Немцы помнят, как мы их разбили на Марне и под Верденом. Волк знает, что ему лучше не вылезать из своего логовища». Посидит-посидит, а затем протянет лапу французскому буржуа и скажет ему, осклабившись:

«Живи себе, буржуа, в свое удовольствие. А я тем временем перегрызу горло злому большевику. Потом попируем вместе!»

Такова была заветная мечта этого буржуа.

Вспоминаю один обед, на котором мне это стало особенно ясно.

Хозяйка была русская, вышедшая замуж за француза, богатого рантье, интересующегося только своей коллекцией марок. Он хоть и сидел с нами, но участия в беседе не принимал. Говорил же при этом без умолку единственный гость, кроме меня,— французский буржуа по фамилии Лагард. Этот г. Лагард имел ранг посланника и был тогда директором одного из департаментов «кэ д'Орсей» (так, по набережной, где оно помещается, французы называют свое министерство иностранных дел). По виду он казался очень воспитанным человеком, да таким, очевидно, и был в обычное время этот типичный, несколько «перекрахмаленный» дипломат. Однако в этот период истории Франции стихийная болтовня охватила даже чиновников самого осторожного в своих высказываниях ведомства. При этом в устах Лагарда болтовня приобретала особый, довольно курьезный характер. Он как бы размышлял вслух, философствуя на историко-политические темы тоном искушенного в таких делах тонкого и проницательного наблюдателя.

— Мы переживаем очень примечательное время,— объявил он, улыбнувшись (вероятно, не своим мыслям, а потому, что ему понравилось только что налитое из запыленной бутылки лакеем как рубины сверкающее вино).— Это закат! И все кругом нас озарено печальной красотой заката. Я порой сравниваю нас с последними римлянами. Да, как история повторяется! Народы, у которых самая благородная кровь, спускаются на арену, чтобы вступить в братоубийственный бой: французы, немцы, англичане. А вокруг варвары смотрят на них и ликуют.

— Кто же эти варвары?— спросила хозяйка.

— Как — кто? Американцы и русские. Это новые варвары, которые всем хотят завладеть и все растоптать. Первые — при помощи долларов, вторые — революционной доктрины.

Я было подумал, что Лагард считает нас уже не русскими, а парижанами, и потому не стесняясь называет русских варварами. Однако он продолжал:

— Американцев еще можно кое-как перевоспитать: ведь они с нами одинакового корня. А вы, русские, варвары в самом чистом виде: на всех русских татарская печать.

В отличие от старого литератора, суждения которого я здесь приводил, он не считал нужным разбавлять такие суждения оговорками, вставить хоть намек на комплимент по отношению к России.

— Вся история России варварская,— сказал он еще.— Пора, пора покончить с влиянием России на европейские дела, пора раз и навсегда загнать ее обратно в Азию и урезать как можно больше.

Я чувствовал, что вот-вот выйду из себя, а потому старался говорить как можно суше, официальнее:

— Господин посланник, слушая вас, можно подумать, что Франция в войне не с Германией, а с Россией..

— Ах, вы про эту войну! Слава богу, что это только «странная» война, Слава богу, что кровь еще не обагрила арену. Вот бы русские тогда радовались!

Этот дипломат, этот светский человек так ушел в болтовню, что уже не отдавал себе отчета в своем поведении. Хозяйка настойчиво переводила разговор на другую тему, но он упорствовал. Нам стало неловко, как бывает неловко от чего-то явно неприличного... А

он этого так и не заметил и распрощался очень довольный: тем, очевидно, что наболтался всласть.

Французы самый учтивый народ, но в эти месяцы французские буржуа многому разучились: все средства хороши, когда ни за что не хочешь взглянуть действительности в глаза. Болтовня стала для них как бы пьянством.

Дело в том, что действительность жестоко обманывала буржуа.

За несколько лет до войны известный историк Пьер Гаксот, впоследствии попавший в «бессмертные» (так называют членов Французской академии), говорил мне с подчеркнутым глубокомыслием:

— Цель Гитлера — Восток. Вся французская политика должна быть направлена на то, чтобы не мешать Гитлеру. В походе его на Москву единственное спасение для Франции.

При этом Гаксот добавил:

— Такой поход может быть двояко спасителен: избавит Европу от большевизма и истощит германскую мощь. С большевиками немцы, вероятно, справятся, но это будет не так легко, как у нас полагают некоторые легкомысленные политики и генералы. Большевизм — крепкий орешек. Пусть немцы ломают об него зубы: нам это выгодно! А там будет видно...

Ныне «бессмертный» Гаксот, как видно, всегда был человеком серьезным, не любившим решать с кондачка мировые проблемы. Но хоть и более извилистыми путями, он тоже в своих рассуждениях искал всего-навсего самоублажения.

Но вот война началась, а дальше Польши Гитлер все еще не шел на Восток, между тем как французам пришлось мобилизоваться...

Как-то вечером я столкнулся на затемненном бульваре с Муратовым. Мы зашли в кафе, и он прочел мне свою очередную политическую лекцию, предварительно сообщив, что всего на несколько дней приехал из Лондона, где «твердо обосновался». Большего о характере своей тамошней работы он мне ничего не сказал. Но, как помнит читатель, деятельность этого некогда известного в России искусствоведа заключалась, по-видимому, в выполнении каких-то заданий органов английской разведки и пропаганды.

— Это чистейшее безобразие! — сказал мне Муратов. — Гитлеровское нападение на Польшу было настоящим разбоем.

— Павел Павлович, вы же некогда говорили, что в Гитлере единственное спасение Европы...

— Да, говорил, и так могло получиться в самом деле. Но Гитлер сглупил. Пусть он и гений, а все же дурак! Если бы после Польши он пошел на Москву, Англия бы благословила его на это дело. А так выходит черт знает что! Да, просто разбой! Теперь Англия будет защищаться, и по-настоящему. Англичане серьезный народ: всё подымут на ноги, но не помирятся с Гитлером.

Но в Париже болтовня продолжалась. В трудный период войны Советского Союза с Финляндией острие этой болтовни направлялось всецело против России.

Помню показ кинофильма, иллюстрировавшего историю Европы за двадцать пять лет, то есть с начала первой мировой войны: это был монтаж из старых хроникальных кадров. Вот парад русской гвардии в Красном селе, а вот парад Красной Армии на Красной площади. Комментатор, тоже один из «бессмертных», невозмутимо поясняет: «Ничего не изменилось, русская армия годится по-прежнему только для парадов».

Истинный психоз охватил в эти дни французские правящие круги. Достаточно нескольких боевых французских дивизий да беспощадной бомбардировки Баку, чтобы покончить с СССР! Надо опередить в этом деле немцев! Вот это будет настоящая, разумная, выгодная война! Правительство Даладье уже принялось было за снаряжение экспедиционного корпуса... Как вдруг — Красная Армия взломала линию Маннергейма. Психоз окончился. И пуще прежнего разгулялась болтовня.

Болтовня в чистом виде, даже уже без претензии на какой-нибудь смысл.

Мне случилось быть в Люксембургском дворце, где заседает Сенат, когда пришло известие о гитлеровском нападении на Норвегию. Радоваться было нечему, а для тревоги основания всё увеличивались.

Помпезность и гармонические пропорции этого дворца всегда наводили на меня особое настроение: все дышало в нем величием французской истории, блеском французского искусства. И оттого сами сенаторы, восседаю-

щие в крытых красным бархатом мягких креслах, казались тоже величественными и мудрыми.

В кулуарах мне повстречался правый сенатор Готро. Связанный с антисоветскими организациями во всех странах, давнишний покровитель эмигрантских активистов, он упорно, последовательно работал на войну против СССР. Вместе с немцами, без немцев — все равно! Это был человек очень заурядных способностей, дурной оратор, но кому-то, очевидно, полезный на мелких ролях из-за своей упрямой ненависти ко всему прогрессивному.

События развивались совсем не так, как предполагал Готро. Как же он на них реагировал?

— Ну что же, все очень хорошо!— поведал он мне.— Волк вылез из своего логовища. Это как раз нам и на руку. Да. да! А ведь это могло бы и не случиться... Конечно! Однако кто бы мог подумать?! Значит, обезумел — раз вылез наружу. А мы только этого и ждали! Хорошо, когда все ясно. Ясность — это лучшее свойство французского ума. Да, да! Несдобровать волку! О нет! Я мог бы по этому поводу многое сказать. Но нельзя. Военная тайна! Да, да! Вот видите, как... Вам все понятно, надеюсь?.. В интересное время живем... Итак, волк отважился. Это очень существенно!

И так далее, и так далее.

Я его не дослушал, поняв, что он может так говорить час, два, круглые сутки.

А на другой день вся французская печать (за закрытием коммунистической выходила только буржуазная) разразилась статьями, под любой из которых с удовольствием подписался бы сенатор Готро: всё о волке, который вышел из своего логовища, и о том, как это хорошо.

На своем веку я много написал такого, о чем жалею теперь. Тоже и в эти месяцы и последующие. Однако кое о чем я все же могу вспомнить с удовлетворением.

Я завел в «Возрождении» особую рубрику, которой была отведена значительная часть первой страницы. Эта рубрика состояла из цитат на французском языке. Я цитировал известнейших французских историков, заявлявших, что только великодушию России Франция была обязана сохранением своего ранга великой державы в 1814 и 1815 годах, приводил заявления знаменитейших мар-

шалов Наполеона о доблести русских войск, опять цитировал французских историков, указывавших, что после франко-прусской войны Россия дважды спасла Францию от нового немецкого нашествия, и, наконец, свидетельства французских военачальников первой мировой войны о том, что наше самоотверженное наступление в Восточной Пруссии позволило Франции отстоять Париж.

Эти цитаты помогали эмигрантам в спорах с поносившими Россию французами. По моему указанию вырезки из газеты с французским текстом рассылались французским официальным лицам (вроде Лагарда), в редакции французских газет, во французские официальные учреждения.

Несмотря на ошибочность многих моих установок и неверность выводов в отношении новой России, дело это в основном было полезным.

К этому времени относится моя полемика с Шарлем Моррасом, вызвавшая довольно значительный отклик.

Этот идеолог французского монархизма, имевший большое влияние на некоторую часть молодежи, лидер монархического объединения «Аксьон Франсэз», очень известный писатель, член Французской академии, разразился бранной статьей по адресу России, считая ее лишь «географическим понятием».

Я отвечал ему в «Возрождении» по-французски. Взял в основу грубые, но вполне подходящие для данного случая слова Дюма-сына. Автор «Дамы с камелиями» примерно так отвечал хулителям своего знаменитого отца, автора «Трех мушкетеров»: «Мой отец — океан, вам не загрязнить его вашими нечистотами!» В подчеркнуто вежливой, но не менее категорической форме я обращал эти слова к Моррасу, сравнивая с океаном Россию. Затем опять цитировал свидетельства французских историков, государственных деятелей и военачальников касательно того, чем Франция обязана России. И, наконец приглашал «бессмертного» совершить со мной небольшой исторический экскурс. Я напоминал Моррасу, что, когда мелкие германские княжества изнемогали в междоусобной борьбе, когда Берлин был всего лишь столицей Пруссии, а Рим — папских владений, Россия уже давно утвердила свое единство. Лучшие армии мира — Карла XII и Наполеона — разбились насмерть о ее твердыню. В Париже, Берлине и Милане развевались победоносные рус-

ские знамена. Оттоманская империя и Австро-Венгрия, основывавшие свое могущество на угнетении, сошли с исторической сцены под ударами русской армии. Я напомнил также Моррасу, что если Франция — наследница Рима, то Россия — наследница Византии, а ведь крестоносцев, то есть западных феодалов, в Царьграде встречали как варваров. Без России, указывал я в заключении, Европы быть не может.

Иван Шмелев писал мне тогда: «Отлично, крепко, метко ответили на злостную клевету о России. Достойно всыпали лавровому хаму»[1]. (Привожу это высказывание известного писателя как типичный образец сугубо эмигрантского псевдопатриотизма: когда гитлеровцы пожелали огнем и мечом обратить в рабство русский народ, Шмелев уже за Россию не оскорблялся.)

Моррас отвечал мне, стараясь смягчить резкость высказанных им суждений. Хотя я и отмежевался в этой своей статье от новой, революционной России, ее, к немалому смущению «Возрождения», все-таки перепечатали в «Эпок», в то время едва ли не единственной парижской газете, робко, но все же явственно высказывавшейся за сближение Франции с СССР.

Уже до войны в спорах с иностранцами о России я огорчался полной для меня невозможностью найти с ними общий язык.

Вот, например, иностранец — все равно, француз, немец или американец,— отрицающий прогрессивное значение Октябрьской революции, считающий, что Россия пострадала от революции и что коммунизм — угроза для мировой цивилизации. Казалось бы, у него должна быть общая платформа с «Возрождением», где я сотрудничаю. Однако хулу на революцию такой иностранец обязательно распространяет на всю русскую историю. Он не признает ни роли России в общеевропейском развитии, ни значения русской культуры. Он отрицает Ленина и плохо знает Толстого. Не признает советского строительства и не чувствует красоты Петербурга. Не верит в мощь Красной Армии и утверждает, что только холод изгнал Наполеона из России. Считает, что место России — за Уралом, и даже когда он этого прямо не говорит, мне ясно, что, по его мнению, Россию следовало бы расчленить. Мы с

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 1447.

ним чужие, каждое его суждение коробит меня, отталкивает от него.

А вот другой иностранец — опять все равно какой национальности. Он не коммунист, но считает, что Октябрьская революция знаменует собой решающий поворот в мировой истории. Он с интересом и сочувствием относится к созданию в СССР нового, социалистического общества. Он враг фашизма и видит в СССР оплот в борьбе против мировой реакции. Такой иностранец знает, что Лев Толстой — самый большой писатель XIX века. Он интересуется историей России, ценит русскую культуру. Я чувствую в нем друга. Но как быть? Ведь я считаю, что революция столкнула Россию с ее исторического пути!

Спорить с тем и другим мне было тем труднее, что они рассуждали последовательно, а я нет.

Подлинных друзей России во Франции было всегда много (помню, как один старый французский парламентарий говорил мне: «Франко-русский союз проник в самую кровь людей моего поколения»). И, быть может, ни в одной другой стране новая, революционная Россия не нашла столько горячих, самоотверженных почитателей, при этом не только в рабочей среде, но и в интеллигенции, на самых верхах культуры. Уже при зарождении нового, советского общества Анатоль Франс и Анри Барбюс призывали французов: «Спасайте человеческую истину, защищая правду русскую. Будьте уверены, что грядущие поколения будут судить честных людей нашего поколения в зависимости от того, на чью сторону они станут в настоящий момент».

Но ко времени войны и в первый ее период решительно взяла верх наиболее консервативная, наиболее косная и самодовольная часть французской буржуазии. Разложение все углублялось, выдвигая тех людей и те группы, которые вернее всего могли довести этот процесс до самых крайних пределов. Весь этот период запечатлелся в моей памяти как полное владычество, разгул наиболее прогнившей, окончательно обанкротившейся части буржуазии. Она-то и задавала тон в эти месяцы.

После расправы с компартией трудящиеся оказались как бы обезглавленными. Оглушенный раздающейся сверху болтовней, народ Франции, казалось, пребывал в оцепенении. Лучшие умы страны умолкли, не в силах бороться со стихией пустословия. Некоторых охватил пес-

симизм. Не раз под шум болтавни приходилось мне слышать от умных, очевидно совершенно обескураженных, французов:

— Ах, как все это несерьезно! Неужели мы так измельчали?!

А русская эмигрантская масса ждала, тоже оглушенная этой болтовней. Вожаки эмиграции молчали или печатали заявления, которые могли быть пропущены военной цензурой,— значит вполне соответствовали общему тону французских правящих кругов. Гукасов и Семенов возлагали надежду на генерала Вейгана и на поход на Баку: война, по их мнению, должна так или иначе привести к падению большевиков. Часть эмиграции томилась за колючей проволокой. Прочие эмигранты были сбиты с толку событиями, не понимали, чего следует желать и как отразятся эти события на судьбах их родины.

Наступил май. Только вечернее затемнение да большое количество военных придавали французской столице несколько необычный вид. Вернулись почти все уехавшие в первые дни войны из-за боязни воздушных тревог. Ведь за этими тревогами не следовало ни бомбардировки, ни даже пальбы. Когда высоко в небе мелькали серебром вражеские самолеты, парижане смотрели на них без малейшего беспокойства. Выданные населению противогазы почти всегда негодные, давно валялись в чуланах, как ненужный хлам.

Знаменитый Морис Шевалье исполнял бравурную песенку о старом служаке-полковнике — клерикале и реакционере, о социалисте-новобранце, о работодателе и рабочем, о крестьянине и коммерсанте, которые, забыв все прежние распри, как и в 1914 году слились в единое целое, сплошь состоящее из образцовых французов...

Но я вспомнил другое... Первая мировая война застала меня с родителями во Франции. Двенадцатилетним мальчиком я проводил целые дни на парижских улицах, охваченный общей лихорадкой. Словно буря — патриотизма, тревоги, священной решимости — проносилась тогда по Парижу. Вся Франция в ее порыве была подобна знаменитой «Марсельезе» Рюда на Триумфальной арке Этуаль. Но теперь этот барельеф не выражал ничего реального, сегодняшнего. Тогда общественное мнение тре-

бовало от каждого выполнения долга перед отчизной; теперь Жюль или Поль говорил совершенно открыто: «У меня «рука», устроился при интендантстве в Париже», и решительно никому не приходило в голову его осуждать.

Итак, май наступил — и воцарилась чудесная, радостная, вся в ярких красках парижская весна. Все чего-то ждали, все что-то предчувствовали, подсознательно понимая, что какая-то разрядка неизбежна.

ГЛАВА 2

ПОД ГРОХОТ НЕМЕЦКИХ ТАНКОВ

Вечером 10 мая я был в театре. Шла новая пьеса, из которой я запомнил лишь то, что меня поразило тогда же. Два мира: гитлеровский и французский. В первом — люди железной воли задумывали преступные планы мирового владычества во имя торжества «избранной расы»; во втором — семья фермера вкусно обедала, похваливая кушанья и вино и высказывая всяческую любовь к своему уюту, к своим вещам и деньгам. Больше всего меня поразило то, что в первом пьеса показывала идею, пусть и недобрую; во втором же — прославляла всего лишь собственничество да смаковала радости, которые оно доставляет. Вот только это и противопоставлялось миру насилия с его зловещими замыслами. Все в зале смотрели спектакль с особым чувством: в Париже уже было известно, что армии третьего рейха, покончив с комедией «странной войны», вторглись в Бельгию и Нидерланды.

Эта пьеса осталась у меня в памяти как последний отзвук первого военного полугодия. После 10 мая 1940 года болтовня разом прекратилась. Началось бегство.

Винить французских солдат в том, что они не выдержали германского натиска, было бы жестокой несправедливостью. Во-первых, они численно уступали противнику: Франция не двинула пальцем, чтобы помешать разгрому Польши, и теперь против нее была направлена вся гитлеровская военная машина. Во-вторых, они были вооружены и обучены для окопного сидения, по примеру предыдущей войны. В-третьих, их убедили, что немцы не посмеют высунуть носа из своих укреплений. В-четвертых, их генералы буквально обезумели от изумления, когда в небе тучами пошли германские самолеты, а на

земле такими же тучами двинулись германские танки, все ломая перед собой, в самом дерзком противоречии с известными инструкциями французского генерального штаба о вождении крупных соединений. В-пятых, немцы, оставив открытым вопрос о неприступности линии Мажино, напали севернее (что, казалось, можно было бы и предвидеть хотя бы по прецеденту 1914 года). В-шестых, и это, пожалуй, главное, правители Франции не вложили в борьбу никакого идейного содержания, не объявили ее священной войной во имя родины и свободы, войной с миром насилия, войной за правое дело, а в общем внушили мысль, что это нечто особое, не война, а военная демонстрация, цели которой еще далеко не ясны и будут обозначаться в зависимости от развития событий,— то есть одурманили войска, как и все население, болтовней.

Сигнал к бегству был дан сверху.

В утро 16 мая в «высших сферах» стало известно, что сопротивление сломлено и дорога на Париж открыта. Началась паника, пока еще не дошедшая, однако, до широких масс населения. Над министерством иностранных дел поднялись клубы черного дыма: там во дворе лихорадочно сжигали архивы. Очень много дам и господ из «всего Парижа» бежали в этот день из столицы. К вечеру наступило некоторое успокоение. На Париж немцы пока идти не собирались: их механизированные части все с той же ошеломляющей быстротой устремились к морю, чтобы сначала отрезать и уничтожить лучшие французские и английские дивизии. Но даже этот очень простой стратегический расчет не был вовремя учтен в «высших сферах».

В ясный июньский день, снуя в разные стороны, бешено помчались по городу огромные машины. Казалось, проносятся черные болиды, подымая вокруг ветер. Это правительство со всем своим аппаратом покидало столицу, спешно захватывая ближайших друзей. Но уже перед тем начался знаменитый «экзод»— что точно переводится русским словом «исход»— французского населения.

С востока и севера кинулись по дорогам Франции несметные толпы и, все возрастая, двинулись через Париж, увлекая за собой и его обитателей,— на запад, на юг, а в общем куда глаза глядят.

Вот он, народ Франции! В «экзоде» участвуют чуть ли не десять миллионов человек. Идут угрюмые, все, что

можно, унося с собой. Я стою на едва ли не самой нарядной улице мира — Елисейских полях — и гляжу с изумлением на эту бесконечную вереницу.

Старая трясучая машина, вся обвешанная сундуками, тюками, с кроватями и креслами на кузове. За ней, окружив вола, впряженного в деревянную двуколку, идут старик и старуха, молодая женщина с изможденным лицом, вероятно их дочь, и трое-четверо внучат. Еще машина, еще двуколка, а вот простая тачка, груженная всяким скарбом, которую толкает перед собой целая семья. Вот ослик, тоже во что-то впряженный, вот погребальные дроги, на которых люди, ящики да клетка с канарейками, вот велосипедисты с тяжелыми мешками на ремнях. Толпа движется по Парижу, усталая, запыленная, даже не глядя вокруг себя. Этих французов ждут впереди скитания под бомбами и огнем самолетов, дороги, деревни, города, где станет их еще больше, где почти каждый растеряет половину своего добра, где валяются попорченные машины, двуколки, велосипеды тех толп, что уже прошли вперед, и где они смешаются с такими же усталыми, унылыми людьми, такими же беженцами, но в солдатской форме, брошенными командирами и бросающими оружие.

В несколько дней Париж опустел. Закрытые ставни, забитые двери, безлюдье; только на главных улицах все тот же непрекращающийся поток беженцев. Стояла жара. Затемняя небо, в пригороде горели огромные склады мазута, и лица людей были темны от черного, липкого дождя. А город казался еще прекраснее, чем прежде. В безлюдье выступали еще ярче, яснее великолепие его памятников и площадей, неповторимая стройность его архитектуры. Мост, дворец, галерея в аркадах как бы говорили: мы больше не служим ничему, мы только памятники искусства, любуйтесь нами. Я бродил по саду. Тюильри, вдоль Лувра, по набережным Сены, по Марсову полю и по площади Согласия, как бродил в 1918 году по петербургскому Марсову полю и вдоль колоннад Зимнего дворца, еще острее ощущая их красоту, тогда — от мысли что рухнул «наш мир» теперь — что рушится Франция.

13 июня. Последняя суматоха. Еще тысячи людей, засидевшихся в городе, устремляются вон, на дороги, Завтра, говорят, немцы обойдут, отрежут столицу.

В кафе, которое сейчас закроется (хозяйские вещи уже вынесены в автомобиль), старик, по-видимому мелкий буржуа, взволнованный и возбужденный, трясет за плечи отставшего от части солдата и говорит ему, надрываясь:

— Не унывай, малый! Мы еще победим! Вспомни 1914 год. Накануне Марны ведь тоже казалось, что все пропало. Но мы же французы! Нас не одолеть.

...В этой последней суматохе проносится слух, рожденный отчаянием, вернее — вдруг промелькнувшим сознанием, что есть великая сила, на которую Франция может надеяться. Эту весть я слышу и в потоке беженцев, и от буржуа, спешно усаживающегося в автомобиль.

— Вы слышали? Россия объявила войну Германии!

— Да, да, это точно! Русские ударили по немцам, они идут к нам на выручку. Мы спасены!

Я понимаю всю нелепость этого слуха, но эта надежда, этот предсмертный зов, обращенный к моей стране, потрясают меня.

. . . .

На своем огромном «роллс-ройсе» Гукасов уехал одним из первых на юг. Как и все газеты, «Возрождение» закрылось. Но очень многие русские остались в городе. «Куда бежать и зачем? Влиться в поток беженцев, чтобы немцы все равно обогнали?» К тому же у русских в подавляющем большинстве не было скарба, который хотелось бы спасти любой ценой, и не было родственников и друзей, которые в других городах оказали бы им приют.

Из эмигрантов уехали богатые, у которых были машины (то есть ничтожное число), все те, кто по должности, занимаемой в каком-нибудь учреждении, должны были разделить его судьбу, те (да и то не все), которые опасались «арийских законов», да еще некоторые, уже тогда признавшие в немецком фашизме смертельного врага.

А одним из последних актов убегающего полицейского аппарата были арест и угон по дорогам множества «нежелательных» иностранцев, среди которых сторонники СССР преобладали над германофилами. Были схвачены все «оборонцы» и «возвращенцы», еще находившиеся на свободе...

Объявленный открытым городом, Париж со своими предместьями сдавался врагу без боя. Отступающие войска обходили столицу, у полиции было отобрано оружие.

Но вечером 13 июня французских солдат было еще немало в Париже. Они брели по двое, по трое, еще чаще в одиночку, расхлябанные, истерзанные, без амуниции, усталые, пьяные, с блуждающими глазами, дикими выкриками и бранью по адресу всего света. Угарное пьянство мало свойственно французам; но эти люди отстали от своих частей, не знали, что им следует делать, и, не находя нигде никакого начальства, вдруг превратились в отчаянных и в то же время каких-то беспомощных, жалких хулиганов.

Я жил в Париже около самого Булонского леса, в архибуржуазном предместье Нейи, которое всего в получасе ходьбы от Елисейских полей и лишь по каким-то неясным административным соображениям все еще считается расположенным за городской чертой.

14 июня. Выхожу на улицу с самого утра. Воды Сены кажутся серебристыми в этот час; вдали Триумфальная арка окутана розовой дымкой восходящего солнца. Весь квартал с садиками в цветах вокруг нарядных особняков имеет какой-то необычный, нереальный вид. Лавки закрыты, как закрыты и ставни чуть ли не всех домов; никто не спешит в метро, на базар; прислуга не прогуливает собачонок.

Но какие-то люди все же встречаются.

Вот поперек тротуара лежит безнадежно пьяный солдат. Приставив к стене велосипед, пожилой «ажан» (полицейский) бережно, даже ласково трясет его, приговаривая:

— Вставай, вставай, старина. Они сейчас появятся, заберут тебя в плен.

Но голова солдата беспомощно свисает на грудь, и в ответ только слышится богатырский храп.

«Ажан» берет солдата под мышки и так же осторожно волочит его по земле в подворотню.

Вот полным ходом въезжает на проспект машина, поворачивает и, тормозя, прямо устремляется на меня. Из нее осторожно выглядывают французские офицеры. Спрашивают отрывисто:

— Где о н и? Как можно выбраться из города?

— Здесь еще не появлялись. Знаю не больше ваше-

го,— отвечаю я растерянно, глядя на их лица, в которых тревога и душевное напряжение.

Перед решеткой маленького особняка собралось несколько обывателей: газетчица, молочник, какая-то старуха — больше никого не осталось из обитателей соседних домов. Вздыхают, разводят руками и сочувственно переглядываются. За решеткой — молоденький солдат.

— Помогите,— говорит он смущенно и жалобно.— Сейчас придут — тогда все пропало! Пока не поздно, помогите.

Он еще сонный, всклокоченный, и глаза его воспалены. Отстал от своей части, шел, шел и оказался в Нейи. Забрел накануне вечером в этот особнячок. Хозяева, состоятельные коммерсанты, впустили его, и он заснул в садике как убитый. Ночью хозяева бежали, о нем не позаботились и крепко заперли свое покинутое жилище. Вот он и остался за высокой решеткой, через которую никак не перелезть.

Он совсем еще мальчик, видно — ему и страшно и немного совестно, что он оказался в таком беспомощном положении.

Молочник вдруг багровеет.

— Сволочи!— говорит он.— Видел, как приезжала за ними военная машина. По знакомству, конечно! Нагрузили ее — и поминай как звали. Нарочно солдатика не разбудили, чтобы не просился с ними в автомобиль. Добра бы меньше удалось увезти... Слушай, малый, не волнуйся. Знаю, где есть большая лестница. Эх, черт, вот и о н и!

Дыхание остановилось в груди. Что-то страшное и чужое ворвется сейчас в опустевшую столицу. В оцепенении мы смотрим на мост через Сену, к которому с противоположной стороны подъезжают уверенно, не торопясь, зеленые статуеобразные мотоциклисты в стальных шлемах.

Как раз в эту минуту меня зовут из дому: срочно, «по важному делу» кто-то требует к телефону.

Не сразу могу сосредоточиться, понять смысл того, что произносит приятной скороговоркой дама, с которой я встречался всего два-три раза у общих друзей.

— А, вы не уехали! Очень умно поступили. Мы тоже с мужем решили остаться. Куда ехать? Все равно ведь немцы нагонят... У нас они уже с утра. Разве не слышите шума? Это их танки проходят под моими окнами. Ка-

кие танки! Какие танки! Ну скажите, пожалуйста, на что мы могли рассчитывать? Так вот я звоню всем знакомым, только почти никого не осталось в Париже. Нужно собраться в такой день, поговорить обо всем. Муж к тому же скучает: ведь биржа закрыта. Хочу как-то развлечь его. Но не опаздывайте. Говорят, вечером нельзя будет выходить. Ждем непременно.

Еще неделю назад она заявляла, что немцы будут остановлены, что надо опасаться только одного, как бы продажные политиканы из германофильского лагеря не вздумали подбивать правительство на мир. Но сегодняшние ее речи меня не удивляют. У этой дамы одна страсть: приветствовать каждую очередную сенсацию. В это утро немцы вступали в Париж победителями — как же ей было не восхищаться их танками!

Не успел я повесить трубку, как услышал голос нашей дворничихи, испуганно взывавшей ко мне со двора:

— Мсье, мсье, спросите, ради бога, у этих господ, что им угодно?

Я подошел к окну, и опять что-то кольнуло меня. Во дворе стояли два немецких солдата в ладно скроенной форме и сверкающих сапогах. На их лицах застыла любезная улыбка.

Оказалось, что они осведомлялись, нет ли во дворе уборной.

— Ах, как они корректны!— воскликнула дворничиха, когда я перевел этот вопрос.

Но французский солдат за решеткой исчез. Я узнал, что немцы быстро извлекли его из садика, и их офицер тотчас же отправил его куда-то с конвойным.

. . . .

Мерными колоннами двигались немецкие части по Парижу. Вытянувшись в струнку, солдаты сидели рядами на грузовиках. Огромные танки громыхали по Елисейским полям, по всем проспектам и улицам, выплывали отовсюду, ныряя хоботом и снова грузно выпрямляясь. Словно какие-то мастодонты вторглись в столицу Франции и наполнили ее своим шумом и тяжестью.

Многие из простых людей, оставшихся в Париже, смотрели на все это с мокрыми от слез глазами; в их чувствах преобладала подавленность, сквозь которую,

однако уже прорывался внутренний пламенный протест.

— ...Какая сила! Неудивительно, что мы разбиты!

— ...Но почему у нас не было такой силы? Ведь мы же Франция!

— ...Значит, мы не были подготовлены к войне! Но почему? С какой целью нас обманывали?

С Триумфальной арки на могилу Неизвестного солдата, павшего за Францию в первую мировую войну, свисало яркое, кровавое полотнище с черной, широко растопыренной свастикой. Больнее немцы не могли ранить французское сердце.

Дальше, на улице Риволи, возле статуи Орлеанской девы, встретился мне скромный человек средних лет, не то лавочник, не то мелкий чиновник. Поравнявшись с памятником, он остановился, торжественно обнажил голову, поклонился национальной героине, затем снова нахлобучил шляпу и сердито зашагал прочь, успев бросить мне полушепотом:

— Это чтобы им было тошно!

Иная атмосфера царила на обеде, на который я был приглашен в этот день.

«Ура! Война заканчивается! Как хорошо, что мы не бежали, как все эти дураки, которые мечутся сейчас под немецкими бомбами по дорогам Франции! Город занят без боя, и нынче в нем порядок, полнейший порядок. Немцы не дадут разгуляться народному гневу!»

Высказывать прямо такой взгляд было бы неловко, но так или иначе нечто подобное все время проскальзывало в разговоре.

Сначала долго говорил старик маркиз, пользовавшийся репутацией не совсем порядочного дельца, что ничуть не умаляло его престижа. Желтый, скрюченный, он походил на мумию, но вид имел в общем довольно представительный. Тонко улыбался собственным словам, как бы приглашая присутствующих отдать должное отменной изысканности его мыслей и переживаний, и порой дряхло разводил морщинистые руки, выражая на лице благопристойнейшее недоумение. В этот день маркиз завтракал в Жокей-клубе — самом аристократическом клубе Парижа, и было там за завтраком всего лишь еще два члена. Неслыханное дело! Даже в «неделю 15 августа», когда «весь Париж» разъезжается по курортам, еще не случа-

лось ничего подобного. Маркиз был искренне потрясен, и казалось, все существо его говорило: вот до чего довели!

Выслушав маркизову болтовню с таким видом, будто наслаждается каждым его словом, хозяйка заговорила о немецких танках, поразивших ее своей величиной.

— Да, танки, танки! — послышалось со всех сторон.

— А все-таки какой тяжелый день для Франции, — сказал один из обедавших. — Тяжелый и непредвиденный!

— Да, конечно, — возразил другой, — но и хороший урок! Как мы могли вступать в бой с Германией один на один? Ведь в прошлую войну с нами была Россия...

При этом он любезно посмотрел в мою сторону.

— Позвольте, — заметил первый, — у нас все трубили, что мы куда сильнее немцев, и что мы одни победили Германию в ту войну.

Хозяйка перебила его:

— Это говорили глупости. Теперь все ясно, не правда ли?

— Нас побили — и поделом. Однако Англия сдаваться еще не собирается, — заявил долговязый молодой человек с нечесаной шевелюрой, считавшийся литератором. Он недавно поместил в каком-то английском журнале исследование о «мистическом уклоне» современного эротического романа. Немецкие танки явно мешали его дальнейшим успехам в английской прессе, и потому восхищение, которое они вызывали, его несколько раздражало.

— Очень верно, — легко согласилась хозяйка, почувствовав, что рискует погубить свою репутацию тонкой и всегда осведомленной политической дамы, если будет придерживаться немецкой ориентации на все сто процентов.

— Кстати, — заметил мистик-англоман, — подумали ли вы о том, что Париж уже не открытый город?

— Как так? — вскрикнули разом чуть ли не все обедающие, причем в голосе некоторых послышался самый откровенный испуг.

— Очень просто! Он был открытым для немцев, и даже полиция сегодня вышла на улицу безоружной Но теперь в Париже немецкие танки — значит, это не от-

крытый город для англичан, и они вправе его бомбардировать.

Тема была животрепещущей. Со страстью, даже с огнем, каждый начал высказывать доводы за и против возможности налета английской авиации.

Какой-то делец и политикан, упорно молчавший до этого, так как усиленно наполнял красным вином и большими кусками мяса свое грузное тело, решил в свою очередь завладеть разговором. Подчеркнув, что любит «трезво смотреть на вещи», он объявил назидательно:

— Страница перевернута. Начинается новая. Немцы — люди серьезные, они поймут, что Францию нельзя игнорировать. Франция — великая сила, господа! Вы всегда должны это помнить. Ореол нашей прекрасной страны не может померкнуть: он сияет в веках, и лучи его ослепительны.— Привычным жестом кандидат в министры приложил руку к сердцу.— Будем же достойны этих лучей!

Сказав это, он, вероятно, вспомнил, что говорит не на предвыборном банкете, и добавил уже совершенно обыденным тоном, обращаясь в первую очередь к хозяину-биржевику:

— Поверьте, деловая жизнь очень скоро возобновится.

Затем он сказал негромко, но достаточно внушительно, что сейчас каждый «честный» француз должен забыть о своем ущемленном самолюбии и проникнуться сознанием, что Гитлер сумел развеять в своей стране призрак коммунизма.

— Позавидуем же немцам и кое-чему поучимся у них,— заявил он в заключение.

Время летело быстро. Ночь миновала, и настал час, с которого немецкое командование вновь разрешало парижанам появляться на улицах своего города. Прощаясь, гости оживленно благодарили хозяев за очаровательную встречу, столь полезную и живительную в «такой момент».

По улицам все шли немецкие танки. Страшная мысль мелькала в моем сознании: а может быть, Франция и впрямь заслужила свое поражение?

...Да, этот обед был характерен для настроений некоторых французских кругов. Но только некоторых.

Знаменитый хирург де Мартель покончил с собой, увидев первые немецкие части, входившие в Париж.

Главенствующая в то время часть французской буржуазии, та самая, которая задавала тон предвоенной Франции и чьи нравы и политические принципы были вскрыты делом Стависского, все подчинила чисто звериному инстинкту самосохранения. Она постаралась опошлить, свести к простому утилитаризму самые чистые и пламенные порывы, объединить в одно и режим Виши и движение Сопротивления, найдя для этого жуткую по своему цинизму, но абсолютно точную, удивительно меткую формулировку, которую я услышал впервые в самом начале оккупации от жены видного чиновника, присягнувшего Петэну, но всем объявлявшего, что он сочувствует де Голлю:

— Все прекрасно: Петэн спасает мебель, а де Голль — честь.

Под мебелью здесь подразумевались кошель, добро, возможность без войны, то есть без разрушений и жертв, жить спокойно, в ладу с немцами, хоть и под их пятой, а под честью — союз с Англией, возможность воспользоваться плодами ее победы, если провалится «новый порядок», устанавливаемый Гитлером.

Тут сказалась давнишняя практика буржуазии в хитрой расстановке сил на парламентской шахматной доске. Чья бы ни взяла, у власти оставалась по-прежнему буржуазия! Эта политика и получила тогда же название двойной игры».

Систематическое ограбление Франции гитлеровскими оккупантами началось не сразу, во всяком случае такие цели оставались на первых порах закамуфлированными. Немцы прокатились по Франции победителями, с ничтожными потерями: из их танков неслись звуки гармоники да раскатистый смех, словно война и впрямь представлялась им занимательной, веселой прогулкой. Засахарить французов внешней любезностью да посулами тесного сотрудничества, чтобы включить Францию в орбиту третьего рейха, а затем выкачать из нее все соки для прокормления «народа господ» — такова была тактика гитлеровских захватчиков.

Эта тактика и наша оторванность от родины, общее для подавляющего большинства эмигрантов, даже внимательно следящих за международной политикой, незнание общественных законов, определяющих пути родины, порой приводили нас к признанию в фашизме какой-то

новой, конструктивной, динамической силы. Немецкая победа над Англией казалась мне поэтому обеспеченной.

В огромный город стали возвращаться жители, но жизнь в Париже не наладилась.

Вскоре начались продовольственные затруднения: все шло на вермахт. Захват Англии откладывался, из чего буржуа-краснобаи заключали, что немцы выдохлись и Англия вот-вот спасет Францию от их владычества.

В кино, кажется уже на второй месяц оккупации, я был свидетелем едва ли не первой антигитлеровской демонстрации: когда на экране появились кадры немецкой кинохроники, в темноте раздались шиканье и иронические возгласы. Кинохронику стали с тех пор показывать при полусвете.

Фашистский сапог был пока что на мягкой подошве, но Франция начинала ошущать всю его тяжесть. Все оказывалось задавленным: национальная гордость, живая мысль, сама жизнь. Внешняя корректность победителей уже не скрывала фашистского высокомерия, надменности, презрения к побежденным.

И одновременно чувства французов проявлялись все смелее и все откровеннее.

Как-то на улице ко мне подошел немецкий солдат, откозырял и молча протянул листок бумаги, на котором было написано по-французски: «Если вам не противно, объясните этой скотине, как пройти на такой-то вокзал»...

Шли месяцы. Наступила зима без топлива. Как и в дни «странной войны», Париж охватило смутное нервное ожидание. Один и тот же вопрос вставал для парижан, для всей Франции, для Европы, для всего мира, в том числе и для нас, потерянных в вихре событий, не знающих больше, за кем и куда идти, русских людей, лишившихся родины: что дальше?

ГЛАВА 3.

22 ИЮНЯ

К концу первой половины июня 1941 года в Париже распространились странные слухи. Общий смысл их сводился к следующему: что-то очень важное не то готовится, не то уже происходит на востоке Европы.

Передавались три версии. Согласно первой, наиболее распространенной, Германия получила от Советской России согласие на прохождение через Кавказ большой армии, которая, действуя одновременно с африканским корпусом Роммеля, должна взять в клещи англичан и сокрушить позиции Британской империи на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Согласно другой, Советский Союз «передавал» Германии на время войны хлебные ресурсы Украины с правом для Германии не то оккупировать всю Украину, не то «контролировать украинскую экономику. Наконец, согласно третьей, Советский Союз отклонил такие требования Германии относительно Украины, однако этот оттказ носил чисто формальный характер, и германская армия уже вступила на Украину, не встречая сопротивления.

Слухи эти передавались и французами и русскими. Слышал я их также в Париже от итальянцев, венгров, румын. Люди, как-то разбирающиеся в политике, понимали их нелепость, но придавали значение той настойчивости, с которой они распространялись, указывая, что они пущены, очевидно, не зря.

После нападения Германии на Югославию многим уже стало ясно, что в германо-советских отношениях образовалась трещина. Однако всего за несколько недель до 22 июня один из лидеров французских коллаборационистов Марсель Деа, особенно выдвигаемый немцами и наиболее авторитетно выражающий их точку зрения в печати, выступил со статьей в которой доказывал незыблемость германо-советского договора.

В эти годы я жил вместе с родителями. Мой брат, женатый на английской поданной, покинул с семьей Париж до прихода немцев и затем перебрался на родину жены— в Индию. Моя мать была поглощена работой по управлению созданным ею большим домом-убежищем для престарелых соотечественников. Мой отец же, написавший в эмиграции интересные воспоминания о первой революции, давно уже отошел не только от политики, но как бы и от самой жизни. Лет ему тогда уже было под восемьдесят.

Было еще совсем рано, когда меня разбудил голос моей матери, спешно звавшей меня к себе. Она сидела у радиоприемника, и я сразу же по ее лицу понял, что произошло что-то исключительное, огромное.

— Немцы начали войну с Россией — быстро сказала она.— Сейчас передавали речь Геббельса.

В эту минуту мне послышалось всхлипывание. Я не заметил, что вслед за мной вошел мой отец. Он стоял в дверях и судорожно крестился, повторяя сквозь слезы:

— Господи! Господи! Спаси Россию!

Я не знаю, как бы он реагировал на это известие, если бы был на двадцать лет моложе. Он уже не интересовался происходящим, но слова моей матери, очевидно, дошли до него во всем их точном и страшном смысле: немцы напали на Россию! Накипи многолетних эмигрантских расчетов в нем уже не было никакой. В этот час он помнил только одно: он русский.

В памяти своей я сохранил навсегда образ отца (он скончался в следующем году), каким он запечатлелся тогда вместе со старческим всхлипыванием и мольбой:

— Господи, спаси Россию!

Тогдашний советский посол во Франции А. Е. Богомолов рассказывал впоследствии на собрании новых советских граждан, как 22 июня к нему в Виши явился русский эмигрант молодой князь Оболенский с просьбой отправить его в Красную Армию, чтобы защищать отечество, каковой просьбы посол не мог выполнить, не зная, как с ним самим поступит правительство Петэна.

В Париже другой русский эмигрант, служащий у немцев шофером, не вышел 22 июня на работу. Немцы потребовали у него объяснений. Он заявил, что не большевик, но так как немцы напали на его отечество, он не может дольше служить у них. Остался непреклонным, как немцы ни уговаривали его изменить свое решение. Тогда они арестовали его и посадили в бывшую французскую военную тюрьму Шерш-Миди, где он и умер, кажется, через год. К сожалению, я не помню фамилии этого твердого духом русского человека.

В ночь на 23 июня русский эмигрант Крылов, тоже шофер по профессии, а в прошлом полковник, человек угрюмый и одинокий, застрелился из старого русского нагана, сохраненного еще с гражданской войны. Оставил письмо, в котором заявлял, что жить больше нет смысла: если старая Россия не была способна один на один бороться с Германией, то где уж Советской России выдержать ее натиск! Писал, что все кончено, так как вермахт разгромит Красную Армию, Россия будет на-

всегда уничтожена как государство, а русский народ обращен в рабство.

Страшное известие меня ошеломило, как бы придавило все мое существо. Вместе с отцом я повторял мысленно: «Господи, спаси Россию!» Но старая накипь эмигрантских прогнозов, оценок, расчетов мутила мое сознание. Всю жизнь я верил твердо, упрямо, безоговорочно в величие своего народа, своей страны, и эта вера — утверждаю это — была всегда неотделима от моего существа. Но свой народ и страну я считал ослабленными, сбившимися с пути. И потому лишь подсознательно, едва слышно, никак не фиксируясь, проскальзывала мысль: а вдруг устоит перед непобедимым вермахтом эта новая неизвестная мне, загадочная Россия? И уже тогда на миг становилось ясно: если устоит, значит, правда на ее стороне. Но логические выводы из всех предпосылок, утверждавших эмигрантское сознание, слишком отчетливо говорили о другом.

...Значит, мою родину ожидало страшное, кровавое испытание, дымы пожаров, попрание ее гордости, ее культуры, всего ее национального бытия алчным врагом, который, конечно, проявит себя беспощадным. Но каюсь, и в этот день и еще в течение некоторого времени подлинный патриотизм не определял еще моего сознания. Решительный перелом произошел во мне не сразу, а в результате сложной, хоть и сравнительно быстрой эволюции, о которой я расскажу подробно.

Во дворе русской церкви на улице Дарю всегда в воскресенье толпа. Сюда приходят как в клуб. Но в это воскресенье народу было вдвое больше, чем обычно: людям хотелось быть вместе в такой час. Когда я подоспел туда, кое-кто уже слышал по радио сообщение советского правительства и знаменательные слова: «Наше дело правое... Победа будет за нами»— передавались в толпе.

Итак, церковный двор был полон русскими эмигрантами, то есть людьми, в большинстве своем полагавшими много лет подряд, что война с СССР будет знаменовать крушение большевистской власти, той власти, которую они не хотели признать и против которой некогда боролись с оружием в руках. Были среди них ликующие, некоторые даже целовались на радостях друг с другом,

но они составляли ничтожное меньшинство. Общее настроение, то самое, что и я ощущал в себе, выражалось тревогой, которая сильнее и убедительнее всех рассуждений вошла в душу людей. Мало кто говорил, понимая, что словами не выразить своих переживаний в такие минуты.

«Что будет с Россией?» — вот вопрос, который впился клещами в сердца очень-очень многих из нас. Впоследствии произошло расслоение, и каждый нашел какую-то формулировку для своих дум, опасений и надежд. Но в это воскресенье, 22 июня, я наблюдал, ощущал некое единство — единство тревоги.

Вернувшись домой, я узнал по телефону об аресте русских. Несколько сот человек было задержано немцами и в качестве заложников отправлено в лагерь Компьен, недалеко от Парижа. Чем в точности руководствовались немцы при этих арестах, сказать трудно, много в то время гадали на эту тему, но так и не добрались до истины. Впрочем, быть может, и гадать было нечего: немцы попросту пожелали иметь у себя под рукой в качестве заложников представителей самых различных эмигрантских течений. Были арестованы профессор Д. М. Одинец, И. И. Бунаков-Фундаминский, И. А. Кривошеин, занявшие еще до войны патриотическую позицию. Но попали в Компьен и белогвардейские вожаки, даже лица, известные своим германофильством. В числе заложников оказались граф С. Игнатьев, по-видимому потому, что был братом советского генерала; В. Красинский, сын великого князя Андрея Владимировича и М. Ф. Кшесинской, тоже занявший патриотическую позицию, но кроме них генеральный секретарь РОВСа полковник Мацылев да бывший начальник штаба Врангеля генерал Шатилов, всегдашний сторонник вооруженной акции против Советов.

А в так называемой «свободной зоне» полиция Петэна перестаравшись, задержала 22 июня чуть ли не всех русских эмигрантов.

Обычно парижане очень неохотно читали газеты, выходившие под немецким контролем, но в этот день у киосков стояли длинные хвосты. Весть ведь была потрясающая, грандиозная — каждому хотелось узнать все подробности хотя бы из вражеского источника.

Многие французские друзья звонили мне в тот день.

В их голосе я чувствовал радость двойную, все удобнейшим образом согласующую: у немцев новый противник — значит, что-то существенно изменилось в пользу Англии, «от которой придет спасение», и этот противник — советский коммунизм, по которому ненавистные немцы (они только на это и годятся) нанесут «спасительный для европейской цивилизации» удар. Я слушал, угадывал мысли говоривших, отвечал нехотя и вешал трубку с чувством, что физически не могу разговаривать «об этом» с изощренно расчетливыми иностранцами. Что-то свое, глубокое, сокровенное мучило, волновало меня — и весь их мир был для меня уже чужим.

ГЛАВА 4

ВОПРЕКИ ПРОШЛОМУ

Да позволит мне читатель отвести первое место в этой главе своим личным переживаниям, той эволюции, которая наполнила новым содержанием всю мою дальнейшую жизнь. Эта эволюция определялась событиями и людьми и потому, как мне кажется, представляет общественный интерес.

Уже 23 июня гитлеровская ставка объявила, что не будет сообщать до поры о ходе военных действий на Востоке, дабы... не давать противнику сведений о продвижении германской армии. При этом пояснялось, что противник дезорганизован и уже не ориентируется в обстановке.

В следующие дни из немецких источников стали распространяться самые сенсационные слухи. Вермахт, дескать, одерживает полную победу! Передавались слова, будто бы сказанные бравым генералом Ганессе, командующим германскими воздушными силами Парижского района и главным дамским угодником в коллаборационистских салонах:

— Война продлится четыре недели, а то и меньше.

Настроение, которое я наблюдал в церковном дворе в день 22 июня, по-прежнему было характерно для эмигрантской массы. Зато в некоторых так называемых «светских кругах» эмиграции началось бурное ликование.

...Я сижу у Горчаковых — у внука канцлера, зубра-маньяка, о котором я уже говорил, и жены его, дочери

знаменитого некогда сахарозаводчика Харитоненко, простого крестьянского сына, нажившего колоссальное состояние и построившего себе против Кремля, на Софийской набережной, дом-дворец, где ныне помещается английское посольство.

Горчаковы — мои соседи в Нейи. У них большая квартира со старинной мебелью, ценными картинами: какая-то часть горчаковского состояния всегда была за границей. Это люди гостеприимные, общительные, я часто бываю у них, играю в бридж, воспринимая в общем как буффонаду политические разглагольствования хозяина. У них в этот день много народу, и все ликуют. Самого Горчакова разбирает прямо-таки телячий восторг. От какого-то русского, служащего в немецком учреждении, он узнал, будто офицеры вермахта характеризуют следующим образом обстановку на фронте: «Советские войска так бегут, что мы едва поспеваем за ними».

Горчаков повторяет в десятый раз эту фразу, смакует каждое слово и добавляет:

— Конец! Конец! Конец! Можете считать, что уже нет большевиков.

Я не располагаю никакими данными, опровергающими его информацию. Но мне *не хочется* верить такой оценке, и слова его режут мне сердце.

А между тем Горчаков последователен в своей радости, мое же уныние только удивляет собравшихся. «Малейший удар извне — и все там разлетится как карточный домик»,— так ведь твердили из года в год и Семенов, и Муратов, и Головин, и тот же Горчаков. Я так не говорил, но сотрудничал в органе, где это проповедовалась как аксиома. И вот как будто сбывается... В самом деле, почему бы Горчакову не ликовать? Но мне тягостно и неприятно его слушать.

— Гений! Гений! Гений!— вопит про Гитлера Горчаков.— Наведет настоящий порядок! Никакой демократии! Не даст разгуляться какому-нибудь Милюкову. Настало наконец наше время! Воспользуемся благами гитлеровской власти, а *там* и сами возьмемся за руль.

Ясно, что, если немцы восторжествуют, с ними придется считаться и в то же время хитрить, «ловчиться», чтобы дать русскому духу пробиться сквозь путы тоталитарной гитлеровской власти. Но все это меня не радует. Я допускаю такую возможность лишь как печальную не-

обходимость. И потому восторг Горчакова опять-таки коробит меня, оскорбляет.

Затем, поддержанный гостями, Горчаков говорит серьезнейшим тоном, как о чем-то само собой разумеющемся, что скоро во владение землей, заводами и домами вступят вновь их «законные владельцы», то есть они, Горчаковы, Харитоненко и другие еще, здесь присутствующие.

Я ввязываюсь в спор, неумный, мучительный, так как почти ни одно мое слово не доходит до тех, у кого даже глаза заискрились от таких радужных перспектив. Говорю, что вряд ли возможно совершить новую социальную революцию. Земли и заводы отняты уже более двадцати лет, в их эксплуатацию вложено столько новых средств и сил, что претензии прежних владельцев были бы уже юридически неоправданны, противны здравому смыслу. С другой стороны, можно как-то понять, что помещик, с юности занимавшийся сельским хозяйством, упорно считал себя прирожденным хлеборобом. Но разве годится для этой важнейшей социальной функции какой-нибудь парижский приказчик, шофер или профессиональный танцор, если даже отец его и владел в России землей? Да, наконец, зачем Гитлеру так стараться для русских эмигрантов? Уж скорей всего он поделит земли и предприятия между своими людьми...

Только последний довод как-то задевает Горчакова.

— Поймет, поймет, Гитлер все поймет!— кричит он.— Ведь у большевиков не осталось и следа культуры. Там нет по-настоящему образованных людей. Такие, как мы будут редкостью, уникумами. Без нас не обойтись! Итак, милости просим на Софийскую набережную. Попросторнее будет, чем здесь...

Я прекращаю, спор, вспомнив, что Горчаков уже пробыл некоторое время в доме для душевнобольных. Однако прочие гости выражают полное сочувствие его словам.

Пусть Горчаков и был в своем роде живой карикатурой. Надежды, соображения, расчеты, которые он высказывал, еще долгое время пьянили воображение наиболее тупых и алчных эмигрантов из бывших помещиков и капиталистов.

Не менее недели гитлеровское командование медлило с официальным сообщением о положении на фронте. Тем временем слухи становились все сенсационнее: Красная

Армия бросает оружие, дороги на Москву, Ленинград и Киев открыты!

Наконец все было объявлено «гуртом», причем специальную радиопередачу немцы обставили с особой торжественностью.

Бравурная музыка, марши и затем краткое сообщение: «Такого-то числа наши войска заняли такой-то город». Затем опять бравурная музыка, марш — и новое сообщение: «С такого-то числа по такое-то нами сбито столько-то самолетов». И так в течение получаса о захваченных городах, прорывах, трофеях. Что и говорить, картина получалась внушительная: продвижение было быстрое, занятые территории обширны, успех несомненен. И однако ни о каком «все рассыпалось, разлетелось в прах» говорить не приходилось. Было ясно, что сопротивление не сломлено, Красная Армия оружия не бросает и никакие дороги не открыты. За первую неделю боев на французском фронте гитлеровская армия добилась куда бо́льших результатов. Правильного вывода я еще не сделал из этого, но ясно помню, как чувство национальной гордости стало постепенно наполнять мою душу.

В тот же день я случайно встретил генерала Головина, рассуждения которого о водопаде и дикарях в свое время произвели на меня известное впечатление.

— Да, да, внимательно проштудировал немецкую сводку,— сказал этот бывший штабной генерал, профессор, автор многих трудов, которого в эмиграции, да и в некоторых французских кругах считали выдающимся военным ученым.— Не верю тому, что они сообщают о сбитых советских самолетах.

Я был искренне удивлен, услышав из его уст такое суждение. Головин многозначительно взглянул на меня и тонко улыбнулся:

— Советские летчики массами перелетают на их сторону, вот и всё!

Поняв, что я изумлен еще более, он добавил с глубокомысленным видом:

— У Гитлера тут свой политический расчет, на мой взгляд, неверный. Ему, как я полагаю, хотелось бы доказать, что разгром Красной Армии — результат не антисоветских настроений русского народа, а всесокрушающей мощи германской военной машины. Ничего! Немцам все равно придется считаться с этими настроениями...

Я даже не нашел что ответить, однако подумал: «Какая ахинея!»

А между тем Головин вовсе не был дураком. Очевидно, как специалист военного дела он еще лучше меня понял, что немецкое официальное сообщение опрокидывает все классические эмигрантские прогнозы, но, не имея мужества даже самому себе в этом признаться, предпочел переиначить гитлеровскую сводку на свой лад.

Через месяц, а может быть и больше, мне пришлось беседовать с писателем Борисом Зайцевым. Мы сидели в опустевшем при немцах помещении газеты «Возрождение» и обсуждали положение на фронте. К тому времени уже не могло быть никакого сомнения, что идут тяжелые бои и что Красная Армия оказывает упорное сопротивление. Но, теребя бородку и нежно поглаживая тщательно зачесанные волосы, Борис Зайцев как-то задумчиво, неопределенно откликался на мои слова.

— Да нет же, нет же,— вяло говорил он,— это только фикция отпора, фикция сопротивления. Ох, не верю я в новую отечественную войну. Где уж нам, русским, задерживать вермахт!

Головин и Зайцев были людьми различной формации. Первый и видом и убеждениями выкристаллизировался как продукт дворянско-гвардейский, петербургский, при этом высшего сорта — с работоспособностью, начитанностью, даже ученостью. Второй представлял верхние слои московской либеральной интеллигенции. Первый питал симпатии к авторитарным формам правления, второй считал фашизм явлением варварским и преходящим. И тем не менее оба представляли старую Россию, пусть и в разных ее аспектах. А потому оба явно не верили в наличие мужественного, волевого, организующего начала у советского народа.

Эти два разговора мне показались особенно типичными, но я мог бы привести еще множество подобных бесед с людьми старого мира как имперской, военно-бюрократической, так и интеллигентской традиции. И вот первое новое убеждение, которое принесла мне война, сводилось к следующему: мы, люди старого мира, мы, бывший правящий класс России, не были бы способны руководить народом в войне с таким могучим противником, как Германия. Значит, мы больше не годились для правления, и хорошо для России, что революция заменила нас други-

ми людьми. Да, будь мы у власти, Россию ожидала бы в этой войне участь Франции, ибо мы выродились, измельчали. Румянцевы и Суворовы уже были для нас только далекими предками.

Шли недели, месяцы. Я думал об этом много, думал иногда целые ночи, уходил в себя, подвергая постепенно новой оценке исторические события, явления, которых я был свидетелем в жизни. И теперь я уже решительно отбрасывал то положение, будто Россия ослаблена революцией. Но ясности, твердого вывода еще не было в моем сознании.

. . . .

Париж. Одна из первых ночей декабря 1941 года. На улице ни одного огня. Тихо. В комнате лишь бледное пятно света: диск радиоприемника. «Говорит Москва! Говорит Москва!» Слушающий наклоняется к аппарату: звук слишком силен, услышат соседи, услышат на улице этот язык и эти слова! Вот теперь хорошо — словно шепот, но четко звучит каждое слово на короткой волне. Что принесет она этой ночью? Что долетит по эфиру оттуда, сначала сквозь стены, затем сквозь просторы и ночь, и снова сквозь стены сюда, к уху слушающего?

Вот отчет корреспондента, который где-то на фронте разговаривал с генералами тотчас после военного совета. Голос оттуда звучит спокойно, совсем по-обычному: на этом совете обсуждались меры по скорейшему изгнанию немцев из-под Москвы. У слушающего что-то дрогнуло в груди, и бледный свет радиоприемника как-то странно замигал, расплываясь и теплея. Москва спасена! Да, спасена, раз там так уверенно, так спокойно говорят о ее судьбе. Он сидит здесь, в этой парижской комнате, бессильный, тайно, с «опаской» слушающий голос Москвы, но слезы роднят его с теми, кто в этот миг сражается за нее в огне и снегу. И с теми роднят они его, кто пал за Москву прежде в такую же страшную годину.

Год 1812-й перекликался с 1941-м:

«Ребята! Не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали!»

И — «Велика наша страна, а отступать некуда: позади Москва».

Таким, с такими думами, переживаниями ясно помню

себя. То лучшее, что есть в каждом человеке, пробуждалось тогда во мне.

— Я всегда это угадывал,— как-то говорил мне в ту пору Семенов.— В вас никогда не было настоящей ненависти к большевизму. Вот и докатились до того, что желаете победы большевикам!

И такое его суждение мне было приятно.

Первым этапом моей эволюции было признание того, что, раз не «рухнуло все», раз, обливаясь кровью, новая Россия обороняется изо всех сил, значит, эмигрантские суждения, будто все советские достижения — блеф и будто советская власть — искусственное, неорганическое явление, оказались ложными в корне.

Некоторые это поняли раньше меня, другие позже, третьи, из категории законсервированных или лишенных нравственного мужества, так и не поняли и продолжают мыслить и сейчас, как в 1918 году.

Но мне надо было пройти еще один этап, особенно трудный, потому что в нем предстояло преодолеть расчеты и установки, как-то перекликающиеся с настроениями моих юношеских лет.

«Защищают не власть, а родину; Россию, а не коммунизм...» Вот такие суждения стали распространяться в эмиграции вместе с надеждой, что волна патриотизма, поднятая войной, обернется против самой власти. Это был старый тезис Деникина, младороссов. На таком представлении, на этой оценке событий застряли многие из признавших, что социальные завоевания революции и экономическое ее строительство выдержали испытание и укрепили Россию.

Но я не застрял. Каждую ночь я слушал советское радио, слушал все, стараясь постичь тот подлинный дух, который направлял борьбу моего народа. И мало-помалу мне становилось ясно всем нутром, всем сознанием, что русские люди защищают свою страну под знаменем революции, под знаменем коммунизма, более того, что с и л а их в той идее, которую они утвердили первыми в мире.

Я думал: «Их дело правое, а значит — и их идея. Да, та самая идея, которую я не хотел признавать годами, от которой отворачивался упрямо, так и не постаравшись вникнуть в ее смысл».

Этот вывод, ставящий крест на всем моем активном

прошлом, но проясняющий наконец сомнения былых лет, естественно завершающий все, что отталкивало меня подсознательно от мировоззрения эмигрантских вожаков, подкреплялся примером Франции.

Движение Сопротивления разрасталось в стране. В Париже по ночам стреляли в германских офицеров. Прокламации, листовки, зовущие к борьбе, распространялись по городу. В этом движении участвовали все слои общества, но главенствовал пролетариат. Чувствовалось, что какая-то здоровая сила рвется наружу, обновляя нацию в борьбе. Передавали, что сами нацисты поражены геройством расстреливаемых ими французских коммунистов. Значит, Франция — не выродившаяся страна, как я думал, и для нее благотворна обновляющая идея, та самая, что спасает сейчас мою родину от фашистских поработителей.

Да, не сразу далась мне эта правда. Только торжеством ее в грозную годину подкреплялось во мне новое сознание. Поэтому хвалиться мне нечем. И все же, когда вспоминаю о многих людях, с которыми протекала моя общественная жизнь, мне отрадно думать, что я нашел силы переломить в себе прошлое.

ГЛАВА 5

В РЕШАЮЩИЕ ГОДЫ

Эти записки не история, а лишь материал для историка. Потому и в этой главе о судьбах русской эмиграции в годы Великой Отечественной войны я дам лишь отдельные зарисовки, наблюдения и выводы.

Начну с предпосылки, как мне кажется, весьма существенной.

Политическое сознание русской эмиграции, воспитанной своими вожаками в слепой ненависти к советскому строю, было затуманено еще и тем обстоятельством, что германская оккупация благоприятствовала значительной части эмигрантов в материальном отношении.

Ксенофобия, в частности русофобия, разгулявшаяся во Франции во время «странной войны», больно ущемляла русских эмигрантов, законно раздражала их, а часто и озлобляла. Между тем оккупационные власти сра-

зу же предложили русским работу в качестве переводчиков, управляющих реквизированными помещениями, служащих по хозяйственной части, шоферов (а сколько русских шоферов бедствовало после реквизиции такси!), поручили русским организацию военных столовых и т. д. Работа эта оплачивалась хорошо, а кроме того, ставила русских если и не в привилегированное, то, во всяком случае, в особое положение, уже ничего не имевшее общего с тем, которое связывалось так часто с кличкой «паршивого иностранца».

Немецкая военная администрация широко привлекала к работе русских, как людей, знающих французский язык, французские порядки и нравы и в то же время нейтральных. Итак, русские могли тешить себя мыслью, что служат посредниками между немцами и французами, помогая последним легче переносить чужеземную власть. Да, безрадостна судьба изгнанника: вечно звучит у него в ушах упрек за съеденный «чужой хлеб», хотя хлеб этот и достается ему тяжким трудом; поэтому ему дорога даже иллюзия морального удовлетворения.

И вот, несмотря на все это, мне кажется, что русская эмиграция в лучшей своей части, можно даже сказать — в основной своей массе простых людей, выдержала в годы войны экзамен патриотизма.

Проследить это не так просто. Немецкая власть прекратила деятельность всех старых эмигрантских организаций: не было больше ни собраний, ни диспутов. Вожакам эмиграции приходилось высказываться только в частных беседах. Созданная немцами новая единая организация эмигрантов (о которой речь впереди) объединила только самых верноподданных прислужников фашизма.

И все же в эмиграции обозначились два течения: одно — за родину и, значит, за советскую власть, другое — против большевиков.

Были также выжидающие, были и такие, кто, не изменяя своего враждебного отношения к советской власти, не верил в немецкую победу и возлагал надежду на американское вмешательство. Некоторые, наконец, желали победы Красной Армии, но воображали, что эта победа приведет к преобразованию социального и политического строя в России.

За отсутствием открытых собраний и нефашистских легальных органов печати первое течение кристаллизировалось в подполье, в борьбе; в участии в движении Сопротивления.

Сперва расскажу о некоторых из наиболее известных эмигрантов.

Шаляпина, Коровина, Ходасевича уже не было к этому времени в живых.

Алехин обосновался в Португалии и там окончил свою жизнь.

Рахманинов находился в Америке, где, как известно, незадолго до кончины передал советскому консулу сбор со своего концерта для раненых советских бойцов.

Иван Бунин прожил почти всю войну в Грассе, на юге Франции, сначала с тревогой, а затем с радостью и надеждой следя за ходом Великой Отечественной войны.

Борис Зайцев поверил в конце концов, что Красная Армия может задержать вермахт. Но никакого вывода из этого не сделал. С фашистами не пожелал иметь отношений, но остался верен себе, именно себе, и только. «Всегда восставал против большевиков и буду восставать, что бы ни случилось!» Да, что бы ни случилось... Очевидно, такое слепое постоянство дается некоторым людям легче, чем признание собственных заблуждений.

Алданов успел выехать из Парижа до прихода немцев и переселился в Америку, где, насколько я знаю, тоже оставался верен себе — по зайцевскому образцу.

Мережковский незадолго до смерти произнес речь по радио, в которой благословлял немцев «на крестовый поход». Зинаида Гиппиус, умершая после победы, злобствовала против родины до последнего своего часа. Так же вел себя и Шмелев, у которого на этой почве произошло очень резкое столкновение с писателем Рощиным, чуть ли не плюнувшим ему в лицо.

Ремизов сделал вывод, признал свои заблуждения. Во всяком случае, мне известно, что он занял в эти годы патриотическую позицию и в 1946 году стал советским гражданином.

Ближайшее окружение Милюкова перебралось в США и там заняло позиции, не укладывавшиеся в рамки понятий патриотизма или пораженчества просто потому, что это были позиции чисто американские. Он же

переехал на юг Франции, в Экс-ан-Прованс. Там он в 1943 году написал статью, разошедшуюся во многих экземплярах, отпечатанных на ротаторе или на машинке и тайно распространявшихся среди русских (в этом деле и я принимал участие). Это была полемика с эсером Марком Вишняком, орудовавшим вместе с Керенским в США. В первой части Милюков высмеивал Вишняка, упорствующего в своем негодовании по поводу германо-советского договора 1939 года. Милюков указывал, что Вишняком руководят соображения, ничего общего не имеющие с государственными интересами России. Договор был нужен, полезен, он дал возможность России усилить свое положение, и — замечал саркастически Милюков — хорошо, что Марк Вишняк не был дипломатическим советником. Во второй части статьи Милюков признавал, что победы Красной Армии обязывают пересмотреть все прежние оценки, что эти победы свидетельствуют о плодотворности советских усилий, целесообразности пятилеток, успехах советской промышленности, что многое, казавшееся со стороны чрезмерным, рискованным в советской политике, находит свое полное оправдание в боевой мощи Красной Армии.

Пусть многое в статье Милюкова утратило сегодня свое значение или является спорным, а то и вовсе неверным. Но вот знаменательные выдержки, в которых Милюков отвечал на вопрос, с кем быть русским эмигрантам, и старался объяснить, в чем разгадка внутренней крепости советского строя.

«Бывают моменты — это еще Солон заметил и даже в закон ввел,— когда выбор становится обязателен. Правда, я знаю политиков, которые по своей «осложненной психологии» предпочитают отступать в этих случаях на нейтральную позицию. «Мы ни за того, ни за другого». К ним я не принадлежу... Когда видишь достигнутую цель, лучше понимаешь и значение средств, которые применены в ней... Ведь иначе пришлось бы беспощадно осудить и поведение нашего Петра Великого... Советский гражданин... гордится своей принадлежностью к режиму... А главное, он не чувствует над собой палку другого сословия, другой крови, хозяев по праву рождения... Недаром же от всех советских граждан... мы постоянно слышим упорное утверждение, что Россия — лучшая страна в мире».

Это и есть главное в статье П. Н. Милюкова, которая оказала очень благотворное влияние на умы и значительно способствовала участию русских эмигрантов в движении Сопротивления.

Так в глубокой старости — ему было уже за восемьдесят — самый авторитетный из кадетских лидеров нашел мужество признаться в собственных заблуждениях.

Деникин остался верен себе согласно формуле, давно принятой такого рода напыщенными людьми: «Если события идут вразрез с моими прогнозами, тем хуже для событий». Был против немцев, но и против советской власти, так что оставалось загадкой, чей же он сторонник. После победы оказалось, что — США, куда он и поспешил перебраться.

Личность, в историческом плане менее заметная, но зато внушительная в финансовом, Абрам Гукасов тоже остался себе верен. Объяснение военных событий он придумал такое: «Красная Армия тут ни при чем, ее небоеспособность давно ведь была доказана «Возрождением». Просто США и Великобритания решили поддержать ее против вермахта»,— так буквально, с невозмутимейшим видом говорил он мне под самый конец войны.

Кстати, с Гукасовым произошел довольно курьезный случай.

Большую часть войны Гукасов провел в Ницце. Когда в «свободную зону» тоже вошли немцы, гестапо арестовало его как... еврея, очевидно из-за имени и восточного типа. Гукасов, сам яростный антисемит, запротестовал изо всех сил. Из Парижа срочно выслали снимки с увенчанных крестами могил гукасовских родичей. Гукасова довольно быстро освободили, и этот арест ничуть не поколебал его принципиальной симпатии к «любым формам антибольшевизма», как выражался он сам.

А Семенов, многолетний выразитель в печати гукасовской идеологии?

В конце 1943 года я имел с ним долгую беседу. Бил Семенова его же доводами, цитируя его статьи, выступления о «непригодности Красной Армии для войны» и о том, что при малейшем ударе извне «русский народ, как один человек, поднимется против большевиков». Семенов не обладал циничной гукасовской изворотливостью. Что мог он мне возразить после битвы на Волге и на

Курской дуге? Прижатый, как говорится, к стенке, он в конце концов проговорил вполголоса:

— Но поймите же, я не могу желать победы коммунистам. Ведь они меня повесят!

Последний довод этого, как мне кажется, стопроцентного «антибольшевика», был чисто шкурный.

Очевидно, подобные опасения сильно тревожили и Головина, ученого царского генерала, мной уже описанного, который даже после битвы на Волге продолжал выступать со статьями о «безнадежном положении Красной Армии».

Покушения на германских офицеров и французских коллаборационистов особенно участились после высадки союзников. Коллаборационисты получили по почте посылки с «гробиками»— это было предупреждение от тайной армии Сопротивления: «Вот что тебя ожидает скоро за твоё предательство».

Получил такой «гробик» и генерал Головин... и, получив, в тот же день умер от разрыва сердца.

Другой генерал, пресловутый Петр Краснов, бывший донской атаман, еще в 1917 году ходивший походом на красный Петроград, тот дождался возмездия: был повешен по приговору советского суда. До самого конца гитлеризма Краснов оказывал Власову услуги по терроризированию советских военнопленных, из которых они вместе пытались сформировать военные части в помощь вермахту.

С мнением Краснова, преуспевавшего в Берлине, очень считались в реакционных эмигрантских кругах. Помню, летом 1942 года старый генерал читал при мне письмо, только что полученное от Краснова. В нем бывший атаман заверял своего корреспондента, что к концу года советский фронт распадется, фактически перестанет существовать, и «тогда начнется строительство национальной России путем поголовного истребления в стране всех оставшихся большевиков».

Древний был старик, а жил одной ненавистью — личной, злобной, завистливой,— в первую очередь к своему народу.

Еще одно обстоятельство влияло на часть русской эмиграции, развращало ее в годы оккупации.

Выкачивание из Франции ее добра осуществлялось немцами двумя путями: прямым, в виде контрибуции, обязательных поставок государственного масштаба, реквизиций, и косвенным, при помощи так называемых «закупочных бюро». Печатали специальные оккупационные марки и на эти бумажки скупали всё оптом и в розницу. Страну это разоряло, зато сказочно наживались ловкие продавцы вместе с целой армией посредников. Таким путем немцы не только получили без всякого нажима то, что им было нужно, но еще (что их также устраивало) буквально развращали население, особенно молодежь, умышленно создавая условия для бешеной, беспримерной по своим размерам спекуляции.

Париж годов оккупации — это постоянное недоедание, вытянувшиеся лица, постоянные отправки в Германию рабочей силы, унижение французской нации, сжатые кулаки, промерзшие квартиры, аресты, списки расстрелянных заложников, тяжелые бомбежки пригородов американской авиацией, лихорадочное ожидание спасения, надежды лучших сынов Франции, обращенные на Восток, в страну великого народа, который, истекая кровью, освобождал Европу от рабства, выученные назубок, хоть и с неверным произношением, названия русских городов и рек, подлинное пробуждение французской гордости, живого духа нации, формирование тайных отрядов Сопротивления, жертвенность, героизм, «Марсельеза» в сердцах, готовых на подвиг.

О ночном Париже этой поры так писала Ирина Кнорринг:

Час, когда устав от смутных дел,
Город спит, как зверь настороженный,
А в тюрьме выводят на расстрел
Самых лучших и непримиренных.

Но Париж годов оккупации — это также цветник крохотных причудливых шляпок за столиками «Максима», роскошные ночные пиры с окороками (баснословная редкость!), паштетами и шампанским, разговоры в кафе: «Если дело выйдет, каждому по полмиллиона» (часто это говорили мальчишки, бросившие школу, чтобы познать радости «широкой жизни»), быстрая трата колоссальных сумм, так как подобные доходы нельзя объявлять (страх расплаты после войны!), и, значит, на-

до «обращать» в драгоценности, картины или просто прокучивать при участии несметного количества почтительных прихлебателей — подлинный «пир во время чумы», дикая вакханалия.

Около четырехсот закупочных бюро функционировало в одном Париже. Среди лиц, разбогатевших при немцах, эмигранты составляли значительный процент. Равняясь на пресловутые «двести семейств» французского правящего класса, русские острили: «У нас тоже теперь свои восемнадцать семейств». Столько примерно насчитывалось русских, вначале скромно работавших у немцев по хозяйственной части, а потом затмивших дурной роскошью многих из французских королей черного рынка. Так кое-кто из мелких эмигрантских деляг, до войны пробавлявшихся чем попало, в годы оккупации стали первыми жуирами, первыми денежными магнатами, в огромных роскошных квартирах пропивавшими, не считая, все, что могли, при помощи целой ватаги своих же русских «верноподданных».

Ясно, что и сами эти господа и к ним примазавшиеся соотечественники с тоской и тревогой следили за освободительным шествием Советской Армии.

Итак, по распоряжению немецкого командования эмигрантские организации полностью прекратили свою деятельность. Незадолго до войны против СССР немцы создали вместо них новую, единую, свою собственную организацию — управление по делам русской эмиграции во Франции, учреждение чисто полицейское, подчиненное эсэсовскому начальству в Париже, и поставили во главе ее некоего молодого человека из так называемой «казачьей аристократии»— Юрия Жеребкова. В русском Париже знали только, что он был до войны профессиональным танцором и что он близок к Краснову. Кроме того, передавали, что он сделал карьеру по «особой линии», крепко удерживавшийся в эсэсовском руководстве, несмотря на расстрел Рема и его женоподобных адъютантов.

Про Жеребкова можно сказать, что этот «гаулейтер эмиграции» мог бы оказаться и хуже. Брюссельский его коллега Войцеховский, убитый перед самым уходом гитлеровцев, кажется, советским военнопленным, тот проявил себя подлинным гестаповцем, сажавшим по своей инициативе русских в тюрьму. Жеребков же этой ини-

циативы у эсэсовцев не оспаривал и даже порой старался кое-кого выгородить. Но в том, что касается образцовой исполнительности, полной готовности приобщить и свои усилия к порабощению России, сулящему такие выгоды эсэсовскому начальству, Жеребков, очевидно, оказался вполне на своем месте.

На организационном им эмигрантском собрании он, нервно расхаживая своей развинченной походкой по эстраде и то и дело обмахивая платочком нарумяненное лицо, с места в карьер заявил оторопевшей аудитории.

— Вам всем надлежит понять раз и навсегда, что строить новую Россию будете не вы, а германский солдат, который своей кровью смывает с чела нашей родины печать красной звезды.

— Как это неудачно!— говорил после собрания даже грузинский меньшевик Гегечкори, всю жизнь ратовавший за расчленение Советского Союза.— Ну разве можно делать такие заявления, если хочешь покорить страну! А ведь именно так и поступают немцы в занятых областях. Вот что значит отсутствие подлинного опыта в колонизаторстве... Провалятся, дураки,— так им и надо! Но американцы, поверьте, будут действовать более дипломатично...

Жеребков выступал перед эмиграцией 22 ноября 1941 года. И вот текст его речи показывает, что уже в этот первый период войны, самый тяжелый, отмеченный самыми жестокими поражениями Красной Армии были в эмиграции люди, готовые связать свою судьбу с судьбой родины и уповавшие на ее победу. В самом деле, вот что говорил этот эсэсовец (цитирую по сохранившемуся у меня отпечатанному тексту его сообщения):

«Вольные или невольные английские и советские агенты... стараются разжечь в эмиграции ложнопатриотические чувства и постоянно твердят некоторым простакам: «Как, неужели вы, русские люди, радуетесь победе немецкого оружия? Подумайте, немцы убивают миллионы русских солдат, разрушают города, течет русская кровь!» Есть даже такие... которые уверяют, что долг русских всеми силами поддержать Советскую Армию, которая является русской армией... Тех же, кто с этим не соглашаются, они обвиняют в измене родине. Эти лукавые слова проникают в некоторые слабые беженские души, и вот кое-кто, не отличающийся большим умом,

повторяют всю эту белиберду, но опасную белиберду».

Право, хочется сказать спасибо Жеребкову за такие слова, за столь авторитетное свидетельство! Гестапо, чьим представителем был Жеребков, как увидим, не ошибалось в оценке настроений многих русских эмигрантов.

Жеребковское «управление» реквизировало большой дом в одном из лучших кварталов Парижа, на улице Галлиера, завело обширное делопроизводство, приступило к регистрации эмигрантов со строгой проверкой их «арийского происхождения», стало выпускать на русском языке фашистскую газету под названием «Парижский вестник», сначала печатавшуюся по старой орфографии, а затем перешедшую на новую, в расчете на «читателей» из лагерей для советских военнопленных.

Ясно, что после жеребковского заявления немцы не могли к себе ждать особого наплыва эмигрантов. Да они и не очень старались заручиться эмигрантским сотрудничеством, по крайней мере на первых порах, пока были упоены успехами и не скрывали, что идут уничтожать русское государство.

Эмигранты годились лишь в лакеи, в шпионы, в диверсанты, а не для политической акции.

К гитлеровцам пришло из среды русских эмигрантов в Париже самое малое число: либо особо ретивые «белые вояки», в большинстве своем очень быстро разочаровавшиеся и отшатнувшиеся от немцев; либо псевдохитрецы, вообразившие, что выйдут сухими из воды, а на самом деле попавшие в помойную яму; либо по духу прирожденные лакеи, жаждущие любой подачки; либо, наконец, тупые до отказа, до кретинизма.

Одного из таких, бывшего гвардейского офицера, я встретил в метро в начале 1942 года, когда он приехал в отпуск из захваченных советских областей, где служил у гитлеровцев переводчиком.

— Ну как?— спросил я его.

— Верю в быструю и полную победу,— гаркнул он чуть ли не на весь вагон.

— Не такую уж быструю,— отвечал я,— раз Гитлер заверяет своих солдат, что они в следующую зиму будут обеспечены теплой одеждой на фронте.

— Кто это сказал?

— Да он сам, Гитлер. Сегодня напечатано.

Я протянул ему немецкую газету и, выходя, увидел, как он с тупым удивлением и тревогой уткнул в нее свою глупую голову.

Были и другие. Они тоже пошли в услужение к гитлеровцам, но вскоре под тем или иным предлогом покинули немецкую службу. Даже людям, готовым на все из ненависти к революции, было невмоготу наблюдать, что творили гитлеровцы на русской земле.

В этом отношении примечательна эволюция одного из князей Мещерских, который отправился в первые же месяцы войны в Россию. Это был молодой человек из эмигрантской «верхушки», с большими связями во французских и иностранных кругах. Поехал, как говорили, чтобы поскорее войти во владение своим бывшим имением где-то под Смоленском. Однако очень скоро не только бросил службу у гитлеровцев, но стал их злейшим врагом, вернулся во Францию, поступил в тайную армию Сопротивления, доблестно сражался против фашистов, удостоился высоких французских боевых наград и остался на службе во французской армии.

И так же, как этот Мещерский, некоторые простые люди, в том числе из казаков, внявших зову Краснова отправились с гитлеровцами в Россию, а затем вернулись, в ужасе заявляя: «Немцы всех нас хотят обратить в рабов».

Лишь самые подонки до конца связали свою судьбу с фашистами.

Например, Брешко-Брешковский, сын известной некогда эсерки, прозванной своими единомышленниками «бабушкой русской революции», самый, кажется, вульгарный эмигрантский романист, поспешил в Берлин и там ревностно служил в органах пропаганды, пока не погиб во время бомбежки.

Или бывший фельетонист петербургского «Нового времени» и парижского «Возрождения» Ренников. Этот опубликовал в «Парижском вестнике» накануне решающей битвы на Волге статью, в которой радостно объяснял, что «доблестные немцы» готовят советским армиям Канны...

Усердно, последовательно сотрудничали с гитлеровцами на все готовые люди из «Национально-трудового союза нового поколения». Ездили в Германию, «работали» среди советских военнопленных, то есть старались

их распропагандировать при помощи угроз и посулов. Выполняли, таким образом, особо грязную работу. Но, принадлежа к вышеупомянутой категории псевдохитрецов, уверяли, что «русская трясина засосет немца». Приводили такой пример: последняя царица была немкой, а как попала в Россию, стала поклоняться русским иконам да русскому мужику Распутину... Вот и Геринг, чего доброго, сменит фельдмаршальский жезл на посох и пойдет класть земные поклоны по монастырям святой Руси... Предоставили немцам тощий контингент своей организации для любой работы, в первую очередь для «грядущей расправы с комиссарами».

Племянник Краснова, тоже Краснов (впоследствии повешенный вместе с дядей), бывший гвардейский казачий офицер, человек тупой, ожесточенный и тщеславный, чуть с ума не сошел от радости, когда немцы облачили его в свой полковничий мундир. Как активисты из НТС, он вообразил, что настал его час, и хвалился в Париже, что будет руководить расправой над «комиссарами».

По мере того как их все крепче била Советская Армия, гитлеровцы начали делать некоторые поблажки своим лакеям — русским изменникам. Так, разрешили власовскому начальнику штаба Малышкину сделать публичный доклад в Париже с хитро сфабрикованной критикой немецкой политики и даже намекнуть, что немцам следовало бы несколько смягчить ругань по адресу русского народа и всего русского. Этот доклад был напечатан в «Парижском вестнике», причем редакция объявила, что в следующем номере будут помещены снимки собрания. Эмигрантские германофилы возликовали: немцы, мол, поняли свои ошибки и теперь поручат эмигрантам и власовцам управление занятыми территориями. Но в следующем номере снимков не появилось и о докладе Малышкина больше никогда не упоминалось. Очевидно, какие-то высшие немецкие органы решили, что и такая «поблажка» чрезмерна для лакеев.

Последним делом жеребковского «управления», перед самым уходом немцев из Парижа, был увоз в Германию «маленького царя», двадцатипятилетнего Владимира, после смерти отца своего, «царя Кирилла», оказавшегося старшим среди Романовых и потому почитавшегося претендентом на русский престол. После крушения гитлеризма «претендент» нашел убежище у Франко

и вскоре женился на американской вдове, урожденной Багратион — значит, «почти что равной ему по крови» и, что особенно важно, изрядно богатой.

В первый десяток добровольцев, лично явившихся в Лондоне к де Голлю, входил молодой русский парижанин Вырубов (племянник пресловутой Анны Вырубовой), в то время учившийся в Англии. Он затем сражался во французских частях, был тяжело ранен в Северной Африке и удостоился высоких французских боевых наград.

Борис Вильде (1908—1942) и Анатолий Левицкий (1901—1942) были французскими гражданами, но детьми русских эмигрантов и русскими по воспитанию (Борис Вильде под псевдонимом «Дикой» помещал стихи в эмигрантской печати), оба были молодыми учеными-этнографами (в частности, Левицкий известен своими трудами о шаманизме), работавшими в парижском «Музее человека», оба входили до войны в антифашистский русский кружок Бунакова-Фундаминского.

Вильде и Левицкому принадлежит высокая честь, никем у них не оспариваемая: столь громкое впоследствии слово «résistance» (сопротивление) было употреблено впервые именно ими для обозначения народного движения против фашистских захватчиков. Случилось это так. В музее, где они работали, Вильде и Левицкий в 1940 году создали боевую группу, которая получила название «Группы Музея человека». Задались целью выпустить газету, сначала хотели назвать ее «Libération» («Освобождение)», но в конце концов решили, что об освобождении говорить преждевременно, и придумали другое название —«Résistance.»

Немцы арестовали обоих, долго держали в тюрьме и наконец расстреляли на площадке Мон-Валерьян 23 февраля 1942 года. Оба умерли героями.

В день своей смерти Вильде отправил жене (француженке) письмо. Выписываю из него несколько строк в переводе, опубликованном в «Вестнике русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции» (Париж, 1947, № 2):

«Простите, что я обманул Вас: когда я спустился, чтобы еще раз поцеловать Вас, я знал уже, что это бу-

дет сегодня. Сказать правду, я горжусь своей ложью: Вы могли убедиться, что я не дрожал, а улыбался, как всегда...

Моя дорогая, я уношу с собой воспоминание о Вашей улыбке. Постарайтесь улыбаться, когда Вы получите это письмо, как улыбаюсь я в то время, как пишу его. (Я только что взглянул в зеркало и увидел в нем свое обычное лицо). Я думаю, это — все, что я могу сказать. К тому же, скоро пора! Я видел некоторых моих товарищей: они бодры. Это меня радует... Вечное солнце любви восходит из бездны смерти... Я готов, я иду».

Имена Вильде и Левицкого высечены в «Музее человека» на мраморной доске с такой эпитафией: «Умерли за Францию».

Да, конечно, и за Францию... Но подвигом их может гордиться и русский народ.

И на той же памятной доске в вестибюле «Музея человека» помещен текст двух приказов генерала де Голля (изданных в Алжире 3 ноября 1943 года) о посмертном их награждении медалью Сопротивления.

«Вильде. Оставлен при университете, выдающийся пионер науки, целиком посвятил себя делу подпольного Сопротивления в 1940 году. Будучи арестован чинами гестапо и приговорен к смертной казни, явил своим поведением во время суда и под пулями палачей высший пример храбрости и самоотверженности».

«Левицкий. Выдающийся молодой ученый, с самого начала оккупации в 1940 году принял активное участие в подпольном Сопротивлении. Арестованный чинами гестапо, держал себя перед немцами с исключительным достоинством и храбростью».

22 июня 1941 года — дата грозная, трагическая в мировой истории. Но как предвестница великого освободительного порыва она явилась также решающей для значительной части русской эмиграции во Франции.

По мере того как Советская Армия крепла в борьбе, крепло и внутреннее сопротивление во всех оккупированных странах. Многие русские за рубежом услышали голос родины. Эмигрантский поэт Георгий Ревский писал об этой поре:

Да, какие пространства и годы
До тех пор ни лежали меж нас.
Мы детьми одного народа
Оказались в смертельный час.
По ночам над картой России
Мы держали пера острие
И чертили кружки и кривые
С верой, гордостью за нее.

Да, именно, с гордостью. И гордость эту питала в нас сама среда, в которой мы жили: Франция, ее народ.

Я выхожу из дому. Консьержка останавливает меня:

— Кажется, хорошие вести, мсье? Вы слышали, освобожден Воронэж?

Я улыбаюсь и радостно передаю последнюю сводку Совинформбюро, тоже произнося название русского города на французский лад.

На улице старик аптекарь трясет мне руку:

— C'est formidable! (Это потрясающе!) Какой вы великий народ!

Ему нет дела до того, что я эмигрант. Я для него прежде всего русский, и потому он уверен, что я достоин его похвалы.

А вот и наш монтер — хороший, толковый парень. Я догадываюсь, что он коммунист; он знает, что я не советский, но, как-то глядя у меня на карту фронта, мы поняли, что нас обоих наполняет одна надежда. Он тоже восторженно поздравляет меня с новой советской победой.

Хозяин кафе сообщает мне таинственно:

— Какой-то немец что-то написал сегодня на стене уборной. Не могу понять! Может, вы поможете, мсье? Все-таки интересно...

Большими буквами выведено по-немецки химическим карандашом: «Россия — холодная страна».

Нас обоих одинаково радуют тяжелые раздумья этого бесхитростного солдата вермахта, и мы хохочем громко и весело, воображая, как он выписывал на стене эти простые слова, которыми пытался объяснить себе то, что случилось с гитлеровцами в России.

На Елисейских полях идет мне навстречу буржуа, солидный, преисполненный собственного достоинства. Я знаком с ним давно и знаю, что он крепко не любит коммунистов. Но и он сияет радостной улыбкой, приветствуя меня:

— Победа! Победа! Слава вашей великой стране, вашей героической армии!

Я чувствую, что он забыл — пусть, быть может, и ненадолго — о своем страхе перед коммунизмом, что он понимает, откуда придет избавление.

В этот день еще одной советской победы я чувствую себя именниником, я, эмигрант, столько лет отворачивавшийся от новой России.

Никогда еще не было такого тесного общения с Францией, с ее душой у русских людей, нашедших приют на французской земле, как в эти военные годы. Ведь у тех, кто услышал голос родины, пусть отныне был один и тот же враг, что и у французских патриотов.

У меня нет под рукой достаточно материалов, которые позволяли бы дать полную картину участия русских в движении Сопротивления. Отмечу лишь то, что запомнилось наиболее точно.

На русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа по соседству с могилами русских воинов, павших в рядах французской армии, покоится ныне прах княгини Веры Аполлоновны Оболенской, «Вики», как ее звали в эмигрантском «свете».

Это была молодая, стройная, красивая женщина с одухотворенным, задумчивым и в то же время детски-наивным чисто русским милым лицом, со смеющимися глазами, любившая элегантно одеваться и часто блиставшая на эмигрантских балах. Про нее говорили, что она очаровательна и умна, но никто, конечно, не догадывался, что ей суждено оставить о себе память как о подлинной героине.

Во французском движении Сопротивления она выдвинулась как отважная, находчивая связистка.

Гитлеровцы арестовали ее, увезли в Германию и судили. На допросе она держала себя с исключительным мужеством, сказала, что никакой милости не хочет от немцев. Военный суд вынес смертный приговор.

Ей отрубили голову.

Есть свидетельство (в том же номере «Вестника русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции»), что в берлинской тюрьме Вика Оболенская подружилась с молодой советской девушкой-

врачом, приговоренной к смерти за пропаганду против войны и за связь с немецкими коммунистами. Общение с этой девушкой, беззаветно любившей свою родину, укрепило давнишнее желание Вики ехать в Россию. Она ведь тоже всегда любила Россию как свою родину, любила ее историю, культуру, а с наступившей войной гордилась ее победами, никогда не сомневалась в конечном исходе борьбы. Они сговорились непременно встретиться там — и обе погибли в Берлине.

Вот еще справка о Вике Оболенской.

Девичья фамилия: Макарова. Родилась в Москве 4 июня 1911 года. Казнена в Берлине, в тюрьме Плацтензее 4 августа 1944 года. Посмертно награждена французским правительством орденом Почетного Легиона, Военным крестом с пальмами и медалью Сопротивления. Выписка из приказа: «Младший лейтенант, участница Сопротивления с 1940 года. Будучи арестована, вывезена в Германию и казнена в Берлине, явила всем прекрасный пример преданности Франции и героизма в борьбе с гитлеризмом». Из приказа английского фельдмаршала Монтгомери:» «Этим приказом я хочу запечатлеть мое восхищение услугами, оказанными Верой Оболенской, которая в качестве добровольца Объединенных Наций отдала свою жизнь, чтобы Европа снова могла стать свободной» (6 мая 1946 года).

А вот еще замечательная русская женщина: мать Мария, в миру Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, затем — Скобцова (1892—1945). В молодости, в России, она была поэтессой, примыкала к символистам, хорошо знала Блока, Белого, о которых написала интересные воспоминания. В эмиграции, уже пожилой женщиной, стала монахиней. Деятельность ее была направлена в первую очередь на оказание помощи нуждающимся соотечественникам. Открыла общежитие для престарелых и даровую столовую в Париже на улице Лурмель для всех неимущих русских.

В годы войны столовая превратилась в антигитлеровский центр эмигрантов, которым руководила эта полная энергии, всегда веселая, жизнерадостная, всем своим обликом так не похожая на монахиню, крепкая духом русская женщина. Русские люди собирались там у радиоприемника, чтобы услышать голос Москвы, или перед огромной картой СССР, на которой мать Мария

каждый день передвигала флажки согласно последней советской сводке; там же укрывала она бежавших из лагерей советских военнопленных.

Гитлеровцы арестовали и ее. В ряде воспоминаний бывших заключенных говорится о матери Марии, о необыкновенном достоинстве и мужестве, с которыми она переносила голод и страдания. В лагере смерти Равенсбрюк она близко сошлась со многими советскими девушками и женщинами и всегда говорила, что ее заветная мечта поехать в Россию. Она восхищалась русской молодежью, ищущей знаний, любящей труд, не жалеющей своих сил для блага будущих поколений.

Как-то, на перекличке, мать Мария заговорила с одной советской девушкой и не заметила подошедшей к ней надсмотрщицы. Та грубо ее окликнула и стеганула со всей силы ремнем по лицу. Мать Мария, словно не замечая этого, спокойно закончила начатую по-русски фразу. Взбешенная надсмотрщица набросилась на нее и сыпала удары ремнем по лицу, а та ее даже взглядом не удостоила: будто ее совсем перед ней и не было!

Замученная палачами, мать Мария умерла в Равенсбрюке перед самым концом войны — в апреле 1945 года.

Ариадна Скрябина, дочь знаменитого композитора, участвовала в Сопротивлении с первых же месяцев оккупации. Сражалась как партизанка в южной зоне. В июле 1944 года пала на своем боевом посту в стычке с устроившими ей засаду вишистскими милиционерами. Там же, в Тулузе, ей воздвигли памятник. Посмертно награждена Военным крестом и медалью Сопротивления.

Трудно проследить все пути, которые приводили к родине многих эмигрантов. Видно, для благородных сердец ее зов часто оказывался сильнее всех привычных условий жизни.

Дети царского генерала Максимовича (две дочери и сын). За границей (не знаю уж, каким образом) у них оказались средства и связи в самых буржуазных кругах. Одна дочь вышла замуж за американского дипломата и, кажется, полностью ушла в нерусскую жизнь, Но судьба другой сложилась совсем иначе. Анна Павловна Максимович стала во Франции известным врачом, возглавила одну из лучших клиник для душевнобольных и преуспела на этом поприще. В со-

гласии с традициями семьи, входила в одну из эмигрантских монархических организаций. Но ни карьера французского врача, ни эмигрантская политика не приносили ей удовлетворения. Она вошла в организацию «оборонцев», затем включилась в движение Сопротивления и, в конце концов, арестованная гитлеровцами, погибла, как передавали в Париже, в фашистском лагере смерти.

Судьба ее брата Василия Павловича тоже известна мне лишь в общих чертах. Это был одаренный математик, которому предсказывали блестящее будущее. Преподавал во французских учебных заведениях, в материальном отношении тоже был вполне обеспечен и тоже, казалось, мог бы связать себя окончательно с французским буржуазным миром. Однако по примеру сестры примкнул к движению «оборонцев». Был заключен французами в лагерь. Выбравшись оттуда, участвовал в движении Сопротивления. Был арестован немцами и, как мне рассказывали, расстрелян за несколько недель до освобождения Парижа.

Я лично не знал Максимовичей. Но вот жизненный путь И. А. Кривошеина, которого я помню еще с детских лет. Кривошеин еще до войны занял патриотические позиции. Арестованный 22 июня, он был освобожден через несколько месяцев вместе с другими заключенными Компьенского лагеря. Установив при помощи жеребковского «управления» контроль над русской эмиграцией, гитлеровцы сочли, что им больше не нужны заложники из ее среды.

Кривошеин был видным французским инженером, хорошо зарабатывал и не имел никаких оснований жаловаться на свою судьбу. Кроме того, заключение в Компьенском лагере могло бы отбить у него охоту заниматься политикой. Однако он сразу же после своего освобождения ищет возможности включиться в борьбу против гитлеровцев.

Это не так легко. Действовать в одиночку не имеет смысла. Между тем у подавляющего большинства эмигрантов нет никаких связей с ведущей французской подпольной организацией, то есть с организацией компартии, которая к тому же, естественно, относится к ним с недоверием.

Но Кривошеин человек, волевой, упорный. После

немалых усилий он связывается с видным общественным деятелем и ученым Марселем Пренаном, начальником штаба парижского отделения боевой организации «Вольные стрелки». Действуя по ее заданиям, выполняет самые опасные поручения. Гитлеровцы снова его арестовывают — на этот раз как активного врага, как русского патриота. Подвергают жестоким пыткам: со скованными руками и ногами сажают в ледяную ванну, избивая одновременно резиновыми палками. Но, как отмечалось в приказе о награждении Кривошеина французским военным орденом, никаких сведений им не удалось у него исторгнуть. Целый год он томился затем в лагере Бухенвальд и был близок к смерти от истощения, когда его спасла победа над фашизмом.

Вот этот человек и был избран после войны председателем «Содружества русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции».

А вот судьба двух эмигрантских подростков, учеников средней школы Сидорова и Мхитарова. Последние месяцы оккупации. Оба они жаждут проявить на деле свой патриотизм. С радостью соглашаются на предложение руководителей одной из подпольных организаций изъять секретные документы, находящиеся у предателя, который собирается передать их гестапо. Инсценируется кража со взломом, но полиция арестовывает обоих, и суд приговаривает их к тюремному заключению как бандитов. Это было в марте 1944 года, а в июле того же года в тюрьме, где они содержатся, вспыхивает восстание. Двадцать восемь заключенных расстреляно, в том числе Мхитаров. Сидоров освобождается после изгнания немцев. Судебный приговор отменен. Оба (из которых один — посмертно) награждаются медалью Сопротивления.

В ноябре 1943 года в Париже, на квартире Г. В. Шибанова, собралась группа русских людей, в которую входили кроме хозяина, как и он, работающие ныне в Советском Союзе Роллер, Смирягин, Клименюк, Миронов, Алексей Кочетков, Пелехин... К ним примкнули затем тоже вернувшиеся ныне на родину Качва, Зикер, Покотилов и другие.

За десятилетия своего существования русская эмиграция знала множество съездов, торжественных собраний, страстных диспутов, на которых выступали опытные ораторы, люди с известными именами, общественные деятели, некогда подвизавшиеся на всероссийской политической арене, бывшие министры, главнокомандующие, партийные лидеры, мечтающие стать «вожаками масс». Но все их речи, призывы, постановления (о том, например, признавать или не признавать верховным вождем великого князя Николая Николаевича, зарегистрировать полный или лишь частичный «провал» индустриализации, возглавить все надежды в первую очередь на гитлеровцев или же на японцев...) всего лишь подогревали в них самих антибольшевистский азарт и, в общем, имели не больше значения, чем жужжание мухи.

Но это конспиративное собрание людей малоизвестных, типичных представителей трудовой эмиграции, так называемых эмигрантских «низов», следует назвать подлинно историческим. Эти люди собрались для создания «Союза русских патриотов», боевой антифашистской организации, которой впоследствии было суждено объединить возросшую в несколько раз за время войны патриотическую часть эмиграции и подготовить ее к возвращению на родину.

Движение, которое они представляли, возникло как раз в тех лагерях, куда правительство Даладье засадило во время «странной войны» иностранцев, признанных французской политической полицией «опасными для Франции».

В 1941 году жизнь в лагерях стала невыносимой (давали 150 граммов хлеба в день и жиденькую овощную похлебку). Люди умирали десятками. К этому времени начались массовые отправки заключенных на работы в Германию. Первая партия, выбывшая из лагеря Вернэ, включала примерно 150 эмигрантов, «оборонцев» и членов «Союза друзей Советской родины» (в лагере эти организации объединились).

Бывшие заключенные французских лагерей в большинстве своем перешли на нелегальное положение, остались во Франции или бежали туда из Германии, примкнули к движению Сопротивления, а затем реши-

ли объединить свои усилия в русской боевой патриотической организации.

В эти дни вновь, но в еще больших размерах, проявились те настроения, которые так поражали вожаков эмиграции уже в годы гражданской войны в Испании. В помощь фашизму эмиграция выставила тощий контингент убогих прислужников, между тем как многие отважные бойцы вышли из ее рядов на борьбу с фашистами. Имена их тогда не были известны, но об их делах всюду ходили слухи, приводившие в ужас людей из жеребковского «управления». И слухи эти подтверждались фактами, вещественными доказательствами.

Эсэсовское начальство негодовало: несмотря на жеребковский аппарат, которому надлежало взять всю эмиграцию в тиски, несмотря на террор, на расстрелы, в Париже выходил русский подпольный орган «Русский патриот», который печатал сводки Совинформбюро, приказы Сталина, воззвания к русским эмигрантам и советским военнопленным.

Впоследствии Н. Н. Роллер рассказывал мне о технике этой работы. Подпольная типография была им организована в парижском предместье Эрблей, в подвале, там печатал он на восковках материал, доставляемый связистом. Это происходило зимой, краска замерзала и слипалась, деревенели руки. Отпечатает несколько десятков листков и пробирается с ними тайком в условленное место, где уже поджидает связист.

В последние месяцы оккупации подпольная борьба расширилась по всей Франции. В больших городах, главным образом в Париже, она принимала совершенно особый характер. Где опасность, где грянет гром? Вот сейчас, в этом проходе метро или у затемненного фонаря, где назначена встреча? Явки, встречи, вечный риск и неизвестность: «А что дома? Не было ли там уже обыска? Выдал или не выдал тот, которого арестовали вчера?»

Вот к «химчистке» подъезжает машина с гестаповцами. Это крохотное предприятие — оно умещается в одной комнате, разделенной ширмой. Перед ширмой лицом к витрине стоит хозяйка, русская эмигрантка. Она видит гестаповцев и, не оборачиваясь, говорит мужу, подпольщику из «Союза русских патриотов», ко-

торый тайком зашел к ней на минуту и отдыхает за ширмой: «Беги». Тот как был, без пиджака, выскакивает черным ходом во двор. Обыск. «А это что?— спрашивает гестаповец, ткнув сапогом в пиджак, который женщина успела сбросить на пол со стула. «Какая-то рухлядь — принесли в чистку»,— отвечает она, надсадно кашляя, чтобы заглушить тиканье часов в мужнином пиджаке.

Другой случай.

Двое русских, рядовые эмигранты из бывших шоферов такси, идут по знаменитой улице Руаяль от площади Согласия к бульварам. Один по правой стороне, другой по левой. Улица очень широка, и на ней большое движение, но они не теряют друг друга из виду. У каждого большое количество экземпляров «Русского патриота». На террасах кафе сидят парижане и парижанки, многие столики заняты немецкими офицерами, за другими совершаются сделки на картины, брильянты, консервы или табак... Это элегантный район и центр черной биржи. И вот на этом обычном для той поры пестром фоне разыгрывается трагедия. К идущему по левой стороне приближается поджидавший его связист и шагает рядом, словно его и не замечает. Все как было условлено, но в ту же минуту тот видит, вернее — угадывает, что его плотным кольцом окружили незнакомые люди. Мгновенно становится ясно: связист — провокатор, бежать некуда. Еще несколько шагов, и человека с экземплярами «Русского патриота» уже крепко схватили за руки. Тот, что на правой стороне, все видел, он спешит в подворотню, уничтожает газеты и мчится на явку, чтобы предупредить о беде.

Однако немцы не успели расстрелять выданного провокатором эмигранта: он был освобожден во время боев за Париж.

На севере Франции погиб в фашистком застенке один из руководителей тамошней группы «Русского патриота», Андрей Лозовой, человек «промежуточного поколения», который мальчиком покинул Россию. Это был подающий надежды писатель, напечатавший в Париже несколько рассказов. Он скоро разочаровался в эмигрантской литературе, признал ее бесплодной и нанялся простым шахтером в Туркуанский район. Там

слился с французским рабочим классом и затем весь отдался борьбе с оккупантами.

Поразительные вести доходили в эти месяцы до Парижа, начисто опровергая то представление об эмиграции, которое упорно старались поддержать ее вожаки.

Во всех частях Франции создавались партизанские отряды из бежавших советских военнопленных. В этой работе значительную роль играли эмигранты, члены «Русского патриота». Зная местные условия, жителей, язык, они были проводниками, связистами, разведчиками, бойцами. Эмигранты организовывали бегство советских военнопленных, месяцами укрывали их у себя на фермах, в частных домах.

Эти партизанские отряды, сформированные из советских людей, сыграли, как известно, выдающуюся роль в освобождении Франции, а потому помощь в их организации со стороны членов «Русского патриота» следует, пожалуй, признать самым большим вкладом русских эмигрантов в борьбу с врагами Советской России.

Братское, сердечное общение устанавливалось между простыми русскими людьми, которые были некогда мобилизованы в белую армию и вместе со своими частями попали затем в эмиграцию, и захваченными в плен советскими бойцами. Голос родины указывал и тем и другим один путь.

В городе Вьен почти все русские эмигранты пошли в партизаны. Были семьи простых русских людей — батраков, рабочих, иногда мелких фермеров, в которых все мужчины вступили в партизанские отряды, были молодые, родившиеся во Франции и порой даже не говорившие по-русски, но и они сражались в русских подразделениях за далекую родину, которую никогда не видели.

В Лионе, на территории лагеря для советских военнопленных, был схвачен русский эмигрант Шапошников. После зверских пыток его вместе с другими ста сорока арестованными вывезли за город, заперли в доме и дом этот со всеми арестованными взорвали.

Город Ним был освобожден советским партизанским отрядом, в рядах которого находились и эмигранты.

Под Лионом в стычке с немецким патрулем погиб семнадцатилетний эмигрантский юноша О. Качва.

В Бриаре погиб, сражаясь с фашистами, эмигрант Алексей Чехов, именем которого была затем названа набережная в этом городе.

Несколько русских эмигрантов пали в боях за освобождение Парижа.

А всего в одной лишь подпольной борьбе на французской земле более ста русских эмигрантов отдали свою жизнь за родину, за Францию, за свободу человечества. А сколько их было убито в рядах регулярной французской армии, куда они были мобилизованы или поступили добровольцами!..

. . . .

Когда в освобожденный восставшим народом Париж вошла знаменитая французская дивизия Леклера, русским было приятно узнать, что одной из бригад командует подполковник Николай Румянцев, мальчиком попавший в эмиграцию. Румянцев окончил французское военное училище, стал кадровым французским офицером. Я знал его довольно хорошо. Хоть и во французской форме, он всем стилем, да и навыками напоминал лихого русского кавалерийского офицера; боевые ордена — французские, английские и американские — украшали его грудь.

ГЛАВА 6

ЕЩЕ О СЕБЕ

Нас не было в тот день — плечом к плечу,—
Когда враги ломились в наши двери.
И я, как ты, теперь поволочу
До гроба нестерпимую потерю.

И только верностью родному краю,
Предельной верностью своей стране,
Где б ни был ты — в Нью-Йорке иль Шанхае,—
Смягчим мы память о такой вине.

Так, обращаясь к другу, писал в 1943 году эмигрантский поэт Ю. Софиев, вернувшийся несколько лет назад на родину.

В начале 1943 года я перенес тяжелую болезнь. В долгие бессонные ночи я слушал победные сводки Совинформбюро. Но вместе с гордостью за Россию чувство вины перед ней мучительно охватывало меня. Я был виновен перед ней в том, что неверно, грубо и неумно судил о ее судьбе, что столько лет со многими другими играл на руку злейшим ее врагам.

Во время болезни меня посетил писатель Н. Я. Рощин. Без малого двадцать лет связывала нас совместная литературная работа, однако настоящей близости до тех пор между нами не было. Но когда он сидел у моего изголовья, мне захотелось высказать чувства, которые волновали меня, так как по некоторым его замечаниям или недомолвкам я смутно догадывался, что этот человек тоже ищет, а быть может уже и нашел, какой-то выход из бесполезного тягостного прозябания.

Я сказал о нашей общей вине перед родиной и о том, что эту вину мы должны искупить, должны послужить родине.

По тому, как слушал меня Рощин, как отвечал, как простился со мной, мне стало ясно, что эта беседа установила между нами какую-то новую связь.

Еще некоторые встречи помогли мне покончить в себе с остатками прежних взглядов.

Конец августа 1944 года. Знойный день. Ярко сияет солнце. Слышны ружейные выстрелы и треск пулеметов. Шуршат по асфальту велосипеды — на них юноши в открытых рубашках и девушки в летних платьях. Метро не работает. Велосипед стал главным средством передвижения для парижан. Настроение праздничное, ликующее. И весь город как бы в ярких цветах: с окон, с балконов свешиваются флаги союзных держав.

Народное восстание победило. В этот день Париж освободился от немецкого ига.

В городе осталось лишь несколько немецких опорных пунктов. Окруженные восставшими, немецкие части уныло отстреливаются, сознавая свою обреченность.

Все рады? Нет, не все.

На улице меня окликнули. Старый знакомый, тот самый осанистый буржуа, который в предыдущем году поздравлял меня с освобождением Воронежа, пыхтя и

спотыкаясь от непривычки быстро передвигаться, буквально гнался за мной. За ним спешил незнакомый мне господин, сухопарый, с несколько надменным лицом и розеткой Почетного Легиона в петлице. Оба, очевидно, хорошо позавтракали и были в некотором возбуждении.

— Знаете, почему мы бежали за вами? Захотелось поговорить, услышать ваше мнение,— объявил первый.— Вы ведь видели русскую революцию... Как по-вашему, то, что происходит сейчас, это революция или нет? Так ли у вас началось?

Мы немного прошлись и сели на скамейку у самого берега Сены. Восставший Париж бурлил совсем рядом, а здесь, перед уютным зеленым островком посреди реки, было тихо.

Я стал было рассказывать о первых днях революции в Петрограде, но быстро заметил, что все это совершенно непонятно этому типичному французскому буржуа. Немецкая опасность миновала, теперь его беспокоило другое.

— Ведь это ужасно,— говорил он, не слушая меня.— Чернь на улице! Но ничего, все образуется. Завтра войдут американцы, приберут к рукам эту ораву.

— Вряд ли приберут окончательно,— вставил молчавший до этого господин с розеткой.— Де Голлю придется считаться с этими вооруженными юнцами хотя бы на первых порах.

— Мой приятель — префект,— пояснил другой,— честно служил все эти годы. Не понимаю, какая может грозить ему опасность. Разве его вина, что правительство возглавляли Петэн и Лаваль? Кстати, о Петэне. Верно говорят, что спасал мебель.. пока де Голль спасал честь! Это очень хорошо, что так получилось.

Вишистский префект стал излагать свои взгляды. Чувствовалось, что он излагал их уже не раз и самому себе и другим, как бы готовясь к своему будущему процессу. Он — чиновник и потому не должен был обсуждать распоряжения правительства. Да, он сажал коммунистов в тюрьму, выдавал их немцам, но ведь американцы не больше Гитлера сочувствуют коммунизму. Однако он был умнее своего приятеля. Чувствовалось, он понимал, что все его доводы — вздор. Он просчитался, сделал ставку не на ту лошадь. Де

Голль знает, конечно, что он готов служить и ему столь же ревностно, как перед этим Петэну и Лавалю, знает, что такие люди, как он, в будущем пригодятся. Но дело не в де Голле, а в тех юношах с горящими глазами, которые завладели улицей.

— Выиграть время, вот главное,— нервно говорил префект,— если уцелею в первые месяцы, снова настанет мой час...

— Не волнуйтесь, только не волнуйтесь,— повторял его приятель.— Ведь могло быть гораздо хуже! Слава богу, к нам пришли американцы... А если бы русские?..

Я чувствовал, как накипает во мне раздражение, и решил оборвать поскорее беседу с этими господами.

— Мне весьма странно от вас это слышать,— сказал я довольно резко.— Помните нашу прошлогоднюю встречу? Вы тогда бурно радовались русским победам...

Он сделал вид, что не заметил моего тона, и упитанное лицо его расплылось в самую любезную улыбку:

— Ну да, конечно, радовался, и все французы очень благодарны русским за их восхитительный героизм. Но Россия уже ведь сделала свое дело. Не обижайтесь, пожалуйста, Россия — это как-никак Азия... Все надежды на американцев, не правда ли, мой дорогой префект? Да, да, префект, потому что вы будете снова префектом, верьте моему слову.

С проспекта Нейи доносились выстрелы и радостные крики народа.

Ах, как были отличны от подобных господ простые люди Франции! Новыми глазами смотрел я на них, новыми ушами их слушал. Ведь они, именно они создавали радостное, светлое настроение этого солнечного дня. В их сердце были порыв и самоотверженность.

— Глядите, в буржуазных кварталах вывешиваются только американские и английские флаги. Забыли героев Сталинграда! А вот посмотрите у нас: чествуем СССР — в первую очередь, по справедливости,— но не забываем и других.

— Ничего, русские не обидятся на буржуев, только пожмут плечами!

— Ах, какое счастье, что можно кричать во весь голос: да здравствует Франция!

В первый раз, быть может, за все мое пребывание во Франции я ясно понимал, что Франция жива, потому что жив и исполнен по-прежнему отваги и благородства французский народ.

Кажется, в этот же радостный день я пешком отправился через весь Париж к В. А. Маклакову, некогда кадетскому лидеру, знаменитому московскому адвокату и думскому оратору, назначенному Временным правительством послом во Францию и затем в качестве председателя эмигрантского комитета, защищавшего перед французскими властями юридические права эмигрантов. Шел я к нему потому, что считал его человеком умным, вдумчивым, знал о его патриотических настроениях с самого начала войны, и еще потому, что мне передали о его желании встретиться со мной в эти переломные дни.

Высокий, сутулый, сверкающий проницательными глазами, почти совсем оглохший и потому говорящий слишком громко, при этом с резкими, решительными жестами старого оратора, Маклаков встретил меня, сияя улыбкой.

— Да, какая слава для нашей родины!— начал он. — Победа теперь уже несомненная. Но этого мало. Советская власть сумеет выиграть войну. А дальше? Дальше ей надо будет выиграть мир. И вот в этом мы должны помочь новой России. Это, как мне кажется, главный наш долг, о котором я и хотел с вами поговорить.

Широким жестом он взял меня за плечи, усадил и стал излагать свои мысли. И вот, по мере того как он говорил, настроение мое менялось, мне делалось неловко, становилась неприятной сама эта встреча.

Этот глубокий старик сохранил полностью свои незаурядные умственные способности. Но, как это часто бывает, в мышлении своем достиг какой-то точки — и законсервировался. Победы Советского Союза радовали его, но в этих победах он видел доказательство того, что новая Россия... отходит от революции. Чтобы защищать свои интересы в переговорах с союзниками, чтобы выиграть мир, ей, по мнению Маклакова, нужно отойти от революции еще дальше, повернуть в сторо-

ну форм правления, утвердившихся на Западе, то есть, попросту говоря,— буржуазной демократии. И вот в этом мы, эмигранты, можем служить мостом между новой Россией и Западом, который мы знаем.

Отвечать ему не было возможности из-за его глухоты. И слава богу! А то мне пришлось бы огорчить этого старика, сказав ему, что он наивен как ребенок, что он не понял главное, что нужно отдать себя родине без задних мыслей, признать новую Россию до конца, без оговорок, что ошибка наша была не частичной, а полной, а потому полным должно быть и наше приятие революции.

Слушая уверенную речь Маклакова, который говорил мне, собственно, то, что некогда думал я сам, я ощущал всем существом несостоятельность его позиций, и для меня становилось окончательно ясно, в чем отныне заключается мой долг.

ГЛАВА 7

НА ПУТЯХ К РОДИНЕ

Париж был освобожден. «Союз русских патриотов» вышел из подполья, занял помещение бывшего жеребковского «управления» и приступил к работе по объединению патриотической части русской эмиграции. Правление союза обратилось ко мне с просьбой написать статью для первого легального номера своей газеты и помочь в ее редактировании. Это было прямым следствием моей беседы с Рощиным.

Из всех статей, мною написанных, речь шла о самой важной, решающей для всей моей участи. В ней я высказал прямо, безоговорочно созревшее во мне убеждение, что эмиграция должна иметь мужество признать свою ошибку, свою вину, что дальнейшую судьбу нашу определит история, которая давно уже творится не нами.

Статью я так и решил озаглавить: «О наших чувствах и о нашей судьбе». А для чувств наших, гордого сознания, которым отныне нам следовало руководствоваться, я нашел яркое выражение в «Третьей осени» Валерия Брюсова, уже в 1920 году указавшего всем

колеблющимся, что «под стягом единым вновь сомкнут древний простор». Его словами я призывал всех русских людей в изгнании понять наконец, что:

...Идет к заповедным победам
Вся Россия, верна мечте;
Что прежняя сила жива в ней,
Что уже, торжествуя, она
За собой все властней, все державней
Земные ведет племена!

Слух о том, что я готовлю статью для газеты бывших бойцов интербригад, «возвращенцев», «оборонцев»— всех тех, кого некогда «Возрождение» поносило в каждом номере, дошел до правых кругов эмиграции.

Поздно ночью, накануне того дня, когда статья моя должна была идти в набор, меня вызвал к телефону Семенов. Он говорил со мной каким-то надтреснутым голосом, явно волнуясь, путаясь в словах. О, это не был прежний Семенов, высокомерно вещавший о неминуемости краха «всего советского».

— Не торопитесь,— просил он.— Ну, погодите еще хоть немножко. Кто знает, может, все это вздор, наваждение! Нет, не все еще ясно, не все решено. Америка, Америка еще не сказала своего слова... Погодите, заклинаю вас!

Даже после появления моей статьи, которая произвела немалую сенсацию, справа на меня оказывалось давление, меня хотели сбить с новых позиций уговорами (и угрозами) не связываться окончательно с «агентами советской власти». Но эту власть я уже признавал своей, безоговорочно и твердо знал, что не остановлюсь на полпути.

Что же подкрепляло во мне такое решение?

Память о прошлом, обо всем, что я, «гукасовский любимец», некогда написал ложного, начисто опровергнутого событиями. Желание поставить крест над этим прошлым и тем самым помочь другим, в той или иной мере виновным перед родиной. И, наконец, еще и то неожиданное для меня обстоятельство, что я сразу нашел общий язык в «Союзе русских патриотов» с людьми, которых прежде совершенно не знал и от которых некогда меня отделяла целая пропасть. Мы были разной формации, жили в эмиграции в разных условиях, круг моих знакомых во Франции был сов-

сем иной, чем у них, я шел много лет совсем другой дорогой но, как только сошлись мы вместе, стерлись между нами все грани: ведь взоры наши теперь были одинаково обращены к родине.

А в Париже были новые хозяева. Американцы входили в города Франции, бросая ликующей толпе сигареты. Но такая расточительность длилась только день. На следующий американцы уже торговали сигаретами.

Немцы скупали все оптом. Американцы продавали в розницу все, чего не хватало в опустошенной немцами стране: сигареты, шоколад, тушенку, резиновую жвачку, специальные походные пакетики с набором всякой еды, сахар, сало, ботинки (бывало, что солдаты тут же разувались на улице), чай, кофе, бензин, колбасу. Я слышал даже, что кто-то купил у американского шофера военную легковую машину. Торговали собственным рационом и казенным добром, специально выкраденным с этой целью. Где? И в подворотнях, и в кафе, а то, заранее договорившись, приносили на дом целые тюки с сигаретами или консервами. Новая волна спекуляции пронеслась по всей стране — спекуляции, особенно развращающей, мелкой, доступной самым широким слоям населения.

Сколько французских мальчишек, которые при иных обстоятельствах посещали бы школу, бродило теперь по улицам, ловя американских солдат, чтобы затем перепродать с выгодой их добро!..

Я знал американцев и прежде: их ведь множество перебывало в Европе до войны. Но некоторые черты американского образа жизни открылись мне во всей наготе только в эти дни.

...Веселый вечер во французском доме, какие часто устраивались тогда в честь американцев. Пока их только два: молоденькие солдаты, оба — недавние студенты, очень вежливые, симпатичные, хорошо воспитанные. Один из еврейской семьи, покинувшей Россию еще в начале столетия. Знает несколько слов по-русски.

Вступает со мной в серьёзный разговор, расспрашивая о судьбе русских евреев во Франции. Я говорю ему, что фактически все русские, да и вообще восточные евреи, которым не удалось скрыться, все, которые,

повинуясь приказу немецких властей, носили желтую звезду и ходили отмечаться в полицейский комиссариат,— были в конце концов отправлены в лагеря смерти, где и погибли.

В глазах американца гнев, грозное негодование..

— Звери, звери,— глухо повторяет он.— Моя семья бежала от погромов в свободную Америку. Но этот погром страшнее всех, нацисты должны быть покараны!

Час спустя на вечере произошел крайне тягостный инцидент. Приятельница хозяйки привела с собой американского офицера. Я мельком видел его, когда он входил в гостиную, что-то в типе его лица показалось мне не совсем обычным, но, отвлеченный другим, я как-то не сообразил, что именно. Американские солдаты сразу куда-то исчезли. Хозяйка, очень смущенная, прошла в переднюю, сделав некоторым гостям знак, чтобы они следовали за ней. Там я был свидетелем поразительной сцены.

Красные от возбуждения, американские солдаты прощались с хозяйкой, заявляя, что ни секунды долее не могут оставаться в ее доме. Особенно горячился мой недавний собеседник.

— Вы не американка,— говорил он,— и вправе поступать как вам вздумается. Но мы не можем присутствовать при том, как белая женщина принимает у себя человека, дед или прадед которого несомненно был негром. Это было бы для нас слишком унизительно. В Америке этого офицера избили бы до полусмерти за такое нахальство, и поделом!

Хозяйка пыталась их удержать, но напрасно. Я взглянул на этого непримиримого американского гражданина, и мне стало как-то мучительно неловко за него. Но в его глазах, только что сверкавших гневом против гитлеровских расистов, была такая тупая уверенность в собственной правоте, что я понял бессмысленность всякого разговора на эту тему.

Так и ушли оба — злые, возмущенные.

Я много думал затем об этом юноше. Какая бездна самого жестокого фарисейства, какое истинно тоталитарное мировоззрение, вспоенное самым шовинистическим и заносчивым американизмом, убили в его душе сознание самых элементарных истин. Он в самом деле не понимал, что человеконенавистнические чувства,

высказанные им по адресу офицера своей же армии, но потомка чернокожего, по сути дела, не отличаются от тех, которые порождали преступления нацистов.

* * *

Движение Сопротивления против фашистских захватчиков во многом очистило, обновило Францию. По своему значению и результатам оно явилось народной войной, которой страна ответила на иностранную оккупацию. В этом движении народ осознал свои силы, научился последовательно отстаивать свои права — и с тех пор основная масса французского рабочего класса отдает свои голоса компартии. Однако наиболее реакционной и состоятельной части французской буржуазии, той самой, которая привела страну к катастрофе 1940 года, удалось подточить и само движение Сопротивления, и после войны всю внешнюю и внутреннюю политику Франции.

Уже через три дня после освобождения Парижа были распущены французские силы внутреннего фронта, насчитывавшие около 800 тысяч бойцов. Французские реакционеры вновь испугались подлинно народной войны. Вынужденные считаться с народом, восставшим против фашистов, они всячески стремились стеснить, ограничить его свободу действий.

С тех пор в течение ряда лет все усилия этой части буржуазии были направлены на то, чтобы «прибрать к рукам» народ и оградить свои интересы полным подчинением Франции Соединенным Штатам Америки. Некоторые тактические шаги, предпринятые в этом направлении, как известно, быстро увенчались успехом: коммунисты были удалены из состава правительства, Франция вступила в «холодную войну» против СССР. Это объясняется тем, что реакционный французский буржуа, позорно спасовавший перед немцами, которые угрожали Франции, но пока что не его кошельку по мере роста компартии, смертельно испугался за этот кошелек и потому в новой борьбе против народа проявил все упорство, на которое был способен, и изрядную хватку, решив защищать свое добро любой ценой.

. . . .

После освобождения Франции патриотические настроения значительной части русской эмиграции полностью вылились наружу, охватывая все более широкие круги. Порой могло даже казаться, что чуть ли не вся эмиграция, ликуя, приветствует великую победу советского оружия.

Не только митрополит Евлогий, возглавлявший большинство русских приходов, но и митрополит Серафим, представлявший до этого наиболее непримиримую часть зарубежной церкви, вошел в каноническое подчинение Московской патриархии. Проспорив два месяца, эмигрантские лидеры выделили делегацию для посещения советского посла. Это было уже действительно беспримерным шагом. И вот в эту делегацию вошли не только уже упомянутый адмирал Вердеревский, последний морской министр Временного правительства, безоговорочно занявший патриотическую позицию, не только последний посол старой власти в Париже Маклаков, патриот с оглядкой — но и такая фигура, как адмирал Кедров, заместитель председателя РОВСа, возглавлявший во Франции последние остатки белой армии! Как рассказывали потом, А. Е. Богомолов предложил делегатам выпить за победоносную Советскую Армию. Вместе с другими поднял свой бокал и адмирал Кедров, в течение почти трех десятилетий упорно отстаивавший боевые антисоветские лозунги Корнилова, Врангеля и Колчака.

. . . .

Это был замечательный, неповторимый порыв. Словно открылось окно и ветром подуло на эмиграцию, свежим ветром родины. И все, что в эмиграции еще теплилось жизнью, потянулось к этому ветру.

...На знаменитом Монпарнасе, в кафе, где собирается русская пишущая братия, первейший эмигрантский литературный критик Георгий Адамович, буквально захлебываясь от восторга, читал стихи Константина Симонова о войне, которые скоро будут знать на память чуть ли не все парижские эмигранты:

Как будто за каждой русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.

...И те же стихи, прочитанные с амвона священником, который добавляет среди раздавшихся рыданий:

— И мы, сойдясь всем миром, помолимся здесь за них. Не нам судить их за то, что не веруют, но нам их благодарить на коленях за то, что кровью своей спасают нашу родину и все человечество.

...В рабочем пригороде Бианкур, где живут самые бедные эмигранты, русские люди обступили советского бойца, бежавшего из германского лагеря в партизанский отряд, несмелыми руками прикасаются к его гимнастерке, к фуражке его с красной звездой — как к святыне.

В конце 1944 года весь Париж вновь охватила тревога. Гитлеровцы прорвали фронт в Арденнах, и в министерствах уже суетились чиновные лица, потерявшие голову от испуга. В эти дни взоры не только министров и генералов США, Великобритании и Франции, но и всего французского населения, для которого угроза была особенно страшной, снова обратились в сторону Советского Союза:

— Мы погибли бы без вас!

Эти слова, этот вопль слышал каждый из нас в Париже.

А когда Советская Армия взломала германскую оборонительную линию, заставив гитлеровцев срочно оголить западный фронт, каждый из нас в душе гордо отвечал французам:

— Вот видите: мы опять спасли вас.

Да — мы, мы, мы.

Память о том, что той России, в которой мы выросли, Франция в 1914 году также обязана была своим спасением, теперь приобщила нас к беспримерной славе Советского Союза.

Но пробудившиеся в эмиграции патриотические настроения были все же в значительной степени эмоционального, а не политического характера, потому что такие люди, как Маклаков или эмигрантские обыватели, не делали из них никакого практического вывода.

— Ура Красной Армии! Как приятно теперь быть русским!

Дальше этого не шло ни у Маклакова, ни у обывателя.

Конкретный вывод делали мы в газете «Русский патриот». Но за это как раз нас порицали все наиболее осторожные «общественники» из эмигрантов.

Мне говорил один из видных представителей старого мира, давнишний приятель моей семьи:

— Я к вам питаю симпатию, а потому хочу дать вам совет: не связывайтесь с Советами. Как и вы, я радуюсь победе России. Но не изменяю себе и отделяю Россию от коммунизма.

Я отвечал ему:

— Да, признав свои прежние ошибки, я мог бы попросту отойти от политики, например заняться коммерцией. Но разве это не было бы малодушием? Через два-три дня после выхода первого номера «Русского патриота» немцы сообщили по радио, что в Париже уже печатается большевистская газета на русском языке. И мне было приятно это слышать, я горжусь тем, что участвую в этой газете.

Новые течения обозначали перелом во всей истории эмиграции.

Начнем с закоренелых врагов Советской России, притаившихся в первые месяцы после освобождения.

Когда немцы еще сопротивлялись в Париже и то там, то здесь вспыхивала стрельба, мне повстречался эмигрант из самых заядлых «зубров», связанных с пресловутым «Национально-трудовым союзом нового поколения». Он что-то слышал о моей эволюции, но думал, что меня еще можно переубедить, и потому принялся излагать свою точку зрения.

— Не сегодня-завтра войдут американцы. Нам необходимо заручиться их поддержкой. Если мы займем позиции, хоть отдаленно напоминающие советскую, то ничего от них не добьемся. Окажемся какими-то полубольшевиками, то есть людьми, не представляющими решительно никакого интереса. Другое дело, если они увидят в нас русских политических деятелей, мыслящих не по-советски. Это очень важный момент!

Я не счел нужным вступать с ним в дискуссию: ведь человек, как говорится, высказался весь.

Люди с такими принципами тотчас же переключились с немецкой службы на американскую. Когда началась «холодная война», они почувствовали себя как

рыба в воде, оказавшись на тех же лакейских должностях, как в свое время у немцев. Профессиональные активисты, члены так называемого «Национально-трудового союза», были переброшены в качестве агитаторов из лагерей для советских военнопленных в лагеря для «перемещенных лиц». И с тех пор погрязли в работе по вербовке (угрозами и шантажом) шпионов и диверсантов среди советских граждан, насильно задерживаемых на чужбине.

В этих «перемещенных лицах» НТС увидел главный объект своей деятельности. Искусственно созданная «новая эмиграция» стала тем человеческим резервуаром, из которого международные антисоветские силы решили формировать кадры своих приспешников, завершая дело, налаженное еще агентурой Гиммлера и Розенберга.

Надеждой на новую войну, на дождь атомных бомб жили заядлые активисты из НТС, озлобленные гитлеровским поражением, униженные славой Советского Союза.

Не зная, что я стою на советской платформе, ко мне зашел бежавший из новой Польши давнишний мой знакомый Леон Д. До революции он учился в Пажеском корпусе, и хоть был польского происхождения, поляком себя тогда отнюдь не считал. Ополячился, когда это стало выгодно. Теперь, дрожа за свою недвижимость под Варшавой, приехал в Париж, чтобы включиться в антисоветскую борьбу.

— Прямо безобразие!— говорил он.— Никого не спрашивая, большевики стали ломиться без передышки на Запад. Между тем, по нашим расчетам, вся их роль должна была бы свестись к изматыванию немецкой военной машины где-то далеко на русской земле.

Он объявил мне откровенно, что цель таких поляков-эмигрантов, как он,— убедить западные державы в необходимости быстро начать войну против СССР.

— Я еще вчера говорил знакомым англичанам: «У Советского Союза через год-два будет атомная бомба, и тогда они уничтожат в два счета ваш остров. Начинайте скорей войну!»

Наконец Д. сообщил мне, что вошел в контакт с людьми из НТС и что с ними у него сразу установилось взаимное понимание.

— В отличие от многих русских, это большие реалисты,— заявил он.— Тоже считают, что надо как можно скорее ударить по СССР. Понимают, что общее благо требует уничтожения советских городов и гибели миллионов советских граждан. Они сказали мне, что направляют все усилия на организацию боевых антисоветских групп из «перемещенных лиц». Делают хорошее дело — и сыты, так как хозяин у них богатый. Что ж, и это умно, ха-ха-ха!

Я выслушал его, так и не сказав ничего о себе. Мне передавали потом, что он чуть ли не рвал на себе волосы, узнав, с кем разговаривал.

В правой французской печати снова начали появляться статьи различных «специалистов по советским делам» из эмигрантов.

Группа эмигрантских журналистов добилась издания в Париже антисоветского листка. Оглушенный и прорванный во время войны фронт антисоветских активистов воспрянул духом в надежде на новую мировую бойню.

Послевоенная активизация антисоветских сил эмиграции сопровождалась примечательными сдвигами в кругах тех «общественников», которые в свое время приветствовали советскую победу. Тут сыграли роль два момента: разочарование и нажим международной, в первую очередь американской реакции. Разочарование тем, например, что введение погон в Советской Армии, не означало, даже в минимальной степени, шага назад, к старому режиму. Или тем, что русский патриотизм не оказался в противоречии с пролетарским интернационализмом. Одним словом, тем, что Россия не уходила от революции.

Маклаков побывал в советском посольстве, но советским человеком не стал, увидев, что советские дипломаты не нуждаются в его советах. После смерти митрополита Евлогия часть подчиненного ему духовенства вновь порвала с Московской патриархией. Окончательно состарившись и изверившись в возможности «эволюции большевиков», некоторые «общественники» поспешили уйти в частную жизнь. Порыв героических лет войны прошел, настали будни, над которыми нависла угроза атомной войны.

Но порыв этот все же не прошел даром. Кадры ан-

тисоветских активистов значительно поредели, включая уже только самых оголтелых. Многие из тех, кто в годы войны желал слиться с родиной, не дошли до конца в своем перерождении, но и не вернулись в большинстве своем к прежним антисоветским позициям.

И главное — широко развернулось движение за возвращение на родину. Образовалось крепкое ядро действительно переродившихся людей, которые раз и навсегда порвали со своим эмигрантским прошлым.

Можно сказать, таким образом, что «белая идея», породившая и вдохновлявшая эмиграцию столько лет, не выдержала испытания, спасовала перед действительностью в грозный час. Эта идея означала в конечном счете борьбу с советской властью любой ценой, с любым союзником, при полном подчинении целям этой борьбы национальных интересов России. Ведь Врангель действовал, например, заодно с белополяками. Теперь же в массе своей эмиграция не пошла с гитлеровцами и уклонилась от участия в «холодной войне».

Как политически активная сила старая эмиграция уже к этому времени исчерпала себя. Происшедший коренной перелом означал, что она сдана окончательно историей в архив. Вымерла, состарилась, в младшем своем поколении денационализировалась. Но, как отрыжку прошлого, выделила напоследок ничтожную группу наемников, готовых на любое дело, грязное или «мокрое». В самой же живой своей части, не порвавшей с родиной духовной связи, эмиграция поставила сама над собой крест, переродилась в движение за право участвовать в новой, созидательной жизни своей страны.

Эта старая эмиграция была осколком старой России; ее возникновение и судьба явились логическим следствием революции — она уходила корнями в прошлое.

И уже тогда было ясно, что новую эмиграцию — из «перемещенных лиц»— искусственно созданную, никакими корнями никуда не уходящую, нужную кое-кому только как пушечное мясо, ожидает куда более быстрая самоликвидация.

Вымерла, состарилась, денационализировалась...

Среди переводчиков при французской делегации на московском совещании министров иностранных дел (в 1947 году) было двое русских эмигрантов, принявших

французское гражданство: Стаховичи — отец и сын из некогда богатой и знатной дворянской семьи.

Старший Стахович был в молодости офицером Преображенского полка; в эмиграции он политикой, кажется, не занимался, а больше спортом, председательствуя в эмигрантском объединении теннисистов. Я беседовал с ним по его возвращении из Москвы. Он был взволнован, счастлив, что побывал на родине. Рассказывал, как бродил в Москве по арбатским переулкам, вспоминая свою юность, перелистывал старые книги у букинистов или осматривал Исторический музей, где, кстати, сообщил хранителям какие-то интересные данные о выставленных знаменах петровских полков. Но новой Москвы, жизни ее, новых зданий и людей он попросту не увидел, не заметил — и не из враждебности, а потому, что это его не интересовало. Годы, проведенные на чужбине, наложили на него свой отпечаток: он утратил живое восприятие родины, действительности.

А с сыном его произошло другое: Москва была для него просто большим заграничным городом — и только.

— Горько мне было,—говорил старший Стахович,— мой сын и вел себя и рассуждал как иностранец. Ничто по-русски не откликнулось в его сердце, даже перед Кремлем.

Увы, он не исключение. При французских учреждениях в Германии работали для связи с советской администрацией многие эмигранты (некоторые с громкими именами, вписанными в историю России) — в большинстве своем это были всего лишь французы, говорящие по-русски. Не в пример тем сыновьям простых русских людей, батрачивших во Франции, которые часто не знали русского языка, но шли в бой с немецкими оккупантами во имя родины — России!

Но вот явление иного характера.

В 1946 году я встретил сверстника и приятеля, которого не видал с начала войны. Мобилизованный во французскую армию как русский эмигрант, он просидел несколько лет в немецком плену.

Это был довольно курьезный человек. Отец его в Петербурге в общем только и делал, что ходил в клуб. Мятлев так в свое время охарактеризовал этого праздного камергера: «Румяный, как яблоко спелое, к тому

же в меру глуп,— за что одними белыми прошел он в Новый клуб». У сына не было отцовских средств, но он хорошо одевался, и жило в нем упорное желание вращаться, подобно отцу, только в «самом высоком обществе». Ничто, кроме этого, не интересовало его в жизни. Он заводил полезные знакомства, цеплялся за каждую возможность и в конце концов преуспел: получил место секретаря одного из самых известных парижских клубов. Каждый день, каждый вечер общался со «всем Парижем» (что уже было достижением), при этом почти на равной ноге. Предел мечтаний его был, таким образом, достигнут. Но война оборвала клубную жизнь.

Вернулся он новым человеком. В немецком лагере за колючей проволокой он постоянно общался с советскими военнопленными. И вот под влиянием бесед с ними ему открылся мир, дотоле неведомый.

— Ты не знаешь, какие это замечательные люди,— говорил он мне.— У них есть цель, настоящая цель в жизни.

Понял, что вся его жизнь была ошибкой. Служение родине, труд как дело чести, сила коллектива — эти понятия стали для него близкими.

Я не знаю его дальнейшей судьбы. Быть может, светский Париж опять засосал его. Но достойно быть отмеченным, что общение с простыми советскими людьми хоть на какой-то период переродило даже такого человека.

И, наконец, не все эмигранты, ставшие французскими гражданами, забыли о своем русском происхождении.

Журналист А. Ф. Ступницкий, до войны сотрудничавший с Милюковым, принял уже давно французское гражданство и к этому факту отнесся серьезно, считая, что новое гражданство не только предоставляет права, но налагает обязательства. Русский по происхождению и по культуре, он захотел быть полезным и Франции и России. После войны всецело посвятил себя изданию «Русских новостей», еженедельной русской газеты, в первую очередь информационного характера, которая во многом помогла русским эмигрантам ближе подойти к советской действительности.

А. Ф. Ступницкий скончался, когда меня уже не было в Париже. Но я знаю, что советские граждане чтут там его память.

«Союз русских патриотов» был вскоре переименован в «Союз советских патриотов», и орган его, газета «Русский патриот»,— в «Советский патриот».

Мечтой членов союза было возвращение на родину. Но достижение этого рисовалось им в отдаленном будущем, и все они считали, что только долгая патриотическая деятельность за рубежом может дать моральное право на воссоединение с родиной.

Решение Советского правительства от 14 июня 1946 года, предоставлявшее право на восстановление в советском гражданстве бывшим подданным Российской империи, проживающим во Франции, явилось событием неожиданным и совершенно исключительным по своему значению. Яркое солнце рассеяло вдруг туман, конца которому не было видно. Каждый эмигрант, какова бы ни была его прошлая деятельность (если только он не сражался в рядах гитлеровской армии против СССР), обретал право на получение советского паспорта, выдаваемого немедленно и почти без всяких формальностей. Такие же указы были изданы вскоре и для эмигрантов, проживавших в ряде других стран.

Радость охватила всех патриотов в эмиграции. Великодушие родины всколыхнуло сердца.

Правление «Содружества русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции» на своем заседании 1 июля 1946 года единогласно приняло следующую резолюцию:

«22 июня 1941 года было для нас, русских участников Сопротивления, днем нашей мобилизации: с этого дня мы начали посильную борьбу за родину.

Мы сожалеем лишь о том, что мы не находимся на родной земле, среди своего народа. Указ 14 июня естественно завершает для нас путь борьбы и оформляет наше единство с народами нашей страны.

Да здравствует победоносная Красная Армия!».

...Торжественное собрание в одном из самых больших залов Парижа. На трибуне — посол СССР во Франции А. М. Богомолов и его сотрудники. Все полно, в проходах толпа. А две трети вставших на улице в очередь за четыре часа до открытия собрания так и не вместились в зале.

Выдача паспортов первым двадцати новым советским гражданам. Их вызывают поименно, и посол вру-

чает каждому красную книжечку с золотым серпом и молотом в венке. И каждый раз стены зала потрясают громовые аплодисменты. Среди этих двадцати — профессор и конторский служащий, священник и шофер, старый моряк, защитник Порт-Артура, и девушка, празднующая в этот день свое совершеннолетие. И все в зале понимают умом и сердцем величественность происходящего.

Каждый может сказать теперь не так, как прежде, робко и с пояснением: «Да, я русский, но по паспорту — бесподданный и пользуюсь приютом чужой страны», а гордо и ясно: «Я русский, я гражданин великой страны, которая спасла человечество».

Кончены фальшь и приниженность эмигрантщины. Ведь паспорт этот, эта красная книжечка, дает каждому священное право на гордость, прозвучавшую на весь мир в знаменитых стихах Маяковского.

Тысячи русских людей воспрянули душой в этот незабываемый день, как бы очистились сразу от накипи всех годов прозябания и унижения.

. . . .

Ну а те русские, которые ушли в иностранный мир, те немногие, в частности, которые в нем преуспели?

Я встретил случайно одного из них как раз в тот день, когда получил советский паспорт. Это был товарищ юности. Он давно поселился в Америке, стал гражданином США и даже «для удобства» переделал свою фамилию на американский лад. Теперь в форме американского офицера он разгуливал победителем по Парижу, где бедствовал на заре эмиграции, и, набравшись худшего в американизме, подчеркнуто презрительно отзывался о Франции, как о стране, где он может себе позволить что хочет.

Он рассказал мне о своей жизни, напирая на выгоды своего нового положения, а затем спросил из вежливости:

— Ну а ты как?

Я молча вынул из кармана красную книжечку.

Что-то странное промелькнуло на его лице. Он, очевидно, хотел было изобразить негодование, но из этого

ничего не вышло, покраснел, отвернулся на миг в смущении, и я понял ясно, что ему вдруг стало неловко, даже совестно за себя...

Еще три встречи.

Лорис-Меликов, «Васька», мой лицейский товарищ. В первые два десятилетия эмиграции беспечно подъезжал на такси, которым сам управлял, к особнякам своих богатых знакомых, чтобы там потанцевать до утра, убеждая себя и других, будто, в сущности, ничего не изменилось...

— Стареем — вот что плохо,— сказал он мне.— Думаю перебраться в Америку. Там у меня родственники недурно устроились. Как-то доживу свой век...

— Вот как! А у меня всё впереди,— отвечал я ему.

Гукасов... Вслед за Семеновым он тоже сделал попытку меня «урезонить».

— Бросьте «Советский патриот»,— объявил он назидательно, но уже без прежней твердости в голосе.— Я, вероятно, еще буду издавать газету... Понятно, несколько отличную от «Возрождения». Внутреннюю советскую политику, конечно, будем критиковать, но внешнюю придется поддерживать. Иначе скажут, что и я продался американцам. Хотите снова со мной сотрудничать?

«Да,— подумал я,— видно, и самого Гукасова проняло...» Но на вопрос его я тоже ответил вопросом:

— А помните, какую мы с вами писали ерунду?..

Гукасов насупился, и разговор как-то оборвался сам собой. Кстати, новой газеты он в то время так и не решился издавать...

Вейдле... Этого способного и начитанного публициста я где-то встретил случайно. Напомнил ему одну из его давнишних статей, в которой он писал, что Советская Россия сильнее, монолитнее царской России.

— В этом вы были правы,— заметил я ему.

Вейдле мне ничего не сказал, нахмурился, и мне показалось, что мое напоминание ему неприятно.

Я вспомнил об этой встрече, узнав, что Вейдле работает в Мюнхене на американской радиостанции, где получает очень внушительный оклад за злостную пропаганду против Советского Союза. Меня это удивило: Вейдле всегда любил кокетничать своим объективизмом, мало занимался политикой, по натуре человек он

к тому же флегматичный. Один эмигрант, вернувшийся недавно на родину, рассказал мне, что Вейдле так объясняет хорошим знакомым свой нынешний оголтелый антикоммунизм: «Устал жить без денег. Работаю, чтобы приобрести виллу на Ривьере. По крайней мере у меня будет обеспеченная старость».

В августе 1947 года «Союз советских патриотов» прекратил свое существование, уступив место новоучрежденному «Союзу советских граждан».

Вместе с советской миссией по репатриации союз приступил к работе по отправке новых советских граждан на родину.

Помня о гостеприимстве, которым все мы так долго пользовались в приютившей нас стране, организационный съезд советских граждан во Франции направил приветствие президенту Французской республики.

В ответ председателем съезда И. А. Кривошеиным было получено следующее письмо:

«Президент Республики,

Париж, 26 августа 1947 г.

Господин председатель,

Меня очень обрадовали пожелания, которые Вам угодно было выразить от имени Съезда советских граждан, собравшегося под почетным председательством г. Богомолова.

Соблаговолите передать съезду, на котором Вы председательствуете, мою самую искреннюю благодарность, равно как и мои наилучшие пожелания в том, что касается поддержания и развития дружбы, столь счастливо объединяющей советский народ и французский.

В. Ориоль»

«Союз советских граждан» возник как крупная организация, насчитывающая около одиннадцати тысяч членов.

Ратуя за франко-советскую дружбу, союз строго придерживался принципа невмешательства во француз-

скую политическую жизнь. Все новые советские граждане, в качестве бесподданных входившие во Французскую компартию, вышли из ее состава.

. . . .

Просторный особняк на улице Галлиера, некогда реквизированный немцами для жеребковского «управления», стал теперь советским домом. В секциях «Союза советских граждан», в его библиотеке, в редакции «Советского патриота» нам открылся новый мир: родина. Он открывался в ее изучении, а главное, в общении с советскими людьми, которое не было нам доступно целую вечность.

В этот дом приходили сотрудники посольства, советские офицеры, писатели, артисты, приезжавшие из Москвы. Мы, вероятно, казались им очень восторженными и наивными. Каждого мы засыпали вопросами, желая ясно представить себе во всех подробностях жизнь и интересы советского человека.

В разговоре с этими людьми даже старшие из нас чувствовали себя мальчишками. И жила во всех нас настоящая взволнованность, юный энтузиазм.

Совсем рядом текла Сена, снова текла толпа по Елисейским полям, но нас уже не трогало очарование Парижа: мы жили мечтой о Москве.

В конце сентября 1947 года я провожал до города Сарбурга группу новых советских граждан, возвращавшихся на родину...

...Поезд ускорил ход. Огни огромного города, мигающие, расплывающиеся в дыму паровоза,— и вот уже исчезает в ночи французская столица, где прошла большая часть сознательной жизни многих из тех, кого поезд сейчас везет на восток.

Но на устах в эти первые минуты пути слова, в которых благодарность и глубокое, сердечное волнение:

— Какие грандиозные, какие чудесные проводы!

Да, они были такими. Невиданную картину являла собой в 8 часов вечера 24 сентября платформа парижского Восточного вокзала. Казалось, весь русский Париж собрался на ней. Тут были и советские граждане и несоветские, и всех их объединяла важность про-

исходящего. Провожаемые на вокзале полномочным послом Советского Союза, генеральным консулом и их сотрудниками, в специальном поезде за счет Советского государства отправлялись обратно на родину люди, покинувшие ее некогда с надорванным сердцем и страхом перед неизвестностью. Слезы стояли на глазах у многих остающихся. Было много цветов и много объятий. И когда поезд тронулся, огромная толпа, точно один человек, на шаг, на другой двинулась вслед за ним, махая платками. Слышались крики: «Пишите» пишите!» Или: «До скорого!..», «И мы с вами!..», «Да здравствует наша родина!»

...Ночь проходит в беседах. Почти никто не спит в пути; трудно заснуть, да еще в поезде, когда сердце полно нахлынувшими в эти часы единственными в человеческой жизни по своей остроте и силе переживаниями.

Как выразить их?

— Я горячо люблю Францию,— говорит уже немолодая женщина.— Каждый раз, когда я покидала Париж, даже если уезжала в отпуск, я испытывала смутную печаль — так привыкла к этому чудесному городу. Но теперь совсем другое... Все мои чувства, все мысли устремлены вперед, в будущее. С такой полнотой я этого еще никогда не испытывала. Боже мой! Я увижу вновь мою родину...

— Чувствую, будто у меня выросли крылья,— говорит другая, и краска радости заливает ее лицо.— Еду в Москву, там много у меня родственников. Но никого не предупредила. В тягость не хочу быть никому. Я много лет была портнихой, у меня хорошее ремесло, нужное, не пропаду с ним.

Вот инженер, преуспевший во Франции. Едет в Орел с женой и дочерью, при тридцати чемоданах и сундуках. Решил, что должен работать на родине, что только там работа имеет настоящий, вдохновляющий смысл.

Один показывает телеграмму из Днепропетровска, где его ждут и где ему обеспечена жилплощадь. Другой заявляет:

— У меня никого не осталось на родине. В Париже тысяча знакомых, а там ни одного! Но только там буду я у себя. С тех пор, как узнал об отъезде, считал дни, даже часы.

В поезде пятьсот пятьдесят человек. Едут рабочие, шоферы, инженеры, священники; едут простые люди, крестьянские сыновья, оказавшиеся в эмиграции против своей воли, и бывшие белые офицеры, понявшие ложность своих прежних позиций; едет вместе с женой и сыном, который учился в Париже в советской школе, старший мой товарищ по лицею, потомок Рюрика и внук знаменитого декабриста...

Восемь пассажирских вагонов, четырнадцать товарных и одна платформа. В багажных — пианино и швейные машины, кастрюли, кровати, радиоприемники, диваны, письменные столы — все «добро», приобретенное в эмигрантские годы.

А из Сарбурга, куда прибыли советские граждане со всех концов Франции, уходит поезд уже в пятьдесят вагонов, украшенных красными полотнищами с надписями: «Настал желанный час!..» «Привет родине!..», «Мы едем домой!»

«Широка страна моя родная...» — гремит песня во всех вагонах.

Готовилась отправка новых групп. Уже более двух тысяч человек отбыло на родину. Я тоже собирался в путь.

В доме союза на улице Галлиера царила радостная атмосфера: каждый ожидал своей очереди ехать домой.

В «Союзе советских граждан» у меня было много работы. Я входил в редколлегию газеты «Советский патриот», где помещал в каждом номере большую статью и вел отдел международной политики. А кроме того, председательствовал в отделе союза в пригородах Леваллуа и Нейи.

В тридцатую годовщину Октября я провел у себя в отделе торжественное собрание, на котором выступил с докладом представитель советской миссии по репатриации. Я сидел на эстраде, украшенной красными флагами. В кратком слове приветствовал завоевания Октября. Помню, я очень волновался перед началом собрания, но все, кажется, прошло гладко, с подобающей торжественностью.

В эти же дни я написал статью, которая, по-види-

мому, ускорила неожиданным образом мое возвращение на родину.

«Русская мысль», новый орган наиболее реакционной части эмиграции, разразилась бранью по адресу Советской России в связи с годовщиной революции.

Я отыскал номер «Парижского вестника», органа эсесовского «управления» по делам русской эмиграции, где тоже писалось о годовщине Октября.

Статья моя состояла преимущественно из цитат, с небольшими комментариями. Приводя выдержку из немецкого фашистского органа, а затем выдержку из органа русских реакционеров, служащих теперь Уолл-стриту и Ватикану, я предлагал читателю догадаться, откуда каждая. Это было невозможно, так как все одинаково хулили советскую власть буквально в одних и тех же выражениях.

Действительно, нельзя было отличить вчерашних иностранных наймитов от сегодняшних. Этот номер газеты привел в ярость эмигрантских активистов, связанных с иностранными разведками и полицейскими органами.

ГЛАВА 8

В ОТЧИЙ ДОМ

Ноябрьские дни 1947 года были чрезвычайно тревожными во Франции. По стране прокатилась волна забастовок. Росли цены, росло недовольство народных масс. В определенных буржуазных кругах старались выслужиться перед заокеанскими покровителями.

Полицейский налет на советский репатриационный лагерь Борегар (две тысячи полицейских при шести танках против нескольких десятков безоружных людей) был первым звеном в цепи открытых антисоветских провокаций.

Однако «Союз советских граждан» мирно продолжал свою работу, устраивал доклады, собрания, концерты, все еще не допуская мысли, что французская реакция предпримет против него незаконные действия.

...Во вторник 25 ноября в 7 часов утра меня разбудил продолжительный звонок у входных дверей.

— Полиция, откройте!

Вошли двое молодых людей в штатском, предварительно предъявив полицейские удостоверения. Мои близкие очень взволновались. Молодые люди принялись их успокаивать. Простая формальность, уверяли они, но мне необходимо явиться в комиссариат и ответить на несколько вопросов.

— Это какое-то недоразумение,— сказал я.— Но как быть? В девять часов я должен быть в редакции...

— Одевайтесь скорее, мсье,— отвечали молодые люди,— вы будете в девять свободны.

Я покинул квартиру, взяв с собой только портфель с газетами для обзора печати в очередном номере «Советского патриота».

Однако моя мать почувствовала недоброе. Она вышла вслед за нами и заявила, что подождет меня в комиссариате.

Это твердо выраженное намерение на секунду озадачило полицейских, но, переглянувшись, они отворили дверцы автомобиля и подчеркнуто любезно предложили ей сесть рядом со мной.

Минуту спустя мы уже подъезжали к комиссариату. Мою мать попросили обождать в приемной. Меня провели в какую-то комнату, затем в коридор, там полицейские крепко взяли меня под руки, вывели другим ходом на улицу и усадили обратно в машину. Было ясно, что сопротивление бессмысленно.

Тем временем моя мать, догадавшись, в чем дело, сбежала вниз, и, когда мы отъезжали, я увидел ее совсем рядом с машиной. Я показал ей знаками, что не могу выйти. Она замахала мне рукой, и в утреннем полусвете я увидел ее встревоженное лицо.

Теперь полицейские со мной не церемонились. Я был в их руках.

— Куда вы меня везете?

— Когда приедем, увидите.

Мы подъехали к особняку, расположенному в одном из самых буржуазных кварталов. Рядом жили мои друзья, и я часто проходил мимо этого особняка, похожего на резиденцию богатых людей, совершенно не подозревая его подлинного назначения.

Никакой надписи на дверях не было. Не было и наружной охраны. Но как только мы вошли в переднюю, стало ясно, что это засекреченное помещение француз-

ской политической полиции. Под плакатом с надписью «Свобода, равенство, братство» стояли полицейские инспектора. Они плотно окружили меня, быстро проверили, нет ли при мне оружия, и повели куда-то вниз по неосвещенной лестнице.

Я оказался в подвале. В дверях стоял автоматчик, стороживший тех, кого доставили сюда еще до меня. Все это были товарищи, занимавшие руководящие должности в «Союзе советских граждан».

Им откуда-то уже было известно, что все мы в тот же день будем высланы, точнее — выкинуты из Франции.

Как, без вещей, без прощания с родными? Многим все еще казалось, что это недоразумение, которое должно вот-вот рассеяться.

После четырехчасового ожидания в подвале под охраной автоматчика нас повели снова наверх. Там стояло уже десятка два вооруженных до зубов полицейских.

— Вот, значит, какие мы опасные,— пошутил кто-то из нас.

Вызывали поочередно. Коренастый, толсторожий полицейский инспектор, по-видимому, высшего ранга, объявлял каждому, что на основании собранных о нем сведений присутствие его на французской территории признано «опасным для общественного спокойствия», а посему предписано его выслать в «порядке чрезвычайной спешности». Затем он показывал красным жирным пальцем, где надо расписаться. Мы между собой не сговаривались, но все как один отказали ему в этом удовольствии.

Когда подошла моя очередь, я раскрыл портфель и сказал:

— Не могу же я только с этим выехать из Франции. Мне необходимо вернуться домой за вещами.

— Вы это сделаете позднее,— ответил инспектор, отвернувшись.

Председатель союза Качва потребовал, чтобы ему дали возможность снестись с советским посольством. Ответа не последовало. На вопрос, в чем мы обвиняемся, тоже не было ответа. Мы, собственно, по закону ни в чем не обвинялись, но, как преступники, подверглись унизительным полицейским процедурам. Каждому при

этом еще раз совали пояснительный циркуляр, украшенный все теми же словами: «Свобода, равенство, братство».

Нас вывели из особняка. Шпалерами стояли на лестнице полицейские с автоматами. Внизу ждал автобус. Часть полицейских разместилась вместе с нами. Автобус тронулся.

— Куда нас везут?

В ответ — угрюмое молчание.

Мы выехали из Парижа через ближайшие городские ворота в западном направлении. Наше недоумение было велико. Оно, однако, вскоре рассеялось: мы повернули обратно и обогнули весь Париж, чтобы затем направиться на восток.

Было ясно, что нас повезли таким кружным путем, чтобы лучше замести следы... Точно так же, как надлежало нас выслать без промедления, с применением грубой силы, чтобы мы не успели обжаловать принятое решение, надлежало и скрыть как можно дольше от наших семей, от наших друзей и, главное, от советского посольства, что именно с нами сделали.

Лишь только мы выехали из Парижа, главный надсмотрщик, рыжий, напомаженный дядя, видимо очень желавший как-то проявить свое дурное настроение, пересчитал нашу десятку, тыча пальцем в каждого из нас.

— Берегитесь,— объявил он, похлопывая по кобуре.— Если одного недостанет, остальные тотчас же окажутся трупами!

— Да это как в гестапо!— возмутился кто-то из нас.

— Ничего, ничего,— возразил рыжий.— Мы и покруче обращаемся с высылаемыми, особенно бесподданными. Ваше счастье, что у вас советские паспорта!

Автобус вез нас по дорогам Франции, через деревни и города, где с недоумением и жалостью глядело на нас французское население, вез, очевидно, к Рейну, к границе французской земли. Я глядел на мягкие очертания холмов и лесов, на готические колокольни, на обвалившиеся средневековые укрепления, на памятники великой истории и великого искусства, всюду разбросанные на этой благодатной земле, и сердце мое сжималось при мысли, что я так расстаюсь с этой страной

и с этим народом. Совсем иначе думал я проститься с Францией, готовясь к возвращению домой! Ведь страну эту и ее народ я полюбил особенно крепко именно тогда, когда почувствовал себя подлинным сыном своей великой страны; раньше любил как изгнанник, а теперь — как равный.

Поздно вечером мы пересекли государственную границу Франции. Страсбург остался позади. Мы были в Келе, первом пункте французской оккупационной зоны Германии.

Нас разместили в заранее приготовленном помещении. По всему было видно, что предпринятая против нас операция была тщательно разработана и что французские власти придавали ей большое значение.

В эту ночь со всех концов Франции доставлялись в Кель на автомобилях руководители провинциальных отделений союза. Вскоре нас было уже не десять, а двадцать четыре. Почти все руководящие деятели союза оказались высланными из Франции.

Издевательства над нами не прекращались. Две полицейские собаки были приведены к нам в помещение, очевидно для вящего устрашения. Перед дверьми на лестнице стояли автоматчики. Но при этом нам «разъясняли», что мы не арестованы, мы лишь высылаемся в административном порядке, и полиция нас не задерживает, а... сопровождает. Ехать же отныне мы можем куда пожелаем.

Мы снова потребовали, чтобы нам дали возможность снестись с нашим посольством, составили протест против учиняемого над нами насилия, но мысли наши уже были заняты другим: мы понимали, что приблизился час нашего возвращения на родину, и это сознание воодушевляло нас. Мы находились на пороге новой жизни.

В Келе мы с изумлением прочли во французских газетах, что нас обвиняют во «вмешательстве во французские внутренние дела», в организации «социальных беспорядков», чуть ли не в подготовке... какого-то заговора против Французской республики. Это было до смешного нелепо.

Меня же, в частности, какая-то американствующая газета объявила «опасным журналистом», видимо в от-

местку за разоблачительную статью о ее подголоске на русском языке.

Итак, нас обвиняли во вмешательстве во французские внутренние дела — и многие из нас действительно в этом были «повинны», так как бок о бок с французским народом сражались в рядах армии Сопротивления.

За такое «вмешательство» трое из высылаемых как нежелательные и опасные иностранцы были даже награждены французскими орденами: бывший заключенный лагеря Бухенвальд И. А. Кривошеин, которому всего за три месяца до этого сам президент Французской республики выражал надежду на укрепление франко-советской дружбы; А. П. Покотилов, доблестно сражавшийся в советском партизанском отряде, и А. А. Угримов, укрывавший на мукомольном предприятии, где он был директором, советских бойцов, а также сбитых американских и английских летчиков, за что, кроме французского ордена, получил личную благодарность американского главнокомандующего генерала Эйзенхауэра и английского маршала авиации.

В числе высылаемых были: председатель «Союза советских граждан» Н. С. Качва — один из организаторов подпольной борьбы русских патриотов с фашистами; А. К. Палеолог — один из старейших «оборонцев, долго томившийся в концентрационном лагере; бывший председатель «Союза советских патриотов», известный журналист С. Н. Сирин; член центрального правления В. Е. Ковалев, долго сидевший в немецкой тюрьме; 74-летний профессор А. И. Угримов — председатель Союза русских дипломированных инженеров во Франции; видные деятели союза А. Н. Марченко, А. А. Геник; М. Н. Рыгалов — председатель отдела молодежи, брат которого был расстрелян гитлеровцами; Н. В. Беляев, В. В. Толли, И. Ю. Церебеж; уполномоченный по Южному району В. И. Постовский, в прошлом белый генерал, командовавший крупными соединениями Добровольческой армии, который имел мужество понять свои заблуждения и свою вину и честно отдать себя в распоряжение родины.

Две ночи и день мы провели в Келе в радостном возбуждении. Оно омрачалось лишь беспокойством за судьбу тех, кого мы оставили во Франции, так как в

обстановке, сложившейся там, можно было ожидать самого худшего.

Поражая своей бодростью надсмотрщиков, мы хором пели советские песни. Со смехом отвечали на вопрос какого-то полицейского начальника: есть ли среди нас желающие отправиться не в Советский Союз, а в какую-либо буржуазную страну?.. Требовали, чтобы нам дали возможность скорее двинуться дальше.

И вот, когда все двадцать четыре оказались в сборе, когда закончились какие-то переговоры французских властей с властями тогдашней «Бизонии» относительно нашего дальнейшего следования, нас поездом повезли через Германию

Провожатыми были чины французской полиции. «А что, если американская военная полиция договорится с ними и «перехватит» нас в свои руки?»— спрашивали мы себя.

Особенно тревожны были часы, проведенные при пересадке в Карлсруэ. Мы сидели в зале ожидания — часть провожатых была с нами, другие пошли на очередное совещание с американскими властями. В зал вошел отряд американской военной полиции: десять дюжих молодцов в касках и с винтовками уставились на нас с видом, не предвещавшим ничего хорошего. Однако американские полицейские постояли, о чем-то между собой пошептались и удалились Очевидно, на этот раз французской полиции было разрешено провести до конца начатую ею операцию..

Этих минут никто из нас не забудет. 29 ноября 1947 года в полдень наш поезд медленно подходил к первому пункту советской зоны.

Французские полицейские распрощались с нами на предыдущей станции: «Поезжайте теперь одни!» И мы поехали в запертом снаружи вагоне, резко ответив английским офицерам, которые в последний раз пытались уговорить нас остаться в лагере для «перемещенных лиц».

...Лес, пригорки, снова лес. Прильнув к окнам, мы глядели на унылый осенний пейзаж. Наконец поезд остановился. Мы увидели на перроне трех молодых советских солдат. Один из них встретился с нами глазами — мы замахали ему; он понял, что нужен нам, угадал, что мы ему не чужие.

Вот он вскочил на подножку, отворил дверцу вагона. Мы обступаем его, говорим наперебой, и каждому из нас хочется его расцеловать. Волнение наше и радость доходят до него — он широко улыбается.

— Свои, русские...— говорит он, и тепло становится от его слов.— Высланные! На родину возвращаетесь. Ну что ж, дело хорошее. А видно, устали очень... И ничего-то с собой у вас нет. Минуточку погодите, доложу начальнику. А пока угощайтесь,— наверное, покурить охота.

Оставляет нам пачку папирос и соскакивает на перрон.

Так первым приветствовал нас в новой нашей жизни молодой советский воин.

В радостном возбуждении мы говорили друг другу:

— Да ведь это вылитый Василий Теркин...

...По платформе спешил к поезду майор. Мы сошли, предъявили ему паспорта, принялись объяснять, кто мы такие: «Высланные из Франции, прибыли в зону советской оккупации, хотя и не имеем въездных виз». Случай был исключительный, прецедентов, по-видимому не имеющий. Майор выслушал нас, распорядился, чтобы задержали поезд, приказал подать нам завтрак.

...Через несколько часов мы подъезжали к ближайшему репатриационному лагерю, возле Бранденбурга.

За высокими соснами мы увидели ярко освещенное кирпичное здание, арку перед главным входом, красные полотнища и большие плакаты с эмблемами Советского государства. Нас встретил комендант.

— Что и говорить, налегке приехали,— пошутил он и затем добавил с теплой ноткой в голосе:— Располагайтесь, товарищи, как дома.

Быстро был приготовлен горячий ужин, а затем, впервые за все эти дни мы заснули на кроватях, под простынями и одеялами, заснули счастливым сном.

На другой день приехал из Берлина генерал, начальник отдела репатриации, и подробно расспросил о наших нуждах.

По его распоряжению в одном из лагерных корпусов нам —«группе 24-х»— предоставили целый этаж, разместив по два-три человека в комнате, и зачислили на офицерский паек.

Каждому выдали костюм, зимнее пальто, чемодан, ботинки, теплое белье, туалетные принадлежности и денег на расходы.

Родина заботилась о нас...

В лагере мы жили, как на даче. Гуляли по окрестным селениям и лесам. Часто ездили в «город», то есть в Бранденбург, а то и в Берлин.

Самое яркое воспоминание.

Поздно вечером мы возвращались небольшой группой с прогулки. Как раз когда мы подходили к дому, по репродуктору передавались «последние известия», и мы услышали слова, которые заставили нас остановиться, затаив дыхание:

«Нота Советского Правительства о репрессиях со стороны Французского Правительства в отношении граждан СССР во Франции».

На весь мир передавался протест Советского правительства против нашей высылки, в котором упоминалась фамилия каждого из нас.

Трудно передать, что мы испытывали в эту минуту.

А затем в «Известиях» было помещено наше коллективное письмо, под которым стояли наши имена.

В этом письме подробно говорилось об обстоятельствах высылки каждого из нас.

Вся моя жизнь вставала в моей памяти, когда я читал в органе Советов депутатов трудящихся СССР, что «сотрудник газеты «Советский патриот» тов. Любимов был увезен только с портфелем, набитым газетами для обзора печати очередного номера».

Да, это было сказано в этом органе обо мне, и правительство моей страны в торжественной форме протестовало против такого обращения со мной!

Вслед за нашей высылкой последовала новая провокация. «Союзу советских граждан» во Франции было предложено ликвидироваться, а орган его —«Советский патриот» был закрыт по приказу полиции. Вскоре за тем были высланы все члены последнего правления союза (образованного уже после нашей высылки): еще одиннадцать человек во главе с председателем профессором Д. М. Одинцом, который был тяжело болен и не мог передвигаться без посторонней помощи. В чис-

ле новых высланных были активные участники движения Сопротивления С. Б. Долгова, Г. Б. Шеметилло, В. Б. Шеметилло, С. А. Булацель и другие. Все они прибыли в Бранденбург уже после нашего отъезда.

А мы два с половиной месяца ждали, когда приедут из Парижа наши семьи. В феврале выяснилось, что приезд их откладывается, так как французские власти настаивают на выполнении длительных формальностей.

Дальнейшее ожидание в лагере теряло смысл. 17 февраля приехал из Берлина генерал и объявил, что на другой день мы очередным эшелоном можем выехать на родину через Гродно.

Зима в том году стояла мягкая. Но, как пошутил генерал, мы были людьми, «отвыкшими от русских морозов», и потому он распорядился одеть нас в дорогу теплее.

Мы ехали через Польшу. И чем дальше подвигались на восток, тем явственнее ощущали близость родины.

У порога отчего дома мы уже чувствовали себя в нем, уже вошли в него душой.

Ночью поезд остановился в поле. Я вышел из вагона. Сошел и капитан, начальник эшелона.

— Уже Россия?

— Нет еще, границу переедем утром. Вам не спится? Я понимаю вас: событие для вас великое. Хотел себе представить, что вот и я не был на родине тридцать лет,— и не мог. Как это тяжело, вероятно, жить так долго на чужбине...

...Утром 25 февраля, ровно через три месяца после того, как французские полицейские подняли нас с постели, мы пересекли границу Советского Союза.

И вот вдали очертания города Гродно.

Мы сошли с поезда и стоим на советской земле. Глазам больно от ослепительного снега, навертываются слезы, и не разберешь, отчего они. На душе как-то ясно и тихо.

Одиссея наша окончилась. Сколько длилась она? Три месяца? Нет, почти три десятилетия. Те, что поки-

нули родину подростками, вернулись с сединой, а выехавшие в зрелом возрасте состарились на чужбине.

На этом, в сущности, можно было бы поставить точку. Но мне хочется коротко еще рассказать о первых моих двух-трех днях в Москве.

Вместе с несколькими товарищами из нашей группы я приехал в Москву в воскресенье, 29 февраля, под вечер. У моих товарищей были в Москве родственники или друзья, у которых они могли остановиться.. У меня — никого. В то время репатриантами ведало переселенческое управление при Совете Министров РСФСР. Но идти туда в воскресенье, по моим парижским понятиям, не имело смысла: во Франции все учреждения наглухо закрыты в выходной день. Где же мне переночевать? При мне было несколько десятков рублей, остаток небольшой ссуды, полученной в Гродно. Решил, что в крайнем случае на гостиницу хватит.

...Иду за людьми. Вхожу в здание, над которым красным огнем пылает огромная буква «М». Внизу мягкий, теплый свет, просторный зал. Беру билет, спускаюсь по ступеням и... останавливаюсь пораженный!

. Теперь все это для меня стало привычным. Но в тот первый день залитые теплым светом подземные чертоги с мраморными колоннадами и эскалаторами, уводящими в глубины, произвели на меня огромное впечатление. Это был какой-то волшебный мир, раскрывшийся передо мной с первых же моих шагов в Москве. Я ехал, пересаживался, подымался к выходу, опьяненный всем виденным, и в сознании моем проносилось: «Теперь все это мое, собственное. Моя гордость! Как бы я сам».

— Гражданин, чье это пальто у вас на руке?

С этим вопросом ко мне обратился у выхода милиционер.

Его любопытство было вызвано, вероятно, моим видом.

На мне была армейская ушанка. Из-под легкого парижского пальто вылезал зеленый ватник, сильно почерневший в дороге. В одной руке у меня был чемодан, выданный в лагере, в другой — тоже выданное в лагере совершенно новое пальто.

— Как — чье?— отвечал я милиционеру.— Мое, конечно!

Милиционер пожелал взглянуть на мои документы. Я

протянул ему заграничный паспорт. Это удивило его окончательно.

— Пройдемте в отделение милиции, гражданин,— сказал он.— Надо проверить.

— Идемте, раз надо,— отвечал я.—,Но я уже устал ходить с чемоданом.

— Я поднесу,— предложил милиционер.

И пошли по улице Горького, в сторону Пушкинской площади.

Перед большим домом с колоннами и львами на воротах я остановился.

— Что это?

— Музей Революции,— отвечал милиционер.

«Бывший Английский клуб!»— пронеслось у меня в голове, и я зашагал дальше с задержавшим меня представителем власти.

Начальник отделения милиции просмотрел мои документы, извинился за недоразумение, крепко пожал мне руку и пожелал всяческой удачи в новой моей жизни на родине.

Но не все сразу пошло гладко. Я вернулся в метро. Посреди ослепительно белой галереи остановился, чтобы передохнуть, и закурил. Опять подошел ко мне милиционер и объявил, что штрафует меня на десять рублей. Тут я взмолился. Долго объяснял, что я из Парижа, что я не знал, что в метро нельзя курить. Милиционер вначале таращил глаза от изумления, затем понял, улыбнулся и только сказал:

— Порядку, видно, мало в парижском метро...

Пошел по гостиницам. Но нигде свободного места не оказалось. Уже наступила ночь. Я поехал на вокзал, чтобы сдать в камеру хранения злополучный чемодан и второе пальто.

Вещи сдал, но на самый вокзал, где я надеялся переночевать, меня не пустили, так как у меня не было билета. Растерялся, решительно не зная, что делать. Рассказал встреченному железнодорожнику о своей беде. Тот устроил мне ночлег в помещении, которое, очевидно, было какой-то мастерской.

На двух стульях, при ярком электрическом свете я и провел мою первую ночь в Москве.

А на другой день все устроилось очень быстро. В переселенческом управлении мне выдали деньги, позвони-

ли в учреждения, где для меня могла быть работа, устроили временное жилье. Начальник управления, выслушав рассказ о моих приключениях, улыбнулся и заметил, что если бы я накануне, то есть в воскресенье, пришел сюда, дежурный разрешил бы мне переночевать и я не знал бы никаких мытарств.

В тот же день мне предложили написать серию очерков о нашей высылке для заграничной печати и выдали аванс. Я телеграфировал матери в Париж: «Все хорошо. Работаю в Москве».

Знакомых у меня никого еще не было. Но я решил, что приезд в Москву надо отпраздновать. Зашел в ресторан, заказал обед и неожиданно для самого себя выпил один бутылку шампанского. Эмигрантский поэт Георгий Адамович как-то писал:

Когда мы в Россию вернемся...
Но поздно — окончен уж путь.
Две медных монеты на веки,
Скрещенные руки на грудь.

А я все же вернуться успел. Нет, путь не окончен. С твердой верой в это я как зачарованный любуюсь громадой Кремля, сжимая пустой портфель, с которым вышел из своей парижской квартиры. Ведь я не стар еще, и в памяти живо все, чему я был свидетелем в жизни...

ЭПИЛОГ

ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

В январе 1960 года я снова побывал в Париже. Это была грустная поездка: я ехал туда, чтобы проститься с моей матерью, дни которой были сочтены. Должен сказать, что французские власти, выславшие меня в 1947 году в административном порядке, с полным нарушением гарантий, общепринятых в цивилизованных государствах, не только уважили мое ходатайство о въезде во Францию, но очевидно принимая во внимание мотивы моего приезда, проявили ко мне вполне корректное, даже предупредительное отношение.

...Утро было морозное, и все вокруг Внуковского аэропорта дышало русской зимой.

Но лишь только самолет «Эр Франс» набрал высоту и молоденькая стюардесса с осиной талией, гостеприимно засияв улыбкой, обращенной ко всем и к каждому, объявила нам, что сейчас будет подан завтрак, состоящий из таких-то блюд, а стюард деловито добавил, что к нашим услугам лучшие табачные изделия и вина, как я почувствовал себя полностью во Франции, где люди с таким вкусом и знанием умеют пользоваться всеми земными радостями.

А когда несколько часов спустя я очутился вновь на французской земле, мое демисезонное пальто показалось мне нестерпимо тяжелым, изнуряющим: разница с московской температурой достигала в этот день почти тридцати градусов...

Засияли огни кафе, замелькали рекламы, бесконечный поток машин, в котором была и наша, устремился к главным артериям, и там в первые минуты при виде таких знакомых (словно я их покинул вчера) памятников, площадей, перекрестков я подумал, что Париж совершенно не изменился и что все та же жизнь бьет ключом в этом городе, некогда общепризнанной столице мира.

Я пробыл в Париже целый месяц, и мне кажется, что это первое впечатление было правильным, но в том только, что касается внешнего облика великой столицы. Неоновый свет совсем новым, холодным блеском озаряет по вечерам Елисейские поля. Но ни этот свет, ни даже американская аптека «драг-стор», где продают и сосиски, в двух шагах от Триумфальной арки, не меняют общего впечатления давно утвердившейся роскоши и красивой, органически сложившейся здесь архитектуры. Автомобилей так много, что (невиданное прежде дело!) стоянкой служит им сам тротуар, где они порой выстраиваются в два-три ряда, а их владельцы часто предпочитают пользоваться метро, чтобы не опоздать из-за заторов. Постройки, отражающие поиски новой архитектуры путем отказа от всех прежних архитектурных форм, образуют иногда целые кварталы-островки. Новый стиль, по-новому манящее великолепие витрин: пластмасса используется здесь с тонким вкусом, а из

Америки идущая резкая пестрота красок — с чисто французским чувством меры.

Все это так, но общий облик Парижа прежний: в непосредственном соседстве с прочной, величавой архитектурой Дома инвалидов, с его твердо вросшим в землю фасадом. Дом ЮНЕСКО выглядит случайной фантазией из бетона и стекла временно приютившейся на каких-то сваях. И откуда ни взгляни, Париж в своем основном ансамбле изменился не больше, чем наш Ленинград. И слава богу! Красивейшим городам мира опасны слишком быстрые метаморфозы. Но печально другое: фасады парижских домов обветшали и почернели, а так как именно эти старые дома из серого камня определяют облик знаменитого города, кажется, что он весь как-то закоптел, потрескался и слинял. Но это ничем как будто не оправдано, раз мирная, обычная жизнь фактически не нарушалась здесь уже много лет. И какой же контраст с роскошью витрин и вечерних туалетов, мелькающих перед уличной толпой, когда в какое-нибудь посольство или особняк съезжается на прием «весь Париж»!

Однако во внутренней жизни Парижа, в самом настроении, можно даже сказать — миросозерцании парижан кое-что, как мне кажется, изменилось. Но это обнаруживается не сразу.

Когда после чуть ли не трех десятилетий, проведенных на чужбине, я снова оказался в моем родном Ленинграде, меня охватила как бы лихорадка, и я бродил по бесконечно дорогим мне местам в каком-то восторженном упоении. Думаю, что мои ощущения были бы тождественны, если бы я вернулся на родину и на двадцать лет раньше. А когда двенадцать лет спустя я снова попал в Париж, с которым у меня были связаны уже не воспоминания самой ранней юности, как с Ленинградом, а лучшие, зрелые годы жизни, я в первый же день, в первый час почувствовал себя так, будто никогда не покидал этого города,— одним словом, без особого волнения, как-то привычно, ощутил себя вновь на крепко насиженных местах.

Да, конечно, с возрастом годы текут быстрее, и потому разлука с Парижем могла мне представиться кратковременной. И все же дело не в этом.

В 1948 году я вернулся на родину обновленную, совершенно иную, чем та, которую я покинул в 1919 году. Франция же, несмотря на некоторые, пусть и весьма важные, политические преобразования, осталась, по существу, все той же и в социальных отношениях и в быту. Да, все той же старой Францией!..

Но то новое, о котором я упомянул? Оно не так разительно, и думаю, что ощутить его полностью может только тот, кто очень долго и близко соприкасался с французской жизнью.

* * *

...Тот буржуа, которого мне довелось наблюдать в этот мой приезд, уже не тот, что в довоенные годы. Раз я уж так много говорил о еде, отмечу, что нынешний французский буржуа столь же требователен к кухне, столь же разборчив в яствах и винах, но ест меньше. Сказались вынужденная школа времен войны, когда волей-неволей приходилось себя ограничивать, а кроме того, психологическое воздействие упорного, не останавливающегося ни перед какими жертвами стремления женской половины буржуазного (да и не только буржуазного) западноевропейского и американского общества сохранить на любом десятке лет стройную фигуру и девичью талию.. В результате французский буржуа утратил в своем внешнем облике некоторую долю солидности, в общем стандартизировался на англосаксонский лад, зато, несомненно, приобрел более спортивную внешность.

Две огромные чужеземные армии последовательно занимали французскую территорию. Первая, армия захватчиков, несла с собой ужас и страх, наглядно убеждая каждого, что Франция одна с ней не может справиться. Вторая пришла как освободительница со всеми богатствами великой заокеанской державы, но это богатство и эта мощь крикливо навязывали французам свое непререкаемое «превосходство».

И вот нынешнего буржуа уже не упрекнешь, как некогда, в полном незнании внешнего мира. Начиная с 1940 года он с иностранцами насоприкасался вдоволь. События показали ему, что Франция уже не обособленное царство и, следовательно, прошло время замыкать-

ся в ней, как в скорлупе. Послевоенное развитие западноевропейского туризма очень благоприятствовало новым его настроениям.

Теперь буржуа выезжает в Рим, Лондон или Мадрид столь же часто, как некогда в Лион или Руан, а Америка с ее «образом жизни», в данном случае «драгсторами» и «стриптизами» у него в Париже под боком. Налет космополитизма очень импонирует французскому буржуа, и он с удовольствием ощущает его на себе.

Но радостным никак нельзя назвать его нынешнее настроение. Прежнее самообольщение исчезло — его сменили тоска и озабоченность.

Прекрасный поэт Фернан Грег, член знаменитой Французской академии «бессмертных» где, по идее, должна быть представлена культурная элита нации, ее, так сказать, квинтэссенция, несколько лет назад весьма образно выразил эту тоску в поэме «Мечтание в саду Тюльри».

Вот он гуляет по этому саду, «где всюду, куда ни обратишь взор, как в торжествующем Риме цезарей, рассеяны величественные дворцы», а над ним переменчивое небо, то самое, на которое с этих же мест глядели Орлеанская дева и Наполеон. Все говорит здесь о славе «очень старой и великой нации», у которой никакие «козни судьбы» не отнимут гордого сознания, что «в течение четырехсот лет — одной секунды — она была умственным и чувственным центром мира». Ныне она совсем маленькая страна в сравнении с некоторыми другими: так пусть же поймет Франция без протестов и слез, что эра «былых наций» миновала, что наступил век, когда главенствуют «области-титаны». «Ужас и гордость природы», эти колосы торжествуют теперь «благодаря своему многолюдию или золоту». Но ведь они лишь дожидались своей очереди, когда слава Франции уже сияла на весь мир...

Что же дальше? «Человек — Эдип, способный убить родного отца, может взорвать и землю», и тогда со всеми другими нациями Франция погибнет в «ослепительном фейерверке ионов». И вот конечная мысль поэта: единственный, долговечный плод наших усилий — это память, которую мы оставляем после себя, а раз так, будь же спокойна, Франция, ибо потомство скажет, что ты была новыми и более могущественными Афинами!..

Но как быть сейчас? Из старинного Тюльерийского сада воображение уносит поэта в юный нью-йоркский «Сентрал-парк», «не решаясь на пугливый полет к таинственным дворцам с луковичными крышами»...

Не найти, мне кажется, более точного выражения пессимизма, охватившего часть французской нации, сознания, что она находится на перепутье, нерешительности ее в выборе, о котором так и не дано точно узнать.

* * *

Я приехал в Париж в историческую неделю, когда вспыхнул в Алжире фашистский мятеж и восстание грозило перекинуться в самую Францию, причем было неясно, какую позицию займет в конечном счете армия. Угроза гражданской войны была очень реальной. Организованный рабочий класс готовился оказать решительное сопротивление фашизму.

Буржуазная печать отводила этим событиям целые полосы (впрочем, столько же места отводила она и процессу знаменитого женевского адвоката, обвиненного в убийстве). Но в буржуазных кварталах города особого беспокойства не ощущалось, животрепещущих тем было достаточно, так что об алжирских событиях там почти не говорили. При этом такое хладнокровие или равнодушие вовсе не свидетельствовало о скрытом сочувствии алжирским мятежникам: подавляющее большинство населения (в том числе и буржуазного) относилось к ним, напротив, враждебно,— но оно также не было результатом уверенности в своих силах (такой уверенности вовсе не существовало), а какой-то странной апатии, усталости.

— Стану я себе голову забивать политикой! Это — дело генерала,— говорила мне лавочница, помнившая меня как старого клиента.— Налоги увеличиваются, цены растут. И все это из-за проклятых колонизаторов, которые хотят навязать свою волю не только арабам, но и нам. Да, да, они желают стать государством в государстве. Пусть уж действует генерал, а у меня и так достаточно хлопот со своей торговлей.

А ведь в годы войны она участвовала в Сопротивлении, распространяла антигитлеровские листовки.

Представители более высоких буржуазных кругов также твердили в один голос:

— Все зависит от генерала. Подождем, что он скажет: он один может повлиять на армию.

Я спрашивал своих собеседников: чем вызван у них такой фатализм? Наиболее откровенные и привыкшие к самоанализу отвечали: разочарованием, горьким сознанием того, что в мировую войну Франция жестоко поплатилась за свою былую самонадеянность, нынешним зависимым положением Франции, жестоким поражением в Индокитае после долгой и бессмысленной войны, беспросветной войной в Алжире,— причем, скажу прямо, я не слышал ни от одного из них даже намека на то, что эта война могла бы быть выиграна.

— Подумайте, до чего мы дошли,— говорил мне старый приятель.— Франция, некогда самая передовая страна, находится под угрозой «пронунчиаменто», страшится кучки озлобленных офицеров-неудачников! Да, вся надежда на генерала!

Я был в Париже, когда взорвалась в Сахаре первая французская атомная бомба. В некоторых влиятельных кругах этот взрыв старались представить как доказательство французской великодержавности, долженствующее укрепить престиж Франции на международной арене. Однако в частных беседах со старыми друзьями французами, притом людьми самых различных политических настроений, я опять-таки не услышал ни от одного из них намека на какую-то гордость по поводу этих экспериментов.

— Ну что ж,— говорили некоторые,— очевидно, это нужно генералу...

А когда генерал де Голль сказал свое слово и алжирские мятежники (хором вопившие «Де Голля к столбу!» и даже «Де Голля в Москву!») капитулировали, так что угроза фашистского путча была на время устранена, буржуазные газеты поспешили удвоить место, отводимое сенсационным процессам или описаниям разводов, помолвок и бракосочетаний в мире кинозвезд или коронованных особ...

— Нет, это не прежнее самоублажение,— говорил мне в январе 1960 года бывший депутат, находившийся в полуоппозиции к де Голлю,— а как бы стремление забыться на час-другой от охватывающих нас забот и тре-

вог. Ну в самом деле, что может быть нелепее, нелогичнее продолжения алжирской войны, которая, как понимает каждый здравомыслящий человек, уже давно безнадежно проиграна? А между тем ведь французский ум всегда почитался самым логическим... Почему же такой парадокс? Боимся признаться в несостоятельности затеянной авантюры, тем более что среди нас имеются организованные авантюристы, так называемые «ультра», ура-патриоты, готовые на все и даже на то, чтобы пустить пулеметную очередь в любого инакомыслящего. Это злокачественная опухоль на здоровом теле Франции. А тело здоровое, поверьте, вполне здоровое. Но раз мы не решаемся на операцию, приходится терпеть опухоль и возлагать надежды на генерала: ведь как было бы хорошо, если бы ему удалось ликвидировать ее гомеопатическими средствами!..

Здоровое тело нации, о котором говорил мне бывший депутат,— это и есть главное, то есть французский народ.

Этот народ по-прежнему жизнерадостен и трудолюбив. Не скептицизм и тоска, а вера в свои силы, в величие Франции определяет его мировоззрение. И это величие он считает излишним доказывать при помощи атомных взрывов на чужих континентах. Он верит в свою творческую энергию, и его веселость, улыбка, искрящаяся шутка, заразительный смех, точно так же как удивительные по точности, законченности или изяществу изделия его опытных и умелых рук,— самое яркое свидетельство жизненности французской нации, гарантия ее славного будущего.

В годы «холодной войны» французский буржуа создал себе пугало из коммунистических идей, и при новой власти народ Франции в значительной своей части оказался не представлен в законодательных органах страны, попросту не допущен в парламент при помощи избирательной системы, специально сфабрикованной, чтобы лишить представляющую его интересы компартию подобающего ей места во французской политической жизни. И вот, говоря об этой системе, все мои друзья французы так или иначе выражали чувство неловкости, смущение и досаду, так как самый факт, что правящий класс прибегает к подобным методам борьбы, никак не свидетельствует о его внутренней силе и подлинной

жизненности. Но тут французский буржуа уже часто не в силах совладать с собой. Ведь он понял теперь, что народ вовсе не считает буржуазный строй совершенным, и это сознание, окончательно подрывая былое самообольщение, вселяет в него еще большее смятение и страх, порой прямо-таки панический, который толкает на авантюры...

* * *

Да, времена меняются. Когда в 1946 году я из бесправного эмигранта превратился в советского гражданина, многие мои французские знакомые назидательно заявляли, что я совершил величайшую ошибку, что, пока не поздно, мне следует вернуть советский паспорт и что в Советском Союзе меня ожидает в лучшем случае нищета. И вот я снова оказался среди них. То, что я печатаюсь в советских изданиях, выезжаю за границу и, по всей видимости, доволен своей судьбой, производило заметное впечатление и воспринималось ими скорее сочувственно. Я же испытывал удовлетворение, которое мне было прежде недоступно: говорить с иностранцами не как эмигрант, благодарный за оказанный приют, не как русский, отношение которого к своей стране неопределенно и по существу двусмысленно, а как полноправный представитель своего отечества, не только ни перед кем не заискивающий, но сознающий всем своим существом, что за ним стоит великая страна, удивляющая весь мир своими успехами, своими дерзаниями, могущественная Советская держава, на которую сотни миллионов людей на всех континентах смотрят с великой надеждой и упованием. И как же легко было мне теперь отвечать на вопросы, удовлетворять любопытство иностранцев!

Вернувшись в Париж, где у меня было столько друзей и знакомых, я решил придерживаться такого правила: самому ни с кем не искать встречи, но и никому, кто этого пожелает, во встрече не отказывать. В результате я, естественно, не видел пресловутых «ультра», ни вообще лиц, антисоветски настроенных, никаких французских деятелей, причастных к злобной агитации против Советского Союза. Однако те из французов, которые выразили желание встретиться со мной, были в

большинстве люди архибуржуазных, сугубо консервативных взглядов. Опять-таки в большинстве они двенадцать лет до этого, на заре «холодной войны», были на сто процентов проамериканцами, сочувствовавшими подчинению своей страны США, и, следовательно, проявляли себя упрямыми противниками Советского Союза. Так вот характерно, что за это время они очень существенно изменились и прежние боевые настроения почти полностью выдохлись в них. Под влиянием чего? Гадать не приходится: изнуряющей усталости, бесплодного напряжения «холодной войны», слишком жестоко оскорбляемого из-за океана национального самолюбия и, главное, неотразимых свидетельств величественных достижений Советского Союза — от покорения целины до гордого полета советской ракеты, обогнувшей Луну и открывшей людям ее, казалось, навеки закрытую сторону.

О таких сдвигах в мировоззрении французских буржуа я могу судить по следующему факту: большинство моих знакомых изменилось именно в этом смысле, раз сами пожелали меня видеть, и повторяю, в полную противоположность тому, что было прежде, воздержались от каких бы то ни было антисоветских высказываний.

Сделать из этого вывод, что они совершили поворот на сто восемьдесят градусов, признались в своих ошибках и американскую ориентацию сменили на советскую, было бы, конечно, опрометчиво. Да и не следует ожидать от них, то есть от французских буржуа, такого поворота. Но вот примерно что говорили мне некоторые из них в те дни, когда в Париже уже начались приготовления к первой встрече с Советской делегацией.

— Мы устали от затхлости, в которой жили столько лет. Нам нужен свежий ветер. Мы не уверены, что тот, который веет с Востока, вполне безопасен для нашей старой державы. Но мы помним, что для наших отцов франко-русский союз был благотворной и незыблемой традицией. А теперь мы с самым живым интересом следим за успехами вашего великого народа.

А эмиграция? Изменилась ли она с тех уже далеких времен, когда я вращался в ее среде?

Да, несомненно изменилась.

Вот, например, мой старший товарищ по Александровскому лицею. Он носит имя, некогда прославленное его предком и на русском Парнасе и в летописи военных подвигов нашего народа. Хорошо материально устроен во Франции, давно свыкся с французской жизнью, внешне как будто полностью живет интересами страны, где нашел приют. По семейным традициям он до войны участвовал в каких-то эмигрантских монархических организациях. Мы прежде не были с ним близки, но вот при встрече в 1960 году он раскрывает мне свои объятия, и на глазах его я вижу самые настоящие слезы. Как объяснить его волнение? Он говорит об этом откровенно, как бы радуясь своим переживаниям. Я, человек, вышедший из того же, что и он, монархического мира, как и он, нашедший некогда во Франции приют, вернулся на родину, обрел там поле деятельности по своему призванию, приехал теперь на короткое время в Париж и снова возвращаюсь домой, в Москву! Он видит во мне как бы живую связь с великой, могущественной и славной страной, его родиной, все еще для него таинственной, но бесконечно близкой, дорогой, особенно в том возрасте, когда человек все чаще, неотвратимее возвращается к щемящим и сладостным воспоминаниям своих ранних лет, хотя и, конечно, трудно требовать от старого человека, выросшего в монархических традициях, всю жизнь затем прожившего в капиталистическом мире и вращавшегося исключительно среди его представителей, чтобы он вдруг полностью «сменил вехи».

Другой представитель старого мира говорил мне, например:

— Да, я очень люблю прежнюю Россию и жалею о ней. Но чем больше я думаю, мне кажется, что старая Россия мне прежде всего дорога потому, что в ней протекла моя молодость. Я стараюсь понять новую Россию, принять ее, хоть это не всегда мне полностью удается.

Это уже первый шаг на новом пути: наконец наступившее сознание, что к прошлому нет возврата.

Такого же принципа, что и в отношении к знакомым французам, я придерживался и к русским эмигрантам, виделся только с теми, которые сами изъявили желание встретиться со мной. Я знал, что некоторые вся-

чески поносили меня, повторяли грубую брань, которая разлилась по страницам эмигрантской печати в связи с моими воспоминаниями, резко корили тех, кто оказывал мне радушный прием. Но вот опять-таки получилось, что подавляющее большинство моих старых друзей-соотечественников встретило меня и радушно и взволнованно.

И это в первую очередь потому, что былые антисоветские настроения выветриваются в эмиграции. Во всяком случае, в парижской.

Есть, конечно, отдельные лица, которых неумение найти иной заработок заставляет еще где-то выступать с заявлениями, что весь народ наш ждет не дождется часа, когда чужеземные благодетели придут его освобождать, ну совсем так, как писали, например, в 1918 году, когда революция действительно могла казаться людям из старого мира устрашающим скачком в неизвестность. Но русские по крови, которым неприятно даже напоминание об эпопее на берегах Волги, о наших мировых стройках, о советском вымпеле на Луне, уже ни с чьей стороны, как мне кажется, не заслуживают никакого интереса. Вернемся же к честным людям.

Русские эмигранты в подавляющем большинстве свыклись с французской жизнью, с существованием на чужбине. Но какая-то глубокая, сокровенная память о матери-отчизне все еще жива в них.

У некоторых моих собеседников французов я наблюдал подсознательную зависть. Но это чувство я приметил в еще большей степени, притом испытываемое ко мне лично, у многих русских эмигрантов.

Один из моих давнишних приятелей устроил обед, пригласив, кроме меня, еще троих соотечественников, с которыми я тоже был связан давнишней дружбой или знакомством. Квартира этого приятеля, занимающего во французском учреждении очень солидное положение, была украшена старинными русскими гравюрами — видами русских городов. Три гостя его носили имена, вписанные в русскую историю: один был потомком знаменитых елизаветинских вельмож, другой — внуком всемогущего министра Александра II, третий — рюриковичем. При этом первый был почему-то голландским подданным, второй — американским гражданином, третий — французским, а сам хозяин имел эмигрантский паспорт,

Обед был оживленный, главным образом посвященный связывающим нас воспоминаниям прошлого. Но, уже не помню, по какому поводу, один из гостей заметил, взглянув в мою сторону:

— А ведь, в сущности, один он представляет среди нас свою подлинную страну!

А другой, кажется работающий банковским служащим, добавил:

— И в общем занимается делом, которое ему всего более по душе, делом, к которому, вероятно, готовился уже в юности...

В Париже до войны было несколько тысяч русских шоферов такси, теперь их несколько сот (остальные умерли, а сыновья их, окончившие французские учебные заведения, избирают иные профессии). Как-то я сел в машину одного из них, причем сразу узнал в этом старике русского — по акценту и по общей выправке.

— Вы бывший офицер?— спросил я.

— Как же, второй гвардейской пехотной дивизии...

— Какого полка?

— Лейб-гвардии Павловского.

Мы разговорились, а когда он узнал, откуда я, то сказал как-то даже торжественно:

— Искренне, искренне завидую вам!.. Так вот у меня будет к вам просьба. Если знаете советских военных, скажите им непременно, что традиция проходить церемониальным маршем с ружьями на руку у нас, павловцев, заимствована. Мы этим щеголяли с самого основания полка, а затем другие переняли...

А ведь было время, когда многие русские шоферы такси отказывались от клиента, если тот давал адрес советского посольства...

И то же по существу, что и этот шофер, бывший гвардейский офицер, сказал мне человек в ливрее, швейцар большого французского ресторана:

— Вы такой-то? Прекрасно вас помню, вы часто ходили к нам (он назвал русский ресторан, ныне не существующий). А теперь, как я слышал, на родине? Хорошо это, очень хорошо. Привет нашей Москве!

Судьба русской белой эмиграции, последнего осколка отжившего строя, свергнутого Октябрем, весьма по-

учительна для эмигрантов из других стран социалистического лагеря. Ведь люди эти, представляющие в общем незначительные реакционные группы, все еще не понимают, что и они выброшены историей за борт.

Широко раскинув свои очаги на запад и восток от Советского Союза, русская эмиграция представляла собой некогда силу, которая могла показаться внушительной. Ее вожаки заискивали перед иностранцами, предавали интересы России, но они некогда действительно играли какую-то активную роль, в них живы были великодержавные замашки, навыки «большой политики», и многим из них и впрямь мерещилось, что «возрожденная» Россия рано или поздно призовет их в качестве «мудрых вождей». Время, отмеченное беспримерным ростом, победами первого в мире социалистического государства, беспощадно расправилось с их надеждами, да и с ними самими. Сорокалетнюю годовщину Великой Октябрьской революции Деникин, Юденич и Врангель, Коковцов и Александр Трепов, Милюков и Виктор Чернов, Струве и Бурцев, Гиппиус и Мережковский встречали в гробах, засыпанных нерусской землей. Распались, не оставив ни следа, ни воспоминания, эмигрантские организации с пустозвонными, но широковещательными наименованиями: «Младороссы», «Братство русской правды», «Имперский союз».

И все это вполне естественно. Ведь, по существу, от той беженской массы, которая покинула родину в страхе перед восставшим народом, теперь почти ничего не осталось. Отметим еще раз: большинство умерло на чужбине, очень многие, поняв свои ошибки, воссоединились с новой Россией, некоторые денационализировались, другие, хоть и вросли в иностранную жизнь, сохранили кровную связь с родиной и на чужбине разделяют ее радости и тревоги.

Историческая несостоятельность русской белой эмиграции проявилась уже в том, что она оказалась способной питать своей идеологией только одно поколение. На чужбине имеются русские люди, покинувшие родину после революции, но об эмиграции, как об антисоветски настроенной массе, как о компактной политической силе, фактически говорить уже не приходится. И если еще как-то проявляют себя ее остатки, при этом очень суетливые, старающиеся нашуметь побольше, ес-

ли, перед тем как высохнуть окончательно, эмигрантское болото все еще тщится отравить воздух своими миазмами, то этому причиной явление чисто искусственного порядка.

Те, которые заступили сейчас место умерших «столпов» эмиграции, люди совсем иной биографии. Они выросли на узкой арене эмигрантских дрязг, свою политическую карьеру не закончили, а начали банкротством, обиванием порогов, прислуживанием иностранным хозяевам. Активная роль некоторых из них сводилась к посильной помощи гитлеровским захватчикам в борьбе с советскими партизанами; они знают, что могут быть использованы только в качестве платных прислужников, и все их мечты ограничиваются возможно большей наживой.

И вот нашлись господа, преимущественно из эмигрантских неудачников, уже служивших кому угодно и решительно никого не представляющих, которые охотно нанялись на доллары искусственно тормошить, оживлять эмиграцию, а главное, помогать органам американской разведки в «обработке» так называемых «перемещенных лиц», ничего общего со старой эмиграцией не имеющих, против своей воли вывезенных из Советского Союза, но которых этой разведке очень хотелось бы превратить в политических эмигрантов.

Четыре десятилетия в человеческой жизни — огромный срок. Скажем снова: бесчисленные нити, семейные, общественные, бытовые, могут связывать теперь отдельных русских людей с той страной, где они нашли приют, но эти же четыре десятилетия вытравили у многих из них былую вражду к новой России. Рядовых русских людей, волею судьбы оставшихся на чужбине, но, по существу, давно уже переставших быть активными политическими эмигрантами, никак не следует смешивать с этой накипью неудачников, платных агентов вражеских сил.

Умерли в большинстве и лучшие и худшие представители эмиграции. Еще устраиваются в Париже вечера русских поэтов, где люди, порой одаренные, покинувшие родину уже взрослыми, изливают в стихах с каждым годом все более умиротворенную грусть. Выступают еще некоторые русские певцы, артисты, музыканты того же возраста. В Париже продолжает свою много-

летнюю деятельность русская консерватория имени Рахманинова.

Но все это, конечно, уже только отзвуки прошлого, пусть нередко и полноценные, отмеченные знанием и мастерством. У Бунина, Шмелева, Ремизова и Алданова, у Шаляпина, Рахманинова, Глазунова и Гречанинова, у Коровина и у Александра Бенуа, по существу, не оказалось кровной, органической смены попросту потому, что эти люди были представителями русской культуры, которую они восприняли еще на родной земле, но не могли уже передать ее новому поколению, выросшему на чужбине.

И не изжита давнишняя, беспощадная эмигрантская нужда. Вот объявление в парижской русской газете: «Старый журналист ищет комнату за услугу или быть ночным сторожем». Я не знаю, кто этот старый журналист, каких он придерживался воззрений, с какими чувствами покидал некогда родину, за что ратовал, разлучавшись с ней, но так заканчивается его жизнь на чужбине.

И все же у русской эмиграции во Франции оказалась своя смена, хотя вовсе не такая, о какой мечтали эмигрантские лидеры.

Когда я был в Париже, Французская академия готовилась к торжественному приему нового «бессмертного»— романиста Анри Труайя, то есть все того же Тарасова, получившего до войны премию Гонкуров.

Случай совершенно беспрецедентный: в эту святая святых французского буржуазного мира, в это сообщество именитейших представителей официальных верхов французской культуры оказался избранным армянин-эмигрант, мальчиком вывезенный семьей из России.

Насколько я знаю, Анри Труайя к активной политике не был причастен. Он автор монографий о Пушкине, Лермонтове, Гоголе, Достоевском, несомненно содействовавших популяризации во Франции русской классической литературы, а также множества приятно написанных романов (кстати, следует подчеркнуть, что Французская академия исключительно щепетильна в том, что касается чистоты литературного языка), в которых часто фигурируют русские (в частности, один из последних его романов дает довольно яркую карти-

ну пребывания русских войск в Париже после падения Наполеона).

Согласно традиции образовался особый комитет для преподнесения новоизбранному академику полагающейся ему шпаги (французские академики носят в торжественных случаях зеленый фрак с золотым шитьем и треуголку). Один из членов этого комитета, русский эмигрант, показал мне рисунок шпаги: на эфесе ее красуется императорский двуглавый орел. Он, однако, поспешил разъяснить мне, что в данном случае эта эмблема не имеет никакого политического характера: просто почитатели Труайя-Тарасова полагают, что она подходит самим, так сказать своим «стилем» к его творчеству, многими нитями связанному с русским историческим прошлым.

— Как бы то ни было,— резюмировал он,— это всего лишь память о прошлом, а не выпад против настоящего...

Чем же, независимо от литературных достоинств самих писаний Труайя, объясняется такое его сенсационное избрание? В первую очередь, конечно, некоторой «космополитизацией» французского буржуазного общества, о которой я уже говорил, но отчасти, быть может, и все возрастающим интересом, который проявляется везде, и в частности во Франции, к России, ко всему, что связано с ее историей и культурой.

Этот интерес — прямое следствие той роли, которую Советский Союз играет в мире, его поражающих умы и воображение достижений. Так получается, что с каждым новым проникновением советских людей в неизведанные дали космоса на Западе увеличивается интерес не только к советской науке и технике (об этом нечего и говорить), не только к Ломоносову и Циолковскому, но и ко всей совокупности вклада России в культурную сокровищницу человечества. Гастроли во Франции крупнейших советских театральных коллективов еще более заострили этот интерес. Достаточно сказать, что в том же сезоне парижские театры ставили пьесы Горького, Чехова, признанного ныне на Западе одним из крупнейших мировых драматургов, инсценировки произведений Гоголя и Достоевского.

А образованный француз считает теперь своим долгом знать хотя бы понаслышке о творчестве таких пи-

сателей, как баснописец Крылов, Салтыков-Щедрин или Короленко, еще несколько лет тому назад ему совершенно не известных.

В годы «холодной войны» на враждебном интересе к Советскому Союзу выиграли, в частности в Америке, некоторые худшие представители эмиграции. Но в гораздо большем масштабе выиграли от могущества и престижа Советского Союза те представители эмигрантской смены, то есть дети эмигрантов, которые родились или воспитывались за рубежом, окончили там высшие учебные заведения и включились в жизнь страны, их приютившей, но сохранили в сердце привязанность к своей отчизне. И в этом отношении я бы мог существенно пополнить в 1960 году мое предвоенное радиосообщение о культурных достижениях русских во Франции.

В переводе одаренного французского драматурга Артура Адамова, автора ряда оригинальных пьес — кстати, тоже эмигранта-армянина, мальчиком покинувшего Россию, на французской сцене поставлены были пьесы Горького, а в его переводе и инсценировке — гоголевские «Мертвые души». Для постановки «Мещан», равно как и инсценировки романа Достоевского «Униженные и оскорбленные», был приглашен французскими театрами эмигрант старшего поколения, ветеран русской сцены и ученик Станиславского Григорий Хмара.

В наши дни в эмигрантской смене можно найти очень многих, которые служат посредниками между двумя мирами, культурами и просто между советскими людьми и французами: от русских эмигрантов, получивших французские паспорта, работающих (часто на руководящих постах) во всевозможных французских учреждениях, предприятиях, фирмах, ателье мод, вступивших в деловые отношения с советскими торговыми организациями, до представителей культуры, в самых различных ее разветвлениях, французской по форме, но как-то перекликающейся с нашей.

Марина Влади (Полякова) — французская актриса, но в ее игре чувствуются русские нотки Сформировавшаяся в эмиграции на традициях русского театра Л. Кедрова с успехом проявляет свое редкое дарование на французской сцене. Людмила Черина — фран-

цузская балерина, но ведь современный французский балет, пестрящий русскими именами,— детище нашей классической хореографии. Есть люди с русскими именами среди известных французских геологов, искусствоведов, врачей (в том числе внук Льва Толстого), инженеров.

Это и есть эмигрантская смена, во многом денационализировавшаяся, но в ряде случаев не утратившая память о своем русском происхождении. Хотя, конечно, многие ее представители, преуспевшие во французском капиталистическом мире, подчинились его вкусам и воздействию по той простейшей причине, что бытие, как мы знаем, определяет сознание.

Американское влияние чувствуется в Париже, накладывая на многое во французской столице чуждый ей отпечаток. А наше?

Оно проникает медленнее, но нередко и глубже, затрагивает какие-то более сокровенные стороны французской души, чем американское. Это влияние обусловливается мировым сиянием русской классической культуры и мировыми победами Советского государства, советской культуры, советской науки и техники. Но свою лепту в дело проникновения его во Францию внесли и многие русские люди, покинувшие родину часто независимо от своей собственной воли и нашедшие во Франции приют.

* * *

Как все же резюмировать мои сравнительно недавние парижские впечатления? Скажу откровенно, в целом меня Париж разочаровал. Разочаровал после моей жизни на родине.

В 1960 году я наблюдал в столице Франции такую картину.

Правящий класс боится народа, упрямо не допускает его к участию в управлении страной и не интересуется его мнением при решении вопросов, от которых зависят дальнейшие судьбы французского государства. Простым французам совершенно ясно, что колониальная политика их страны в Алжире отдавала все эти годы даже не вчерашним, а позавчерашним днем, они помнят французскую поговорку: «Кто не идет вперед —

катится назад»,— и в этом они винят правящий класс.

Да, во Франции начала шестидесятых годов кое-что напомнило мне старую Россию...

После двенадцати лет, прожитых в новом, советском обществе, я, снова попав в капиталистический мир, особенно остро ощутил неоправданность и неисправимость его недостатков

И главный, самый неисправимый и в то же время коренной недостаток капиталистического мира — это его отношение к труду. Зачем трудится французский рабочий, французский интеллигент или даже руководитель крупного французского предприятия? Чтобы заработать, чтобы обеспечить себя и семью, чтобы в случае удачи накопить какие-то сбережения. Все это закономерно. Но он не любит и не может любить этот труд, ибо считает его всего лишь горестной необходимостью, как бы чувствуя, что над ним вечно тяготеет древнее библейское проклятие. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах возвратишься».

В Париже я занялся, между прочим, ликвидацией остатков своей библиотеки. Дело это было не столько трудоемкое, сколько хлопотливое — во всяком случае, я потратил немало времени и даже энергии, чтобы все закончить быстрее и лучше.

С полным сознанием своей правоты я говорил затем своим друзьям:

— Вот я похлопотал, посуетился несколько дней. Между тем вы всю жизнь проводите примерно так же: суетитесь, хлопочете, а то и трудитесь в поте лица только для того, чтобы устроить свои дела. Труд, к которому вас принуждает сама жизнь, без которого ничего не осуществляется на свете, для вас никак не облагорожен. А у нас о труде говорят, что это — дело чести, доблести и геройства. И это не фраза. За нею кроется очень глубокий и мудрый смысл, снимающий с нас навсегда страшное библейское проклятие. Ибо трудимся мы сознательно, не только для своей пользы, но и для общей. Ибо у нас каждый трудящийся как бы солдат, служащий на том или ином участке своему государству и в то же время великой идее, в которой весь наш народ черпает свою силу. А скажите, разве ваш рабочий, бухгалтер или инженер может обнаружить в своем каждо-

дневном труде хоть какой-нибудь намек на идейность, пусть даже иную, чем нашу? И потому труд ваш более тягостен, чем наш, действительно беспросветен: в этом наше огромное, решающее преимущество перед вами. Сознание творческого усилия на благо человечества у вас удел избранных, у нас — каждого гражданина.

После таких заявлений несогласные переводили разговор на другую тему, никак, однако, не возразив мне, а некоторые полностью соглашались, и я опять чувствовал у них подсознательную зависть, ибо беда капиталистического мира в том, что у него в целом (раз главный стимул его — нажива) нет и не может быть никакого идеала высшего порядка.

Да, конечно, я рад, что снова побывал в Париже, подышал его воздухом, полюбовался его стройной, законченной красотой, и буду счастлив посетить опять этот город, где у меня столько воспоминаний и друзей. Но что-то застывшее, какой-то провинциализм, вытекающий из того, что Париж, во всяком случае обывательский, буржуазный Париж, пугливо стремится «устроиться» где-то в стороне от больших исторических путей, самых основных мировых проблем,— меня разочаровало при новом живом общении с прекраснейшей из столиц старого мира. И уже через месяц после моего приезда я загрустил по Москве...

ОГЛАВЛЕНИЕ

Любимов Лев Дмитриевич

НА ЧУЖБИНЕ

Переиздание с издания издательства «Узбекистан», 1979 г.

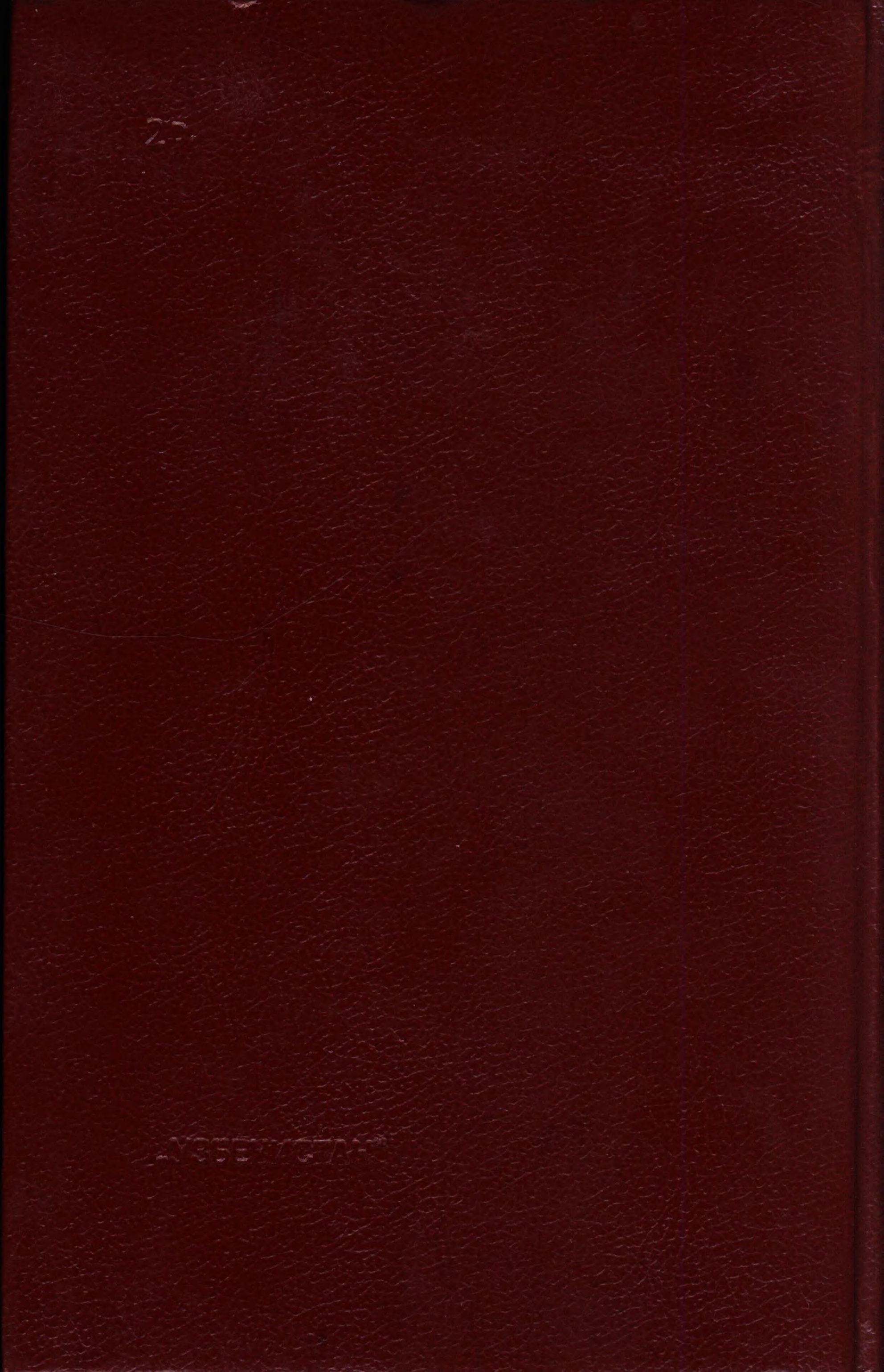
Наблюдающие за выпуском **Д. Остроумова, Е. Яковенко**

Редактор **В. В. Петелин**
Художник **Р. Халиков**
Худож. редактор **Ж. Гурова**
Техн. редактор **А. Горшкова**
Корректор **Л. Федотова**

ИБ № 5145

Подписано в печать с матриц 24.11.89. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 20,16. Уч.-изд. л. 20,43. Тираж 150 000. Заказ № 2296.
Цена 2 руб.

Издательство «Узбекистан», 700129. Ташкент, Навои, 30.
Изд. № 126-89.
Ордена Трудового Красного Знамени типография Издательства ЦК КП Узбекистана, ГСП, Ташкент, ул. Ленина, 41.



НА ЧУЖБИНЕ

Лев Любимов